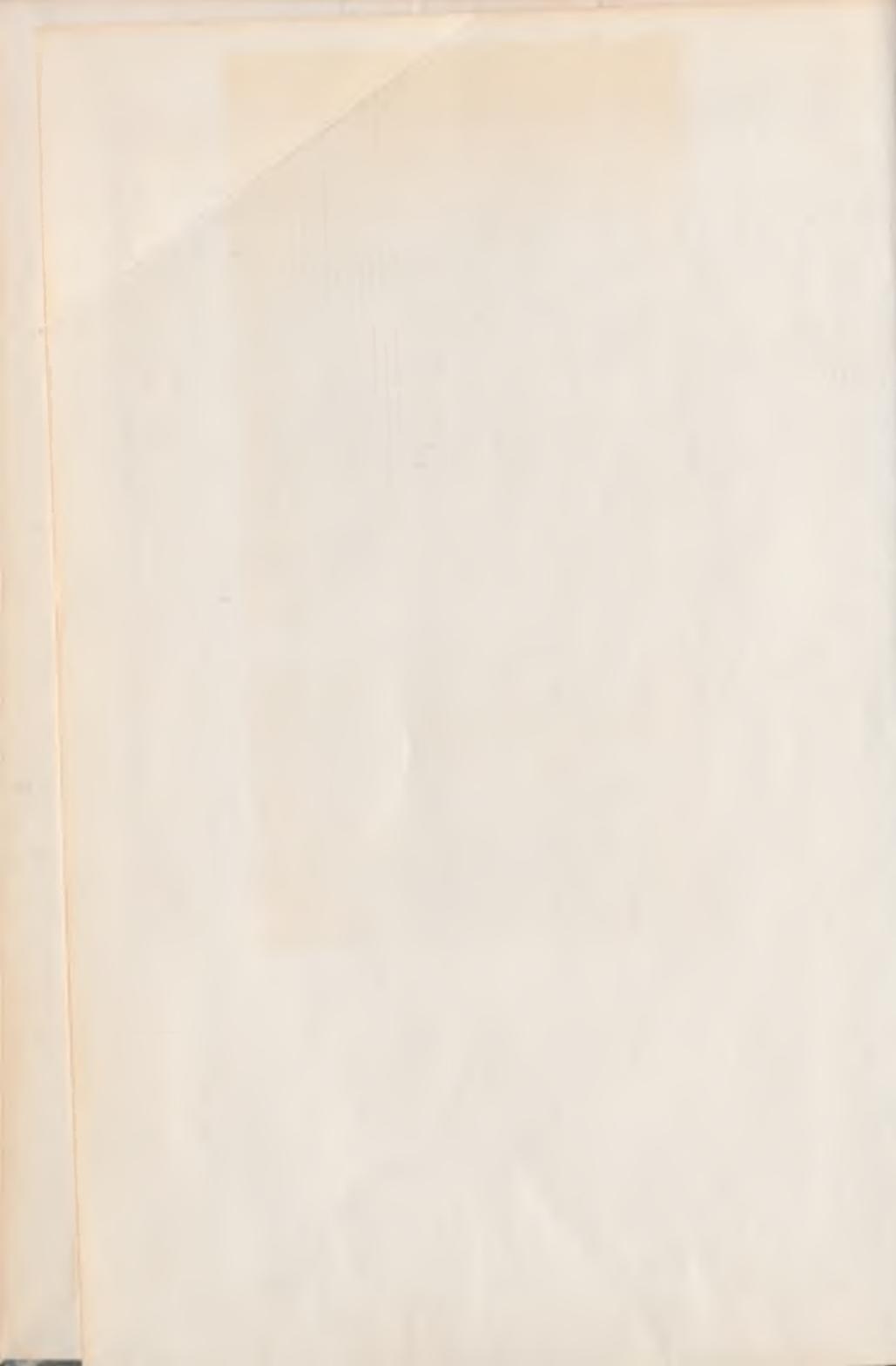


ЙОЖЕФ ДАРВАШ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРОК







ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

DARVAS JÓZSEF

TÖRÖKVERŐ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ЙОЖЕФ ДАРВАШ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРОК

РОМАН

Перевод с венгерского

Е. Тумаркиной



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

ББК 84.4Вн.

Д20

Иллюстрации

А. Дудина

Оформление художника

А. Ременника

Д 4703010100 - 396 КБ-35-43-89
028 (01) - 91

ISBN 5-280-01315-3

© Иллюстрации А. Дудин, 1990 г.
© Художественное оформление
А. Ременник, 1990 г.

Теперь не узнать, как возникло среди крепостных начиненное взрывом волнение, о котором накануне не было ни слуху ни духу, — и вот сегодня оно уже готово вылиться в самые решительные действия. Неужто и вправду причиной послужило предсказание злобной старухи Вашки, как твердили люди, когда их притянули к ответу? Но ведь старуха и раньше упорно пророчила войну, мор и конец света, однако же люди не бунтовали, они ожидали свершения ее пророчеств разве что с молитвами да жалобными стонами и, как подарку, радовались, если предсказание не сбывалось... Отчего теперь слова ее возымели вдруг такую силу? Похоже было на то, что старая ведьма околдовала людей.

Собственно говоря, все началось на свадьбе Андораша Этреса с Анной Чентер. Свадьба удалась на славу: гостей была уйма, и они отменно веселились. Дивиться тут нечему: к этой свадьбе готовились чуть не целый год, поскольку родители никак не могли договориться о приданом наличными. Но сейчас, когда свадьба наконец сладилась, в домах жениха и невесты не ударили лицом в грязь. Еды-питья было вдоволь, и большинство гостей так загуляло, что и на следующее утро не думало о возвращении домой. В веселом разгуле они, к стыду своему, даже с обрядом умывания запозднились и повели новоиспеченную молодницу к колодцу, когда солнце стояло уже довольно высоко. Дружка новоявленного мужа с великими церемониями, под свадебные прибаутки, вытянул из колодца бадейку воды и передал ее с рук на руки молоднице, а она по очереди умывала всех из бадейки, приговаривая:

Омою тебя, как своего первенца,
Пусть не выцветут мои волосы без дитятка...

Так повторяла она каждому, а вытирая сухой холстинкой лица, говорила другой стишок:

Утираю тебя, как своего первенца,
Пусть не выцветут мои волосы без дитятка...

Оставшуюся воду дружка выплеснул и пошел с бадейкой по кругу, собирая умывальные деньги для молодой пары.

Никто не жалел мелкой монеты, кое-кто швырял и талеры. Давали куда охотнее, чем в день святого Винcentия — подымную подать... После умывания парни разбрелись по селу и привели обратно сбежавших за ночь гостей, связав их перевязлом и ремнями из телячьей кожи. А молодайка меж тем поменялась платьем с первой подружкой, и теперь свадебные гости с превеликим старанием отплясывали вокруг подружки, чтобы отвести глаза вездесущему дьяволу. Под шумок молодые проскользнули тихонько в заднюю каморку-спальню, чтобы отдохнуть и остаться, наконец, вдвоем.

— Эй, потише там, животы не надорвите!.. Брачное ложе-то не расшатайте! — неслись им вслед хлесткие шутки.

Гости куражились, делали вид, будто хотят высадить дверь, но потом все ж уgomонились и, чтобы не стеснять молодых, разбрелись по селу за поживой. Они запросто вваливались в дома знакомых, ловили, исхитрясь, мелкую живность, особенно кур, и начинали с хозяином торг о выкупе. Если же он не соглашался платить, связывали курам ноги, вешали их на посох дружки и уносили с собой: сгодится на обед... Сердиться на это не полагалось.

Время шло к полудню, когда те, кто был еще в силах, вернулись в свадебный дом. Молодые уже встали, новая молодушка всех усерднее хлопотала над приготовлением обеда. Гости совсем было приступили к еде, как вдруг появилась старая карга Вашка, всем известная вешунья.

— Где ж ты до сих пор пропадала, старая? — закричали ей.

— Мы уж думали, не придешь...

— Пожелай-ка молодым счастья!..

— Нагадай им десяток ребятишек да две дюжины волон!..



Вашка внимания не обратила на выкрики, даже не отозвалась на них, а молча подсев к столу, начала уплетать предназначенную ей свадебную снедь, запивая свадебным вином; и только насытившись принялась она за свои фокусы: чертила вокруг себя на земле круги, бормотала непонятные слова. А когда все закружилось в глазах, села прямо на землю, подобрала под себя ноги, низко свесила голову и, раскачиваясь взад и вперед, стала пророчествовать. Но предрекала она не счастье да радость, как то принято на свадьбах, а несчастья и беды.

— Вижу повсюду красное... огонь пожирает дом ваш... мор губит ваш скот... разбойники убивают сыновей ваших...

Пьяна была старая карга либо свихнулась, кто знает, но все беды перечла она своим клекочущим голосом. Свадебное веселье сменилось ужасом, со страхом внимали гости жутким предсказаниям. Молодушка громко заплакала, тотчас заголосили и прочие бабы.

— Солнце заходит в красное... все село красным отсвечивает... худые времена настают...

Суеверный ужас обуял и женщин и мужчин. Узкие тропки их жизни проложены были между нищетой и множеством несчастий, постоянно их преследовавших, и поэтому страх перед неизвестным злом всегда гнезвился в их душах. Дурной приметой, невзначай оброненного слова было достаточно, чтобы страх этот проснулся и от накликанных невзгод взвыл, словно пес. Вот почему и теперь, когда знавшая толк в приметах, постигшая все тайны Вашка прошлепала старческими губами пророческие слова, у подгулявших гостей даже хмель обратился в ужас. Женские стенания взвинтили и мужчин.

— К попу пошли! — орали они. — Пусть охранит от нечистого!

— Пусть у Всевышнего помощи нам вымолит!

— Добрым духам за нас словечно замолвит!

— Пускай знамения небесного попросит и сотворения чуда!

Поднялась тут вся свадьба и, будто в храмовый праздник, далеко растянувшимся шествием двинулась с горестными песнопениями к церкви.

Была осень, день святого Михаила давно миновал, так что работы на полях почти закончились и крестьяне по большей части находились в селе. Услышав скорбное

пение, все высыпали из домов на улицу и в суеверном страхе ошеломленно глазели на толпу свадебных гостей, горестно молящих о милосердии. По выкрикам и женским причитаниям разобрав, какие горести предрекла злая старуха Вашка, люди и сами, заголосив да запричитав, один за другим присоединялись к шествию. Предсказание, повторяемое на разные голоса обезумевшими от собственных воплей людьми, с каждой минутой принимало все более отчетливые, определенные формы, словно исполнение его было делом нескольких дней, словно кара была уже совсем близкой и неотвратимой... А пищи для того, чтобы легенда все разрасталась, становясь ужасающе жестокой, в суеверном воображении людей было предостаточно: на прошлой неделе, например, в деревню нахлынули валахи, целыми семьями бежавшие из южных районов Хавашалфельда; они рассказывали страшные истории о свирепствующем там диком народе-грабителе, о язычниках-турках... Уже много лет подряд продолжался приток беженцев, просачивались все новые и новые слухи. Многие беженцы здесь и осели, основав свою особую часть села вдоль берега Черны, — а слухи летели дальше, вверх по долинам рек, через горные перевалы и, умножаясь, обрастая новыми ужасами, возвращались обратно... Было уже доподлинно известно, что турки вспарывают животы беременным бабам, вынимают оттуда плод, готовят из него волшебное зелье и с его помощью становятся неуязвимыми... И что скоро они доберутся до Дуная... Панические слухи и страшные истории с быстротою молнии распространялись среди жителей гор. Теперь же нашествие чужеземных разбойников пророчила и старая вещунья Вашка! А с господами ни об этом, ни об иных тревогах не потолкуешь. Господам лишь оброк подавай да барщину отработывай. Тому назад несколько лет, — когда Войк Бути, как-никак свой человек, перебрался отсюда, из своей сельской помещицкой усадьбы, став хозяином крепости Хуняд, — они понадеялись было на какие-то послабления, да надежды эти развеялись, словно дым на ветру...

А верно, почему господа не желают потолковать с бедным людом о грядущей беде? Может, и впрямь они сами накликали нашествие нехристей, сочтя, что слишком много в их поместьях бедноты развелось и не худо бы ее поубавить...

Сомнения, уже столько раз будоражившие души,

теперь вновь всплыли на поверхность и подлили масла в полыхавший огонь, так что ко времени, когда шествие прибыло к церковному приходу, первоначальные намерения крестьян совершенно изменились...

— Отец Винце! Веди нас в Хуняд!..

— Пускай барин побожится!..

— Пусть поклянется, что не натравит на нас разбойников.

— Милости просим, милости!..

Отец Винце, молодой священник, всего несколько месяцев назад попавший в Хатсег на место разбитого параличом отца Ференца, еще не видывал подобного возбуждения и, выскочив из-за обеденного стола на шум толпы, даже не знал в первый миг, как поступить... Сначала он подумал было, что толпа, испуганная каким-нибудь небесным знамением, собралась здесь в надежде получить от него утешение и благословение, как то частенько бывало и раньше, и поэтому подошел к окну, чтобы обратиться к людям. Однако, увидев его, крепостные не умолкли, а напротив, подняли оглушительный гам. Женщины протягивали к нему грудных младенцев и малых детей, подняв их над головой, а мужчины били себя в грудь и орали:

— Святой отец, скажи, за что нас бог карает! Целая армия разбойников идет на нас... Защиты, милости, покровительства!..

С дальних концов села все шли и шли люди; попадая в сферу притяжения толпы, будто охваченные таинственной силой, они вдруг и сами начинали кричать и жестикулировать. Прибежали и румыны с берега Черны. Бурлившие в толпе страсти пробудили в женщинах воспоминания об ужасах бегства; с душераздирающими воплями, от которых кровь стыла в жилах, они бросались наземь. В шумном человеческом море горстка свадебных гостей совсем потонула, растворилась, как потонули, растворились и побудившие их к тому походу намерения. Правда, Андораш Этрес еще толкался где-то в первых рядах и, таща за собой молодую жену, старался пробиться к попу за благословением, которое должно защитить от напороченных бед, — но толчая вокруг них все возрастала, и наконец оба они бесследно исчезли в скопище обезумевших людей.

— Милости... защиты... покровительства!..

— В Хуняд пошли!..

— Погибели супостату!.. Господа — враги наши...

Они дьяволу продались...

Побледневший отец Винце стоял у окна, с ужасом глядя на толпу, которая все более впадала в панику, ею самую вызванную. Он поднял руку, показывая, что хочет говорить, и даже начал было:

— Братья и сестры, во имя Иисуса Христа!..

Но больше ничего вымолвить не смог, ибо толпа, словно обезумев, взвыла:

— Проси нам небесного знамения!..

— Веди нас в Хуняд!..

— Яви нам чудо!

Священник, видя, что именем Христовым он не многого добьется, решил обратиться к помощи ближних властей.

— Анча, сбегай за старостой! — бросил он через плечо дрожавшей в углу комнаты домоправительнице. — Живо зови его порядок наводить.

Но Анча и с места не тронулась, она тоже била себя в грудь и часто крестилась, монотонно причитая:

— Doamne dumnezeule! Maica precista! ¹
О, непорочная дева Мария!..

Ужас и возмущение, бурлившие в венгерских и румынских сердцах, слились воедино, хлынули неудержимо, словно вышедшие из берегов реки, — и нечем было сдержать их. Священник вновь попытался обратиться к людям с увещеваньями, но, поняв, что все напрасно, бросился на задний двор, вскочил на коня и, прорвавшись сквозь испуганно отпрянувшую толпу, поспешил к Хуняду...

Отуманенные суеверным страхом головы и в том увидали дурной знак, хитрость, и над толпою взметнулись новые выкрики:

— Несдобровать нам — поп сбежал...

— Prinde-l mă! După el! ²

— Nu-l lăsa! ³ Держите его!

¹ Господи боже! Пречистая мать божия! (румын.)

² Хватай его! За ним, скорее! (румын.)

³ Не ушел бы! (румын.)

Вверху, в гостином зале крепости, глядящем на башню, находились трое: Войк Бути, его младший брат Радуй и жена Войка госпожа Эржебет Моршинаи. Хозяйка крепости сидела у окна и из пучка пеньки, намотанного на прялку, ловкими пальцами сучила тонкую, белесую пряжу. Она часто подносила ко рту руку и поплевывала на кончики пальцев, чтобы потоньше скручивались вытрепанные и вычесанные мягкие нити. Было тихо, только и слышалось это поплевывание да шорох быстро вращавшегося веретена; мужчины стояли, расставив ноги и прислонясь спинами к стене, и молча смотрели на Эржебет.

— Вот так она всегда, — полушутливо-полусердито сказал Войк брату. — Все прядет да прядет, будто ей целое войско одеть надобно. Соберет вокруг себя служанок и ну прясть, ну ляды точить, ровно все еще в Хатсеге живет, ровно и не владелица Хуняда... Хоть бы на малое время бросила, когда я домой наезжаю!

— Кабы я только на то время бросала, так вы, ваша милость, не успевали бы землю под коноплю у короля выпрашивать, — возразила жена.

— Да сейчас-то к чему за прялкой? Неделя уж, как мы прибыли, а ты все знай поплевываешь да нить сучишь.

— А ваша милость знай талеров у меня домогается. Уж так обхаживаете, что эдак и у коровы телка выпросить недолго... Об ином-то у вас и речи нет, разве что «бог помочь» молвите!

— Но ты что-то не спешишь с талерами, — засмеялся Войк.

— Ласкал бы почаще сударыню-сестрицу, — поддел брат Радуй, — глядишь, и талеров бы прибавилось. За каждую ласку — талер.

Госпожа Эржебет улыбнулась, приняв шутку.

— Низка была бы у Войка поденная плата. И до Тительрева не добрался бы с заработанными талерами...

— Ух ты! — вскричал Радуй. — И опять не мне, брат, досталось!

Однако Эржебет и его не оставила без подарка.

— Да и вашей милости, Радуй, тоже нечем особо похвалиться! Без жены человек что трухлявое дерево.

— Ну, брат, мы свое получили! И мне перепало на орехи!

— Лучше бы она с талерами так поспешала.

— Талеры, талеры, всегда только талеры, просто голова пухнет. А сяду прясть или по хозяйству хлопочу — не нравится. Да откуда же талерам быть, как не от усердия моего да бережливости? Король-то вам небось за военную службу не платит!..

— А крепость, Эржи? Хуняд да угодня при нем? Это тебе не кот наплакал!

— Да ведь и крепость-то скорей за талеры пожалована, чем за ратную службу...

— За что дали, за то и есть. А коли служба у короля нашего Сигизмунда в том порой состоит, чтобы талеры ему ссужать, так ты и не скупись, пошарь как следует на дне сундука. Не себе радость доставляю, сыновьям лучшей жизни хочу, ты и сама хорошо про то знаешь.

— Ой ли? Вот Радуй свидетель, что и вашей милости из тех талеров перепадает... чтобы иной раз потешиться вволю в чужеземных краях, — тотчас отозвалась Эржебет. Но суровость ее вдруг как рукой сняло, она даже улыбнулась. — Да где же это Янко пропадает? Целый день глаз не кажет.

— В горах бродяжничает. Зверя выслеживает да байки крепостных слушает. Иное-то и на ум нейдет, как из Уйлака прибыл.

— Как погляжу, крепостные и есть тот зверь, коего он выслеживает. Девки крепостные. — Снова съехидничал Радуй. — Зрелый уж парень Янко, и сам чувствует, что настоящим мужчиной стал!..

— У вашей милости нынче и разговора иного нет, — с искренним возмущением попрекнула его госпожа Эржебет; могучий усатый воин всерьез смутился, пробормотал что-то, оправдываясь, да только неловко, и, окончательно смешавшись, неуклюже затоптался, тяжело переступая с ноги на ногу. Всего охотнее он выбрался бы отсюда на волю, но отступить посрамленным не хотелось, поэтому он только отошел к другому окну и через решетку стал смотреть на раскинувшуюся перед ним картину: на Черну, извиистой лентой убегающую от крепости вдаль; на изъезженную, повторяющую изгибы реки дорогу, по которой теперь тащились груженные сеном возы, запряженные ленивыми откормленными волами; на ярко-желтые и ржавые хребты гор. Радуй смотрел долго, но мысли его все возвращались к полученному выговору, покуда он, не утерпев, все же не возвратил:

— Сударыня-сестрица уже и шуток понимать не желает!..

Это прозвучало так забавно в устах глубоко уязвленного, нахохлившегося от обиды сурового воина, что Войк и жена его не удержались от смеха.

— Брось, Радуй! — сказал Войк. — Не кручинься! Найдется и на тебя бабенка, уж она и будет тебя до слез доводить.

Они еще пошутили немного, поддразнивая друг друга, затем разговор снова вернулся к Янко.

— В Уйлаке парня будто подменили, — сказала мать. — Все из дому норовит уйти, слова из него не вытянешь, а прежде-то, бывало, обо всем рассказывал...

— Он не дитя малое, чтоб вечно у юбки твоей торчать. Еще две луны, и парню девятнадцать стукнет. Он уже мужчина, пойми ты!

— Да и бабы к нему, — начал было Радуй, но сразу осекся и сердито махнул рукой: — Э-эх! Рта раскрыть не смею, будто в женский монастырь попал! Неужто вы все тут, сударыня-сестрица, только и знаете, что молитесь? В Хатсеге ты не была такой святошей...

Эржебет ему не ответила, и он гордо, будто одержал редкую победу, широким, размашистым шагом вышел из гостиного покоя. Наступила недолгая тишина, потом Эржебет заговорила:

— Вашей милости и впрямь по нутру все, что творит Янко? Не замечали вы в нем никакой перемены к худшему?

— Сказала бы прямо, о чем думаешь, я б ответил. А так одно скажу. В Уйлаке, как я вижу, натуру его немало не обтесали. Не очень-то они там утруждались вдолбить ему, как господам вести себя положено. Нынче ночью на нижнем подворье этакое буйство учинил с солдатами да батраками — я уж решил со сна, что крепость в осаду взяли...

— Янко? — спросила госпожа Эржебет удивленно и недоверчиво, хотя и со страхом. — Он же всегда был такой тихий да добрый...

— Эх, жена, и ты ведь добра! — так и затрясся от смеха Войк и весело хлопнул себя по ляжкам. — Неужто думаешь, сын твой песнями-плясками не потешится, покуда холост да молод? Он в попы не нанимался, чтоб в благочестии время убивать, да нынче и святые отцы не больно-то мирскими радостями гнушаются. Только что

благочестивую рожу корчат, покуда молодушку прижимают.

— Добрым делам ваша милость сына учит!..

— Полно! Одной тебе и говорю, раз к слову пришлось. А ты вот что... не убивайся попусту, забавы его наблюдая, это дело молодецкое. У меня тут иная забота: уж больно легко он со всяким простым людом в разгул пускается, будто не владельца Хунядской крепости наследник! Но когда нынче утром я попрекнул его, он ответить ничего не ответил, однако так глянул, что теперь не сомневаюсь: здоровую оплеуху влепил он молодому Уйлаки...

— Ох, ваша милость, и не поминайте про то несчастье! — испуганно сказала Эржебет и с грустным вздохом опустила на колени веретено.

Приплюснутыми, натруженными пальцами она провела по глазам, словно отгоняя дурное видение, потом устремила невидящий взор в окно; мысли ее, казалось, ушли далеко — на самом же деле были они совсем близко, возле маленького хатсегского их имения с шумливой мельницей на Черне, двором, голосистым от гомона домашней птицы; и хоть немного времени прошло с той поры, Эржебет понимала: прежняя жизнь ее исчезла в дальней дали, ушла безнадежно и невозвратно. Конечно, и она вместе с мужем мечтала о королевской милости — о большом поместье, о титуле, — мечтала и сама помогала делу, как могла: покуда муж, нередко годами, разъезжал по дальним странам с королевской свитой, она неустанно, со смехотворной почти бережливостью хозяйничала в их маленьком родовом владенье, стараясь, чтобы у Войка всегда хватало талеров ссужать королю — тот частенько оказывался в затруднительном положении... И все ж ни разу с той поры, как получили они Хунядскую крепость и уголья вокруг, не порадовалась им госпожа Эржебет от всего сердца. Да и занята она была здесь все тем же, что и в Хатсеге: хлопотала с утра до ночи, сколачивала деньги, только и разницы, что хозяйство было теперь побольше, а значит, больше и проку от него. Не отсутствие перемен удручало ее, этого она даже не замечала: заведенный уклад впитался ей в плоть и кровь, за долгие годы стал ее натурой. Скорее она не могла примириться с тем, что в ее жизни изменилось. А изменилось, перемешалось многое: Войка словно одурманили, только о том и думает, как бы еще

больше почестей добиться да новых угодий прихватить. Старшего сына отослал в Уйлак, при дворце воспитываться, но Янко подрался там с молодым Уйлаки, пришлось ему вернуться домой, а теперь вот в Хуняде без дела слоняется, вовсе на себя прежнего непохож стал... Эржебет не могла соразмерить причин и следствий, она просто чувствовала, что жизнь выбилась из привычной колеи, и это наполняло ее постоянным страхом перед неведомым, но огромным несчастьем. Было лишь одно убежище, где хозяйка Хуняда находила покой: под вечер, спустившись в людскую к служанкам, она мирно усаживалась там и под крутящееся веретено часами могла слушать их болтовню, сплетни и нехитрые байки. Однако последнее время и этим не могла она безмятежно наслаждаться из-за попреков Войка. Не пристало, ворчал Войк, владелице Хунядской крепости с собственной челядью якшаться...

Все эти мысли молнией пронеслись у нее в голове, и, когда она глянула на спокойное, веселое лицо мужа, раздражение и горечь так и вскипели в ней.

— Вашей милости и уйлакская история в забаву! — с ожесточением воскликнула она. — Взбаламутили здесь жизнь всем, а наладить ее вам и в голову не приходит. По-вашему, как есть, так и ладно, а ведь путевого-то и нет ничего...

— Эржи, да ты что это?! — взревел Войк, пораженный ее гневной речью. — С чего бестолковщину несешь?

— Не бестолковщину, а правду истинную вам говорю! Вашей милости иного дела нет, как о славе да о поместьях печься, а тех, кому этим владеть, вы и в расчет не принимаете. Взять Янко. От меня отвадили, а теперь одного буйствовать бросили. А для меня у вашей милости нашлось хоть единое словечко с тех пор, как домой на отдых прибыли? Только и разговору, что про урожай да про талеры — а еще попрекаете, будто не по-господски держу себя, не по-господски все делаю. Больно ваша милость ученые стали на чужой стороне, вам теперь о нас и подумать недосуг!

— Спятила ты, жена. Беспричинно винишь, говорю.

— Беспричинно! Только это от вас и слышу.

— Истину говорю. Что с тобой поделаешь, если добыл я барство, а ты им пользоваться не умеешь, как ни прошу? Но уж Янко ты мне доверь! Ему не нянька нуж-

Однако вместо сыновних шагов она услышала новый звук рога, громко прозвучавший на дворе, но на сей раз он возвещал не о прибытии... Он созывал воинов... Господи боже, уж не беда ли какая!

Она выпустила из задрожавшей руки веретено, прислонилась в угол прялку и чуть не бегом пустилась к выходу, узнать, что случилось. В коридоре столкнулась с Войком: он возвращался к ней. Гнев, вспыхнувший во время стычки, исчез из его глаз, теперь они возбужденно горели.

— Мы едем в Хатсег, — сказал он. — Прискакал отец Винце, говорит, крепостные взбесились...

— Сыновья! — воскликнула в испуге Эржебет. — Ведь они без охраны почти. Побьют их!..

— Как бы не так! Да они, верно, и не в той стороне бродят.

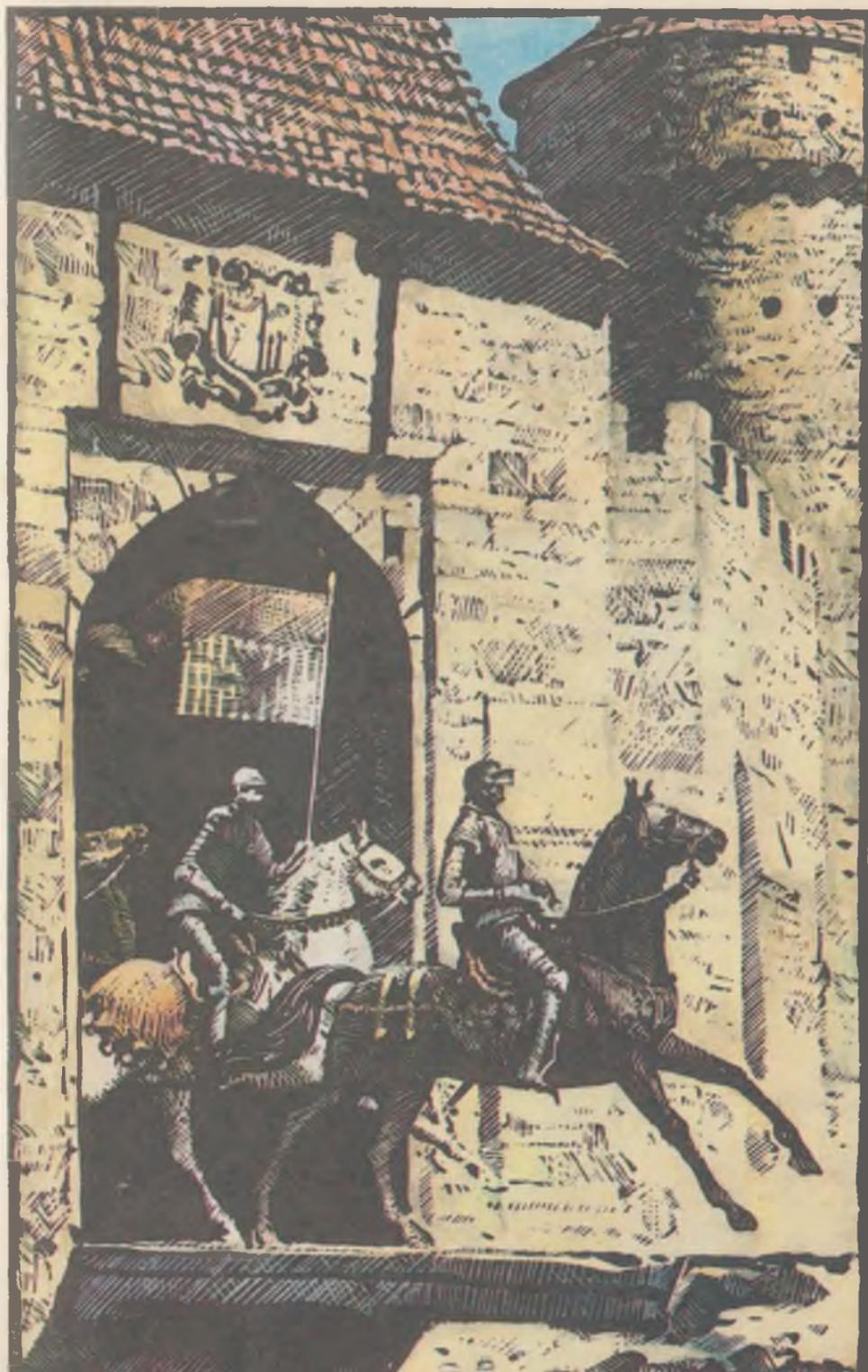
Но даже по голосу его чувствовалось: он совсем не уверен в том, что говорит.

— Мужичье проклятое, подлые свиньи! Я их научу жить смирно! — взревел Войк и поспешил обратно во двор.

Когда госпожа Эржебет сошла вниз, подъемный мост был уже спущен, и Войк с Радумом во главе отряда воинов вскачь пустили по нему своих коней.

— Охрани, господи, ближних моих! — вздохнула она им вслед и неверным от волнения шагом направилась во внутренние покои.

От берега Черны гора Тарьягош круто взбегала вверх; словно напоказ обнажала она свое скалистое, морщинистое от трещин и ущелий чрево, и лишь совсем наверху, у самой вершины, начинался лес. Великаны деревьев возникали на голом склоне так неожиданно и без всякого перехода, будто до этой линии гору выбрила чья-то гигантская рука. Извилистая, вся в ухабах, дорога вела к перевалу, осторожно огибая каждую мало-мальски приличную скалу. По лесному участку дороги медленно, гуськом брели пятеро вооруженных людей, по виду воинов, ведя за собой на поводу лошадей. Один из путников был совсем еще юный, да и остальным было на вид около двадцати, не более. С седел по обе стороны свисала убитая дичь — фазаны, дикие гуси с окровавленными перьями и разное мелкое лесное зверье, а



слева болтались еще колчаны со стрелами и луки с ослабленной тетивой. Шум шагов то и дело вспугивал дичь в придорожных кустах, но путники даже головы не вскидывали на этот знакомый и столь милый охотничьему сердцу шорох.

На деревьях и кустах шелестели пожелтевшие листья, предвечернее октябрьское солнце бросало на редкие лужайки длинные тени.

— Янко, не пора повернуть коней вспять? — прервал тишину юный путник, шедший вторым. — Как бы вечер нас тут не застал.

Шедший впереди остановился и обернулся.

— Навряд это можно, братец, — ломающимся, грубеющим голосом подростка сказал он и хитро ухмыльнулся. — Разве ж сумеют кони хвостом вперед в гору идти..

— Да надо ли в гору-то идти? Дорога домой вон куда сворачивает.

— Когда дойдем, тогда и увидишь, надо ли... А может, у тебя душа в пятки ушла, а? К мамаше побежишь сиську сосать?

Юношу оскорбили насмешки, и он, словно рассерженный кот, тоже царапнул в ответ:

— Себя-то героем не выставляй, и мне ведь есть что о тебе порассказать, коли на то пошло. Взять хотя бы твою историю с призраком в крепости... Обмочился со страху-то, а?

— Слыхали? — обратился Янко к сопровождавшим их воинам и громко рассмеялся. — Эка малец задирается, эка распищался!

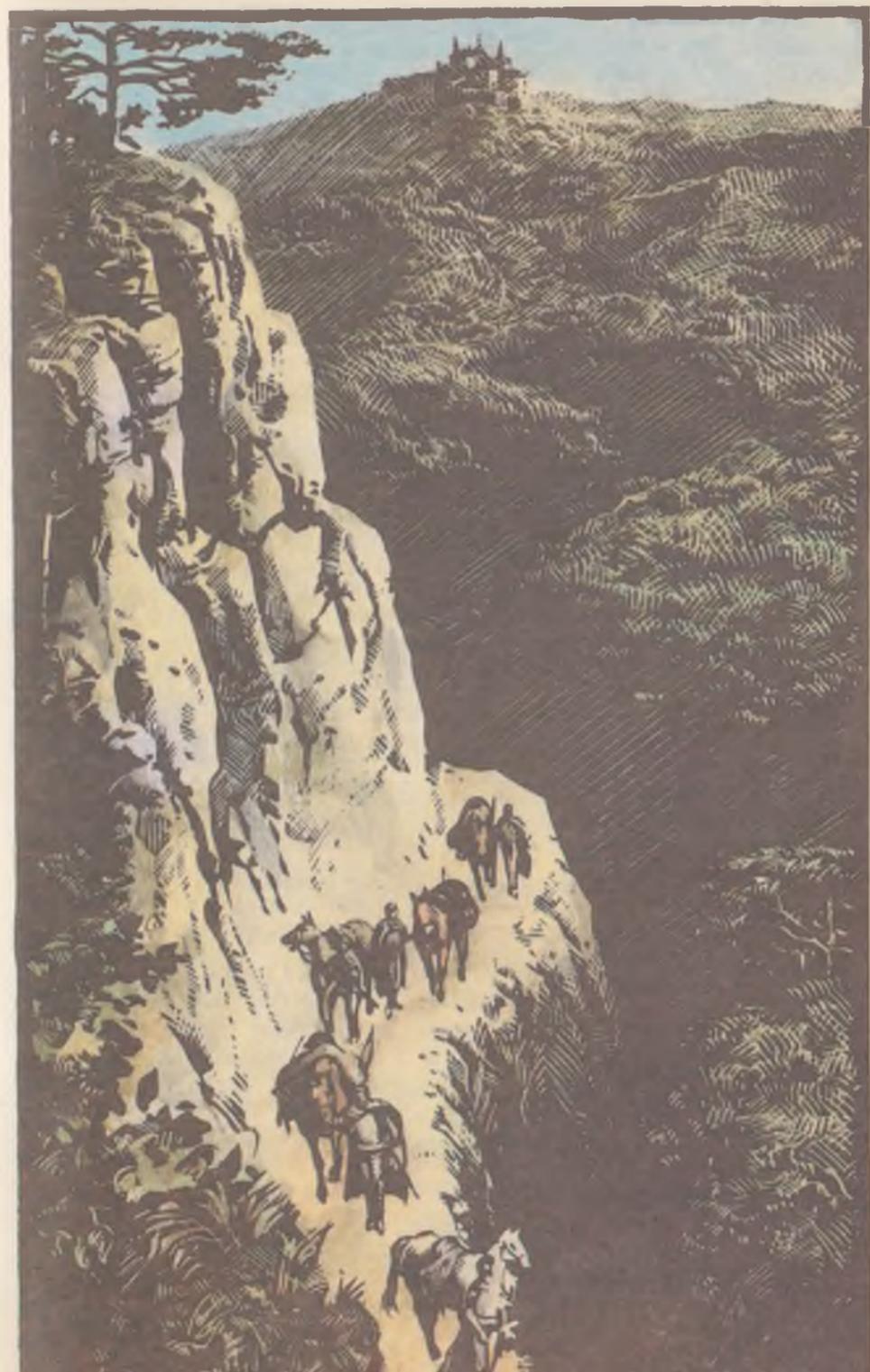
Однако солдаты не пожелали участвовать в перепалке молодых господ и с каменными лицами молчали.

— Слышь-ка, братец Янку, — снова обратился Янко к юноше. — Нынче ты доказать можешь, что не сосунок боле. Как перевалим через хребет, поскачем с горы верхами до самого дома. Кто быстрее доберется?

— Шею себе сломишь да коню ноги, — пробормотал Янку.

— О себе думай, а за меня не бойся, сопляк! Пора небольшой урок тебе преподать, показать на деле науку рыцарскую, чтобы уважал того, кто поболе тебя ей обучен! — уже всерьез рассердился Янко.

Испуганный брат замолчал, и Янко вновь тронулся в путь, остальные молча за ним последовали. Так они



шли около получаса, когда где-то поблизости, за деревьями, послышались крики людей и стук топоров. Янко свернул с дороги на утопанную тропинку, двинулся по ней. Вскоре они вышли на большую лужайку, где ватага крепостных валила деревья. Мужики стояли по двое, по трое у подножья могучих буков и, ритмично наклоняясь, сильными ударами врубались в ствол дерева. Желтые щепки, словно огромные, с ладонь, бабочки, разлетались вокруг, со свистом рассекая воздух. Дерево дрожало, стонало под их ударами, но люди не обращали на это внимания. Огромные топоры на длинных топорницах безостановочно поднимались и опускались. Вдруг раздался громкий треск, крепостные заорали, как безумные, и, будто в диком жертвенном танце, огромными скачками бросились врассыпную от падающего ствола. Но, едва дерево упало, на него сразу набросилась другая группа — обрубать ветви.

То была странная и увлекательная борьба: вновь прибывшие стояли как завороченные на краю лужайки и с любопытством глядели на разыгрывавшийся перед ними спектакль. Кони дрожали от страха, грызли удила, на губах их показалась пена.

Первым заметил пришельцев надсмотрщик, с палкой в руках наблюдавший за крепостными.

— А ну, шевелись, недотепы чертовы! — прикрикнул он на людей и с подобострастным видом поспешил к охотникам.

— Добро пожаловать, молодые господа! Вижу, вижу, ловки были в охоте! — Он кивнул на свисавшую с седел убитую дичь.

Янко снисходительным кивком ответил на приветствие.

— Ну, а у вас тут как? Идет работа?

— Идет, идет, коли приглядывать за ними. Иначе и до снегопада тут проковыряются, а все без толку.

Когда они подошли ближе, крепостные приподняли шапки, приветствуя господ, и с еще большим азартом набросились на работу, но надсмотрщик, желая показать свое усердие, все понукал их:

— Нечего глазеть-то, ровно слепой во тьме, ваше дело лес рубить!

Работа кипела вовсю.

— Их построже держать надобно, — объяснял своему молодому господину надсмотрщик. — Больно

драчливый народ лесорубы-то. Назад тому год с небольшим — ваша милость в ту пору у господина Сечи проживали — порубили они топорами беднягу Михала Бача, предместника моего. Очень он набаловал лесорубов, а как однажды заспорил с ними, они и сделали из него покойничка. Их-то, само собой, на кол, да только Михалу Баче это уж не помогло...

Янко рассеянно слушал рассказ, а может, и вовсе не слушал: его гораздо больше интересовала работа мужиков. Он с удовольствием разглядывал, как, крепко уперев в землю широко расставленные ноги, словно укоренившись в ней, они ритмичными ударами, то наклоняясь, то откидываясь назад, крушили, побеждали сопротивлявшееся дерево.

— Ну, братец! — задорно улыбаясь, обратился он к Янку. — Поглядим-ка, много ль в тебе лихости да силы! Бери в руки топор, а я другой, свалим дерево!

— Да господь с вами, ваша милость! — ужаснулся надсмотрщик. — То работа тяжелая, мужикам положена, а не молодым господам...

Однако Янко и внимания не обратил на его протесты и продолжал подзадоривать брата:

— Ну-ка, юный витязь Янку! Или храбрости маловато? Идешь или нет?

— Иду!

Напрасно пытался надсмотрщик советами да опасениями отвлечь господ от их намерения: они взяли у двух мужиков топоры, сбросили свои доломаны и встали на места крепостных. Мужики удивленно, непонимающе глядели на молодых господ: может, умом повредились? Но потом решили про себя, что это, должно быть, еще одна странная господская забава, и успокоились. Зато молча, но с превеликим злорадством отметили, что меньшей барчук очень быстро отбросил топор, и, шатаясь, побрел от дерева.

— Что же ты, доблестный витязь? — издевался над братом Янко. — Или оскомину слава набила?

Он не бросил работы, а все шире взмахивал топором, наносил все более могучие удары, стараясь не отставать от мужиков. Ему была важна не победа над братом — ведь Янку на три года моложе его и вообще послабее. Шутливое состязание с ним служило лишь прикрытием бушующих в нем страстей. Главным тут было ощущение силы своей, свежести, гибкости в ногах, спи-

не, плечах и руках: он мог, он был в состоянии сделать то, что задумал! Хотел бы он поглядеть, кто из праздных дворянских юнцов при уйлакском дворе сумеет помахать топором, как он сейчас! Да и на прочие молодецкие забавы кто из них способен?.. Может, молодой Миклош Уйлаки? Либо Лацко Перени? Янко всегда побеждал их в разных играх. Его отец позже иных крепость от короля получил, это, конечно, так, потому-то не все ученые премудрости ему, Янко, ведомы, да и красивым словесам он не обучен. Но чтоб за это бесчестить его?! Просто зависть черная томила знатных его сверстников, потому что понимали они, на него глядя: для ратной жизни сила да стойкость надобны. А этого у Янко не отнимешь... Он вот и тяжести топора не ощущает: играючи им помахивает, вздумает чуть повыше рубануть, точно туда топором и ахнет, а плечи, поясница, ноги и не чувствуют усталости... Он еще покажет изнеженным тем барчукам, холера им в бок, что есть истинная удаль, — только б попались ему на пути... А что сказала бы Анна Уйлаки про его молодечество? Топор дрогнул у него в руках, горячая волна пробежала к ногам. Не решился Янко искать ответа на свой вопрос, постарался отогнать его от себя, только удары топора стали еще сильнее...

А когда наконец, весь взопрев, он бросил работу и, подняв тяжелый топор за конец топорища, подержал его некоторое время горизонтально в вытянутой руке, а затем отбросил лихо, даже мужики поглядели на него с уважением. Такое и у них за доблесть почиталось... А уж надсмотрщик, солдаты из свиты да Янку и вовсе были в восторге.

— Ваша милость и с медведем бы сладили, — сказал надсмотрщик. — Сильнее витязя, может, во всей округе нет...

— Уж это само собой! — добавил и Янку восхищенно и с благоговением.

А Янко стоял в потоке изливавшегося на него признания, и по твердому лицу его разливалась самоуверенная улыбка. Он провел рукой по ниспадавшим на шею каштановым волосам, вычесывая застрявшие в них щепки, ухарски покрутил пальцами у того места, где полагалось быть усам и где, кроме легкого пушка, ничего не было. Он радовался жизни, и ему захотелось доставить

радость и другим. Отвязав от седла несколько птиц и прочей дичи, он бросил свои трофеи мужикам:

— Зажарьте себе на ужин!

Янку снова принялся зудеть — надо, дескать, подаваться к дому, скоро вовсе стемнеет, — но Янко не хотелось так вот сразу покидать место, где впервые за долгие недели он со спокойной безмятежностью в полную силу ощутил себя мужчиной.

— Все одно засветло не успеть. Луна рано взойдет, она нынче полная. Тогда и тронемся.

Солнце исчезло за деревьями, и сумерки опустились на лес громадным покрывалом, постепенно совсем его укутав. Мужики, оставив работу, разожгли большой костер из сухого валежника, а сами уселись вокруг него ужинать. Они мигом ощипали подаренных Янко птиц, освежевали зайцев, нашпиговали их грибами и, насадив на вертел, начали поджаривать на углях. Тотчас повеяло таким духом, что и витязям захотелось перекусить: они подсели к костру, и каждый насадил на вертел по дикому гусю. Мужики подобрали все потроха, свернутые головы дичи и развесили на низко склоненной ветке дерева, у самого костра.

— А это еще зачем? — спросил Янко.

— Угощенье злomu духу лесному, — неохотно, тихо и серьезно ответили ему. — Как уснем, он и придет за своей долей. С ним беспрерывно делиться надо, не то озлитя и покалечит всех...

Это было сказано с такой трепетной убежденностью, что у Янко холодок пробежал по спине от суеверного страха. Он чурался призраков и всякой иной нечисти, с коей нельзя помериться в ловкости и силе, и испытывал к ним искреннее, идущее из глубины его естества отвращение. Правда, повстречался он с ними один-единственный раз, но с той поры больше встреч не желал. Дело было несколько лет назад, еще до того, как отправили его в Уйлак. Они тогда только что переселились из Хатсега в Хунядскую крепость, и для Янко волнующе новым был каждый уголок: целыми днями он, не ведая устали, рыскал по замку и подземельям. Однажды брел он из крепостной башни по подземному ходу, который вел к солдатским казармам, — и вдруг в темноте чья-то холодная рука неожиданно погладила его по щеке и тут же вцепилась в волосы!.. От испуга он совсем потерялся: стал кричать и не помнил, как выбрался от-

туда. Тотчас воины с горящими факелами обследовали весь ход, но, разумеется, никого там не нашли. Родители, когда он рассказал им эту историю, решили, что это было не иначе как привидение, которое разгневалось на Янко за то, что шел по подземному ходу во тьме и светом не предупредил призрак о своем приближении... Дело обсудили и с капелланом крепости, отцом Бенце; он придерживался того же мнения. «Чья-то душа неприкаянная бродит», — изрек капеллан и в тот же вечер помолился за упокой ее. Однако витязь Войк, отец Янко, при всей своей набожности, не очень-то верил в действительность молитвы и для вящей надежности заставил Янко по совету старой Суперы (знахарки, жившей в крепости) повесить над входом в подземелье мешочек с солью и растертым в пыль сухим змеиным хвостом. Янко должен был при этом трижды повернуться вокруг себя, бормоча слова, изгоняющие духа. Привидение больше не появлялось, но про испуг Янко вспоминали еще долго, вот как давеча его младший братец. Воспоминание о пережитом ужасе осталось и в Янко, и он, как ни стыдился того, ничего не мог с собой поделаться. Однако же старался побороть свой страх или хотя бы закалиться, пугая себя всякими таинственными историями. Много таких легенд слышал он от крепостных и всегда удивлялся крестьянам. Их страх был совсем иным, нежели у него: они боялись привидений и злых духов, как любой другой опасности, но никак не больше и не иначе. Так о том и говорили. Поминали вместе с грозой, градом, опустошительным мором, отводя нечистой силе такое же место в своей жизни, как и прочим житейским бедам. В Янко же, когда думал он о чем-нибудь подобном, пробуждался неподвластный разуму животный страх. Вот и теперь от мужицких объяснений его сразу прошиб пот, но он продолжал выпытывать:

— Ну, а вы-то с ним встречались?

— Дядька Мойса! Поведай-ка барину про тот случай, дядька Мойса, — подтолкнули мужики старого крестьянина.

— Как есть, в прошлом году это стряслось, вот так же мы лес рубили, — начал старик. — С харчами у меня скудно было: жена коликкой маялась, не могла хлеба напечь. И вот, как-то вечером не оставил я доли злему духу, авось, думаю, не заметит. А ночью стало меня что-то сильно томить, я и проснулся. Гляжу, сидит подле меня



черный пес, да такой черный, самой ночи чернее, глазищи что твои талеры, а блестят — даже глядеть в них страшно. «Пошел, пошел прочь, черный пес!» — говорю ему, а сам хочу за топор взяться. Да только где там: не могу рукой шевельнуть! А пес черный вдруг заговорил человеческим голосом, вот совсем как я: «Не оставил ты мне еды, вот я тебя и попорчу». Я враз понял, что никакой он не пес, а злой дух лесной. Объясняю ему: я, дескать, бедняк, потому и не оставил еды. А он: «Да меня бедняки-то и кормят, а не богатые. От каждого куска половину мне отдать обязаны, не то я зло-то и вымещу, вот как сейчас на тебе!» Сказал и лапу поднял, на грудь мне поставить хотел, а я ни шевельнуться, ни вскричать не могу... Но тут вдруг как взвоят черный пес и враз исчез, будто никогда и не сиживал подле меня. Кум мой Никораш, что недавно богу душу отдал, во сне по нужде захотел и пробудился. А когда шел мимо меня, возьми да наступи черному псу на хвост: тот взвыл и удрал. Кум-то Никораш с вечера оставил харч, так что ему злой дух не мог явиться. «Ты, кум, видал ли большого черного пса?» — спрашиваю. «Не видал я никаких черных псов», — отвечает. «Ну, а вой-то слышал?» — «Не слышал никакого воя, вот только в брюхе у меня урчит. Это я слышу, оттого и маюсь». Поведал я ему все с самого начала, и он тоже сказал, что не иначе как злой дух лесной это был. «Коли ты меня один раз от злого духа спас, пусть я дважды у тебя в долгу буду», — говорю ему. Так он всю ночь со мной до рассвета и просидел, чтоб злой дух вернуться ко мне не осмелился. А я с той поры всегда лесовику его долю откладываю, он меня и не замает...

Так рассказывал старик, а когда увидел, что молодые господа не гнушаются его беседой, новую историю завел:

— Да только не всякому с ним такое счастье, как мне. Помню, был я еще молодым батраком, когда он человека одного в селе калекой сделал...

Костер освещал неподвижные, полные внимания лица с вислыми усами, головы с заплетенными в косицы жирными волосами; только треск сухого валежника и шипенье жира вплетались в певучую речь старика. Будто огромный красный пузырь, плыл в бескрайнем море сумерек свет костра, и уж в нескольких шагах от него начинался таинственный мир темноты, исполненной

первобытных страхов. Этот таинственный мир неудержимо, будто сильнейшим магнитом, влек к себе души людей, укрывшихся в круге света: у каждого всколыхнулись, зашевелились таящиеся подспудно страхи, и все покорно склонилось перед необъяснимым. Одна за другой следовали истории о призраках, не нашедших покоя душах, ведьмах — казалось, все они тут и живут, движутся вокруг костра, и лес и ночь наполнены их гоном.

Затем речь зашла о других, более постижимых опасностях. Один крепостной помянул турок.

— Говорят, они на львах голяком скачут. Потому только и Дунай не перешли еще, что львы иначе как по льду не могут, — сказал он, вроде бы обращаясь к своему соседу, сидевшему нахохлясь подле него. Однако было ясно, что слова его, собственно говоря, предназначены молодому барину, только не смел мужик прямо к нему обратиться. Янко понял это, почувал и то, что все они здесь ждут его слов, как откровения, и, будучи все в том же снисходительном расположении духа, бросил им несколько фраз — как давеча бросил дичь.

— Все это враки! Турки такие ж люди, как мы, только безбожники, псы поганые...

Сказать больше он почел неуместным при существовавших между ними отношениях. Но правда и то, что у него самого сведений о турках было немногим более... Слухи о турках доходили, конечно, и до него — чего только не болтали об этих нехристях люди, даже малых ребят ими пугали, — но ничего на самом деле серьезного он ни от кого не слышал. Даже отец — а он-то близок к королю — мог бы, кажется, выведать хоть что-то — твердил только, что они язычники и что надо укреплять крепость, не ровен час нагрянут.

С неба стремительным ястребом обрушился ветер, подхватил, разбросал накаленные угли. Когда зашло солнце, сразу похолодало, и даже возле костра не хватало тепла. Янко захотелось домой, он взглянул на небо. Но небо оставалось черным, и кругом было темным-темно; луна еще не взошла, а если и взошла, то была скрыта толстыми подушками облаков. Может, ветер разгонит облака. В темноте все виделось иначе, чем днем, и теперь Янко жалел, что не послушался тогда Янку. Они давно были бы дома. Домашние небось тре-

вожатся: братья никогда еще не задерживались так поздно...

А у крестьян настроение изменилось совсем в иную сторону: то ли запах и вкус жареной дичи, то ли несколько скупых слов, сказанных Янко о турках, были тому причиной — но они совсем развеселились и оживленно между собой заговорили...

— Вчера у Андораша свадьба была, — сказал один парень. — Нынче уж Анка молодушка...

— Да не ты ей помог в этом, — ехидно вставил другой. — Знаю, была у тебя охота...

— Зачем зря языком мелешь? — взвился парень.

— Слыхать, будто и ты ходил к ним на очаг поглядеть... Да только тебе на порог указали...

— Брехня все! И ты брешешь! И всякий, кто говорит или верит тому.

Остальные сперва не придали значения перепалке и даже подзадоривать стали парней разными шуточками, а те вдруг повскакали от костра и сцепились, душа друга друга мертвою хваткой да с таким ожесточением, что один из сидевших у костра мужичков постарше прикрикнул:

— Эй, полегче, гору свернете!

А Янко, боготворивший силу, вновь воспылал удачью при виде буйной этой схватки и, позабыв о своем достоинстве, подбадривал драчунов:

— Крепче зажимай! За шею, за шею его хватай! Ох, и дурень же ты, раззява!

А когда парень, заподозренный в неудачном сватовстве, уложил противника на обе лопатки и встал над ним, тяжело дыша, Янко вдруг подскочил к нему и крикнул:

— А ну, становись! Померимся силою!

Необычное предложение было встречено удивленной тишиной. Янку попытался протестовать:

— Уж не станешь ли ты с холопом вязаться?!

Но Янко только отмахнулся. А так как парень готовился к схватке весьма неохотно и, видимо, был бы рад улизнуть, Янко предупредил его:

— Не прикидывайся, будто всю силу вкладываешь, борись по совести, а не то велю батогами тебя угостить!

Услышав это, парень так перетрусил, что схватился с Янко всерьез и в два счета уложил его наземь. Исход схватки был встречен с молчаливым ужасом, мужики

дохнуть не смели, а парень стоял над Янко с такой испуганной, несчастной физиономией, будто его самого сбили с ног, да не один, а по меньшей мере двадцать раз подряд... Прежде всех опомнился надсмотрщик и злобно накинулся на парня:

— Ах ты свинья, мужицкая харя! Да как ты посмел бесчестие такое учинить? Да я тебе все кишки выпущу, пес смердящий!

И он так лягнул парня по ноге, что тот упал, а надсмотрщик принялся лупить его палкой, пиная еще и ногами. Подбежали воины из сопровождения молодых господ и тоже стали избивать парня; один воин помог Янко встать с земли. С трудом поднявшись, злой и пристыженный, Янко бросился прямо к коню. Янку и свита поспешили вслед. Надсмотрщик остался один, но и сам отлично справился с экзекуцией. Парень постанывал, но, казалось, только по обязанности, будто считал побои заслуженными, и даже не пытался укрыться от ударов; прочие мужики неподвижно сидели вокруг костра и молча смотрели, как истязают их товарища.

Некоторое время Янко и его отряд спускались по проклятой богом дороге почти в полной тьме. Кони под ними дрожали от страха и ставили ноги осторожно, будто человек, недавно лишившийся зрения. Но не успели они выехать из лесу, как из-за туч выглянула луна, и от круглого ее диска стало светло, как днем, а деревья, кусты и даже камни отбрасывали теперь таинственные, неправдоподобно длинные тени.

Всадники молча, осторожно спускались с кручи. Янко даже не вспомнил о состязании, ради которого они, собственно, чуть не перевалили хребет. Он думал о том, что произошло, и чувствовал себя самым несчастным, самым распоследним существом на свете; от гнева и отчаяния впору было зареветь. Нужно было ему такое позорище? И не в том дело, что его, Янко, уложили наземь, а в том, что сделал это крепостной, простой холоп! И зачем он связался с ним, да и с другими тоже? Выходит, прав был молодой Уйлаки, бросив ему прямо в глаза: «Мужик ты! Тебе только с крепостными компанью водить!» Правда, Уйлаки в тот же миг свое получил: Янко так ему по зубам съездил, что обидчик сразу кровью захаркал. Коли мужик он, то и действует по-мужицки!.. Однако строптивый гонор: «Какой есть, таким и принимайте!» — овладевал им лишь при вспышках

гнева, вообще же он горько сокрушался, что столь невежествен, и сердился на отца, который вырастил его неучем... Вот и Анна, Анна Уйлаки поначалу явно к нему склонялась, а как заговорили кругом, что он такой-сякой, неученый, сразу ей Лацко Перени милее стал. А много ли Лацко умнее, учение? Только что движется половчее, да лъстив, да любезности говорить обучен. Но и то правда — разве стал бы Лацко Перени с крепостным парнем бороться? Что, как они там узнают? Да Anne расскажут?!

Кровь бросилась Янко в лицо, вдруг стало очень жарко. Он воткнул каблуки коню в пах, конь рванулся от неожиданной боли и пустился вскачь. Янко не осадил коня, хотя поистине безрассудством было скакать по извилистой, бугристой дороге. Один неверный шаг, и конь переломает ноги, а он сломит себе шею. У спутников Янко не хватало ни смелости, ни ловкости последовать его примеру, они далеко отстали, но победа не принесла ему умиротворения. И он все скакал и скакал, надеясь уйти от неприятных, мучительных мыслей.

Янку понял, что брат от стыда способен сейчас на любое сумасбродство, и изо всех сил старался догнать его, крича вслед:

— Братец, придержи малость коня! Послушай, что скажу... Погоди!..

Янко слышал отчаянные призывы, но не внял им. Сейчас он сердился и на младшего брата. «Всякой бочке затычка, сопливый свиненок!» — думал он про себя и все гнал да гнал вперед коня, теперь лишь для того, чтобы больше напугать парнишку. Он злился и на отца, который ничего не делает для него. Скоро полгода, как Янко вернулся домой из Уйлака, а чем занимался с той поры? Целыми днями гонял по округе, вечера в кутежах убивал, чтобы горечь в себе подавить, — но ведь долго так продолжаться не может! Завтра он предстанет перед отцом и скажет напрямик: пусть дает какое-либо дело, не то он из дому сбежит. Ему хотелось действовать... совершить что-то великое, доказать...

Янко съехал к подножью горы, вот-вот должно было показаться и родное село, Хатсег. Ему и в голову не пришло подождать своих спутников. Пусть силенки напрягут, ежели с ним вместе хотят домой вернуться.

У ближайшего поворота, откуда дорога сворачивала на прямую, далеко впереди, где полагалось быть селу,

он увидел вдруг огромные красные огни. Уж не пожар ли? Он еще прищпорил коня, чтобы побыстрее туда добраться. Однако, приблизясь, увидел, что красное пламя не от пожара — за околицей пылали два огромных костра. Может, волков мужики отпугивают? Но ведь зима с ее морозами, выгоняющими волков из лесу к самой околице, еще далека.

Подъехав, Янко увидел возле костров отца и нескольких воинов. Неожданное появление Янко произвело радостный переполох.

— А где остальные? Янку? — встревожился вдруг отец, когда первая радость прошла.

— Следом едут. А ваши милости? Уже не сало ли жарить явились вы сюда из Хуняда?

— Сало не сало, а крепостных маленько поджарим. Уж доброму десятку всыпали палок по задницам. Вас с них требовали...

— Нас? Нас-то зачем?

— Мы думали, ухлопали они вас где-то. Та старая ведьма призналась, что в шахту вас скинули, в пропасть. — Войк указал в ту сторону, где стояли кони. — Прочие воины с Радуюем искать вас отправились...

Янко посмотрел, куда указывал отец. От света костров рябило в глазах, и лишь с большим трудом он различал неясные фигуры нескольких крепостных, привязанных к стременам оседланных лошадей.

— Да что здесь стряслось-то? — спросил он осевшим от волнения голосом.

— Сбесилось мужичье. Разгаделись, попа прогнали, на Хуняд напасть хотели... Мы и подумали, может, они вас побили, если где повстречали...

Подъехал Янку в сопровождении всадников. Тяжело дыша, слез с коня.

— Ты нас вовсе загнал, — сказал он брату и лишь потом огляделся. Видимо, он ничему не удивился, заинтересовался лишь старой Вашкой.

— А старуха в чем худом провинилась?

— Крепостным головы задурила, — сказал Войк. — Натравливала их. Они уже признались.

Крепостные, привязанные к стременам, тут же, молча и безразлично, ожидали решения своей участи; позади них, позади костров мрачно притихло село. Освещенные луной, жались друг к дружке дома, будто маленькие деревянные коробки; лившийся с неба блед-

ный свет, казалось, приподымал их и нес на себе, точно они были пустыми. Однако в каждом из них бодрствовали, затаясь в немом страхе, люди...

Послали воина, чтобы вернуть отряд Радуя, а потом, уже все вместе, двинулись через село; четверо захваченных мужиков трусили рядом с лошадьми. Только теперь они первый раз подали голос.

— Не повинны мы... Старая карга Вашка нас завожила. Ведьма она... Сжальтесь над нами, милостивые господа!.. — слезно молили они с усталым, вялым отчаянием, но милостивые господа и бровью не повели. Лишь один воин, которому наскучило их нытье, бросил:

— Не канючите, вы и есть главные запевалы!

Меж тем Янку придержал коня и, подъехав к брату вплотную, ласково шепнул ему на ухо, словно дорогой подарок дарил:

— Будь покоен, никто не узнает. И воины побожились молчать...

«Неужто мало того, что я сам знаю? Кто меня о том забыть принудит?» — хотел было спросить Янко, но подавил рвавшуюся наружу горечь, промолчал и отъехал в сторону. Вся эта ночь с бурлящим в ней недовольством, натужными стенами крепостных и веселыми шутками воинов представилась вдруг ему удушающей колодой для пытки, из которой надо вырваться во что бы то ни стало... бежать, и как можно скорее...

Позади, в оставленном ими селе, были на луну собаки.

В крепости пробудились спозаранку, и начался суматошный, заполненный делами день. Группа воинов с Радуем во главе сразу после завтрака отправились в Хатсег посмотреть, не нарушено ли установленное вчера спокойствие. Доставленные в крепость мужики все еще в ней оставались. Господин Войк велел посадить всех четверых в колодки, чтобы надолго запомнили, как бунтовать; что же касается старой Вашки, то было решено выяснить с помощью отца Винце, на самом ли деле она ведьма, как под палками показывали мужики. А коли правда — на костер ее, как всякой ведьме положено.

— Да пускай староста объявит: посажу на кол каждого, кто впредь шебаршит будет, — напутствовал Войк Радуя.

Янко хотел было ехать с ними, но отец приказал ему остаться.

— Снова пропадешь на целый день, а мы тут из-за тебя изволь драть мужичьи зады... К тому ж есть у меня разговор к тебе, — добавил он, когда перед отрядом опустился подъемный мост. — Пойдем-ка в оружейную, чтобы нас не беспокоили.

В оружейной среди тускло поблескивавших щитов, лат, широких мечей, прямых шашек, неуклюжих алебард и стройных копий затаилась прохладная чистая тишина — казалось даже, что было слышно, как губительная ржавчина тайком грызет металл. Войк не сразу заговорил с сыном, сперва прошелся вдоль стен и полок, постукивая по щитам, оглаживая сабли, копья, алебарды.

— Праздность даже им не в пользу, — тихо сказал он. — Либо в дело употреблять их надо, либо холить, чтобы ржа не съела...

И, помолчав, обратился к Янко:

— Знаю, и тебя съедает ржа безделья. Но как сталь эту мы лишь для битв с дворянами сохраняем, так и тебе не пристало со всякими холопами да мужичьем якшаться.

Янко вскинул голову с раздражением и обидой. Значит, и отец попрекает его за это?

— А ведь милость ваша только что сказывали, — возразил он с едва прикрытой резкостью, — коль нет дворянских битв, холить надобно сталь!..

— Это ты к чему?

— Хочу, ваша милость, слово молвить!..

— Про что же?

— А про то, — упрямо вырвалось у Янко, — что ваша милость тоже могли бы получше обо мне порадеть.

— Ты что же, молокосос, меня, старого отца своего, учить вздумал? — вспыхнул Войк, и лохматые его брови взлетели до середины лба. — Почтение к родителю где потерял?

— Есть во мне почтение к вам, батюшка, но и горечи, словно в добром вине, предостаточно. Отчего не учен, как прочие молодые дворяне, коли уж вы меня к ним посылали? Мишенью для их издевок я был, и, хоть метал копье всех дальше, они-то все меня копьями насмешек своих забрасывали. Уж вы скажите мне, ваша милость, для чего я других хуже быть должен? Неужто

столь ничтожен я? А коль и врямя это так, — значит, не гожусь я на иное, как только с холопьями вязаться...

Слова вырывались у него с таким жаром, такая была в них горечь, что даже отца обожгла. Страсть, которую он ощутил в речи сына, сразу смыла его прежнее негодование. Он не столько понял, сколько угадал ту внутреннюю борьбу, что снедала Янко. Сам он до сей поры никогда ни с чем подобным не сталкивался. Бывали, правда, и у него беды и печали, но он всегда справлялся с ними весьма просто: когда мог — все улаживал, а не мог — старался позабыть. Видя и слыша, что вытворяет Янко, он почитал все это такими же проказами, которым в молодости и сам отдал дань. И только улыбался в усы, когда ему доносили, будто на пирушках с Янко бывают порой и крепостные красавицы. «Молодо-зелено, — разнеженно вспоминал он былые годы. — Только б до материнских ушей не дошло». Да и кто по-иному поступал в юности? Король Сигизмунд уже и не молод, а ведь куда как любит еще поволочиться... Единственно, что Войк считал своим долгом, это попытаться втиснуть разгул Янко в более благородные, более достойные чина рамки, — отец Бенце и так уж прожужжал ему уши своими укорами. Потому и хотел он поговорить с Янко, но вспышка сына совсем сбила его с толку, и, вместо того чтобы по-отечески выбрать, Войк, испуганно заикаясь, стал его утешать:

— Да ты что, да полно, это ты — ничтожен?! Как бы не так! И не вздумай забивать себе голову подобными глупостями! Из тебя еще такой королевский витязь выйдет, каких днем с огнем не сыщешь...

— Только для этого действовать надобно, а не дома сиднем сидеть. По-настоящему показать хочу, на что способен. Чтоб увидели: не обсевок я в поле...

— Не бойся, не долго ждать, покажешь. Я тебе еще не сказывал, но жду вскоре весточки от деспота из Смедерева, возьмет ли тебя к своему двору. А он возьмет непременно. Свиту же я тебе дам такую, что и сын господина Уйлаки позавидует... Хоть и недавно я сюда из Хатсега перебрался, а могу показать: моему наследнику стыдиться нечего... И мать все сделает, чтоб тебя снарядить достойно.

Горько было слышать Янко, что даже отец его не понял. Неужто нет здесь никого, кто до конца проник бы в смысл его слов, пусть прерывистых и нескладных,

но зато шедших из глубины души? Он хотел объяснить отцу, что жаждет вовсе не парадного эскорта и пышности, а совсем иного... того, от чего сам почувствовал бы: он действительно способен на большее, нежели те, кто... Но даже мысленно он не мог ясно и понятно изложить, чего ему хочется, а потому промолчал. И лишь выдавил с трудом:

— Благодарствуйте, батюшка.

Но как бы там ни было, он откровенно радовался путешествию в Смедерево и тамошним развлечениям. Деспот — могущественный правитель; пожалуй, для Янко широкое поле там откроется, и он совершит нечто великое. Ему это необходимо! Чтобы доказать им всем в Уйлаке — Миклошу, Лацко Перени и Анне, Анне Уйлаки...

2

Рождество наступало мрачно. Три дня до него непрерывно лил, хлестал холодный, колючий дождь, а в сочельник на город пал такой густой туман, что, казалось, он вжал в землю дома.словно вся вода Рейна и Боденского озера превратилась в туман, и теперь он сгустился над городом. На улицах едва можно было что-либо разглядеть в нескольких шагах. Городской совет был в панике: чтобы приготовить достаточно факелов к назначенному на вечер въезду императора, собрали весь вар, до мельчайших кусочков, обойдя в поисках его даже мастерские сапожников и кожевников — и все же не миновать, видно, городу бесчестия из-за подлого этого тумана! Он проглотит, задушит огни факелов, окутает их непроницаемым покрывалом, и все города Пфальцграфства, даже самые малые, самые ничтожные, будут кричать, что император Сигизмунд рождественской ночью вошел со своей свитой в Констанц при крошечной тьме...

Надеялись теперь лишь на то, что туман, быть может, задержит прибытие императора и еще до вечера явится гонец с сообщением, что Сигизмунд пожелал провести рождественскую ночь в Бухау, а въезд назначил на первое утро праздника.

После обеда и вправду прискакал на взмыленном коне посланец с императорским гербом на груди, но

привез он весть о том, что в полдень Сигизмунд остановился в Бухау для короткого отдыха, но теперь уж наверное движется к Констанцу, чтобы вечером быть здесь, в любезном ему городе. В ратуше поднялся отчаянный переполох, в дополнение к факелам готовили вымоченные в сале пучки пакли. Правда, дух от них пойдет не слишком приятный, но главное, чтобы светло было. Память о достославном рождении Иисуса почти полностью потонула в лавине волнующих приготовлений: рождественскую пальбу из мортир и колокольный благовест отложили до въезда императора, и потому, когда опустились сумерки, только ребятишки бедных окраинных кварталов звонкими колокольцами да шумными трещотками восславили предвечного младенца. Что ж, рождество бывает каждый год, а могущественный император, светский глава христианской церкви редко оказывает городу честь своим присутствием.

И городу посчастливилось, ибо с наступлением вечера темнота как бы вытеснила туман, и он вдруг рассеялся. Итак, высокого гостя можно было встретить при подобающем освещении. Почти весь город толпился теперь на улицах в ожидании готовящегося зрелища. На площади перед ратушей на высоких, сколоченных из тесаных досок подмостках, предназначенных для прибывшей в город духовной и светской знати, еще постукивали молотками мастера и подмастерья. Особенно много было духовенства, поскольку с самого начала ноября в Констанце шел вселенский собор, и, в то время как светские вельможи пребывали в большинстве своем в Аахене, куда съехались на коронацию, священнослужители ожидали великого государя в Констанце.

Здесь же остановился и сербский деспот Стефан Лазаревич вместе со свитой. Ему, правда, приличествовало бы находиться в Аахене, да он и сам туда стремился, но, сильно разболевшись некстати, долго пролежал дома, в Смедереве: привязалась к нему желтуха, пришлось настой пить из корней и трав, чтобы хворь из крови выгнать. Словом, тронулся он в путь с опозданием и прибыл в Констанц всего за несколько дней до рождества. И даже этот путь не смог на коне проделать, а, к великому стыду своему, ехал в коляске, будто слабая женщина, — опоздать сюда к въезду Сигизмунда ему не хотелось. Хотя со времени фейерварского соглашения никаких размолвок между ними не было, опаздывать он

не желал, ибо государь начал весьма прислушиваться к тем наветам, что нашептывали ему враги деспота. По крайней мере, так сообщал верный Лазаревичу граф Фридрих Цилли, круживший, и не без успеха, возле императора. А ныне, когда на восточных окраинах страны все заметнее шевелились турки, Лазаревичу вовсе нежелательна была грызня с государем. Поэтому он явился в Констанц в сопровождении знатной и парадной свиты, желая и этим подчеркнуть почтение свое к сюзерену; впрочем, пышность и многочисленность его витязей должны были также показать, кому следует, могущество деспота и его богатство... Прибыв, он узнал, что Сигизмунд в Аахене, и хотел было двинуться ему навстречу, но пфальцский граф Людвиг, в качестве хозяина ожидавший императора здесь, отговорил его.

— На твоей милости лица нет! — сказал он ему. — Его величество император уже тому порадует, что ты, хоть и болен, а все же приехал сюда, в Констанц. Притом у нас нужда есть в твоём голосе, уж больно верховодит духовенство в соборе. Видно, его святейшество Иоанн Двадцать третий папой остаться желает, вот и нагнал попов сюда великое множество...

— Мы с ними еще потягаемся! — сказал деспот.

Но совета графа Людвига послушался и остался в Констанце.

Вечером, в канун рождества, когда всадники, посланные на разведку, возвратились с вестью, что Сигизмунд стоит на окраине города, деспот находился на подмостках в обществе графа Людвиг и кардинала Пьера д'Альи, который на торжественном въезде императора представлял папу Иоанна XXIII. Воины Лазаревича при полном параде выстроились у подмостков. Дорога, по которой надлежало пройти шествию, была залита красным заревом, и площадь перед ратушей казалась единым морем света: факельщики стояли так тесно, что почти касались друг друга локтями. На берегу Рейна пылали громадные факелы, небо от них стало багровым, словно весь город пылал. Городской совет не ударил в грязь лицом, причин стыдиться у старейшин не было.

Внизу, среди солдат Лазаревича, стоял Янко Хуняди: истомившись от волнующего ожидания, он глазел на пышное, невиданное доселе зрелище. Наконец-то он

увидит Сигизмунда, короля-императора, коего столько раз пытался представить себе по рассказам отца, чьим воином так жаждал стать. Каким могущественным, необыкновенным человеком должен быть тот, кого встречают с таким почетом в большом городе далекой страны!

Но была у Янко еще особая причина для волнения: в свите Сигизмунда состояли его отец и дядя Радуй, с которыми он не встречался с тех пор, как уехал в Смедерево. Вот будет радость, когда он, неожиданно представ перед родными своими, поздравит их со счастливым рождеством...

С дальнего конца улицы, выходявшей на площадь, неслись, сливаясь воедино, приветственные клики толпы, вверху на колокольне собора торжественно и громко забухали колокола. Император едет! По спине Янко, опьяненного и очарованного этим ураганом звуков, пробежали мурашки, на глаза навернулись слезы. О, как прекрасна, как восхитительна жизнь, припасаящая для людей подобные зрелища! Он боялся заплакать, — ведь это не к лицу воину Лазаревича, да еще мечтающему стать воином короля.

На площади между тем поднялся ликующий вопль: из устья улицы на нее потоком вливалось императорское шествие. На танцующих и дико озиравшихся от страшного шума конях двигалось войско; впереди, на черном жеребце, ехал, окруженный телохранителями, император в белоснежной мантии. Какая статная, богатая фигура, как истинно по-королевски, милостиво улыбаясь, кивком головы принимает он приветствия толпы!

— Слава императору! Слава Сигизмунду! — кричал Янко вместе со всеми. И тут же: — Слава императрице! — когда появилась нарядная карета, везущая королеву.

Все остальное — приветственные речи, вновь и вновь повторявшиеся бурные клики, здравицы в честь Сигизмунда — слилось для него в каком-то головокружительном, пьянящем забвении, и очнулся Янко от этого дурмана, лишь когда шествие стало рассеиваться и все двинулось на отдых к отведенным для постоя местам. Тогда он вспомнил, что еще не видел отца, и, замешавшись в разбредающую толпу, пошел отыскивать своих.

После долгих поисков он все же разыскал и отца и



Радуй: они стояли в дальнем углу площади возле лошадей, толкая со стремянными, и буквально остолбенели, не веря ни глазам своим, ни ушам, когда Янко поздравил их с рождеством.

После радостных объятий отец спросил со счастливым смехом:

— Откуда ж ты взялся? Я думал, мы с тобой только в битве встретимся, врагами. Ты воин деспота, я — короля...

— Потеснил бы я вашу милость! — смело и весело ответил Янко.

— Ишь ты, ишь ты! И впрямь потеснил бы, вон ведь какой славный витязь вымахал с той поры, как я тебя не видал!

Так подтрунивая, старые воины в сопровождении Янко направились к отведенному им для ночлега месту и сразу набросились на еду. Янко только дивился богатейшему их аппетиту, а они между делом все поглядывали на него.

— Ну и ну! — ткнул племянника в бок Радуй, ухмыляясь во весь лоснящийся от жира рот. — За два-то года у тебя усы выросли. Того и гляди, за уши станешь их заворачивать.

Янко со смущенным смешком покрутил под носом реденькие короткие волоски и, чтобы перевести разговор, начал высокопарно восторгаться дивным вечером.

— Да уж, дивный! — проворчал отец, проглотив очередной добрый кус. — По мне, так препоганый. Я весь иззяб в здешней слякотной зиме, поясница и колени так и разламываются. Подагра проклятая снова замучила. Эх, сидеть бы сейчас в своем углу, в Хуняде...

— А ты угости свою подагру добрым немецким винцом! Видано ли дело — витязь-подагрик? — сказал Радуй и налил всем троим, потом обратился к Янко: — Ну, а ты, дружище, оказал уже честь немецким девицам?

Янко хотел было ответить шуткой, но отец перебил его:

— Нынче о том не пытай, вечер-то рождественский. Не пристало об этаким в праздник беседовать.

— Верно! — ткнул себя пальцем в лоб Радуй. — Завтра ведь рождество! В столь великой сутолоке все на свете позабудешь. Ну да ладно, попытаю после праздника, а у тебя будет времечко подумать.

Больше о рождестве ничего сказано не было, но и этих скупых слов оказалось достаточно, чтобы в душах собеседников воцарились умиротворенность и благолепие. Словно мягким покрывалом приглушило наступавший на них отовсюду шум: громкий смех непристойного веселья, забористые шутки, ворчливую брань, — погруженные в себя, они продолжали тихо беседовать.

— Что-то нынче там, в Хуняде, твоя мать поделывает? — задумчиво проговорил витязь Войк. — По правде сказать, я бы охотно бросил по странам бродяжить. Сидел бы безвыездно дома. Ничего не поделаешь, старость вгрызлась мне в кости, душой и телом жажду покоя.

— Думаешь, дома найдешь себе место? — спросил Радуй. — Ты всегда так: уехавши, вернуться желаешь, а вернешься — стонешь, только и знаешь, что на сударыню-сестрицу ворчишь.

— Тебе это мудрено понять, Радуй! Вот уже и состарился ты, а законной жены никогда у тебя не было. Ведь оно как бывает. — Отец глянул на Янко, словно говоря: «Ты уж не малое дитя, можно и при тебе сказать». — Человек никогда не довольствуется тем, что есть у него, но, потерявши, сразу видит, что только оно ему по-настоящему и дорого. Мне многие недостатки супруги моей ведомы. И скупа она, и вечно себе на уме, и мыслей моих никогда не понимала. Частенько я с ней ссорился, что греха таить, а вот поди ж ты, тянет меня в тепло ее постели, в каких бы постелях ни леживал...

Старик отхлебнул уже три-четыре глотка, но на сей раз вино, обычно толкавшее его на буйство и шутливое сквернословие, пробудило в нем вдруг жажду покаяния.

— Нас ведь с ней не сердечные узы свели, а отцы наши, тебе-то хорошо это ведомо, Радуй. И не раз после того дорожка моя в сторону петляла. Но великий ли, малый ли крюк я давал, все равно к ней возвращался...

Янко неприятно было слушать признания отца. Он достаточно повзрослел, чтобы глубоко интересоваться самой сутью отношений между мужчиной и женщиной, много раздумывал над этим, но отец и мать всегда были для него как бы под запретом, его любопытство их не касалось. И теперь, когда старик сам заговорил об этом, что-то бурно воспротивилось в нем. Да и вообще ему больше хотелось сейчас беседовать о нынешнем, полном чудес вечере.

— Кто тот витязь с большими усами, что гарцевал на белом коне по левую руку от господина Сигизмунда? — спросил он, чтобы перевести разговор.

— С большими усами? Бан Янко Мароти, — ответил Радуй, ибо Войк, даже не обратив внимания на вопрос сына, продолжал свое:

— В Аахене меня письмо догнало, его отец Бенце со слов матери твоей написал. Жалуется она, что дома всяких бед не счесть. Урожай из рук вон плох, да на скот мор напал. И мужиков будто сызнова черт попутал. Не желают десятину целиком отдавать — урожай, мол, никудашный. А ведь ежели никудашный он, то и нам меньше достанется. Вот о каких невзгодах мать сообщает. Однако я не страшусь, она у меня такая хозяйка — ко всему ключ сыщет. Семерых управляющих перелукавит, хоть на спор... Без нее мы, может, и по сей бы день в Хатсеге мыкались...

— Ваши милости когда в Хуняд едут? — спросил у него Янко.

— По мне, так хоть сейчас. Да кто же знает, сколько король тут на соборе пробудет. Много у него забот из-за церковных дел. Сперва вот чешского попа Яна Гуса пред судом поставят, а там, может, и дальше поедем.

— И я слышал о священнике Яне Гусе. Молва идет, схватили тут его.

— Чтоб схватили, не думаю: господин Сигизмунд ему охранную грамоту дал.

— А наши сказывают, будто схватили.

— Да оно бы и пусть; говорят, он великий безбожник, ересь проповедует. Пришла пора истинный порядок навести в нынешней неразберихе. И с папами тоже. Как тут народу веру иметь твердую, ежели три Христовых наместника вдруг объявились да еще проклинают один другого вместе с приверженцами супротивников своих? А коли вера ослабеет, народ вконец испортится. С крепостными и так-то уж сладу нет. Однако в господина Сигизмунда я крепко верю, он наведет порядок. Разума ему не занимать, да и власти у него предостаточно.

— Король! — восторженно воскликнул Янко. — Редкостно великий человек, должно быть! Хотел бы я воином его стать!

— И станешь, — улыбнулся отец. — Еще здесь, в

Констанце, представлю тебя. Он о тебе знает, уж и спрашивал не раз.

— Ты б и о Янку вспоминал хоть изредка! — укоризненно проворчал Радуй. — А то все только о старшем сыне радеешь!

— За Янку не бойся! И он свое получит. Сейчас же его место — подле матери, ей ведь тоже кто-то рядом нужен. А я прежде дела своего первенца улажу, кто ведает, когда и где конец мой настанет... Может, ни Хуняда больше не увижу, ни Черны...

Сильно расчувствовался старый витязь. Даже Радуй никогда его таким не видел и потому теперь совсем сник. То и дело наливал он брату в кубок доброго рейнского вина, уговаривал выпить, но Войк от того веселее не становился.

— Ну, тебе-то как в Смедереве живется? — спросил он сына. — Доволен тобой господин Стефан?

— Да будто жалуется меня.

— А вообще какие у вас новости?

— Большого страха нехристи-турки нагнали. Все болгар зорят. Может, вскоре и мы с ними познакомимся... В Смедереве оружейники днем и ночью оружие куют.

— Ну, что ж, будь добрым витязем! — очень серьезно сказал старик, потом опустил голову на стол и тут же уснул. Седеющий чуб, освободившись от гребенки, упал на лицо.

— Ну, с этим больше не поговоришь, — спокойно определил Радуй. И, будто ставя печать на собственном замечании, отхлебнул из стоявшего пред ним кубка. Потом обратился к Янку:

— А известно ли тебе, что тут, в Констанце, один твой друг закадычный пребывает? Как полагаешь, кто?

— Да вот ваши милости. Иных не знаю.

— Миклоша Уйлаки не знаешь? — И, увидя на лице племянника изумление, стал рассказывать: — Во главе отцова войска пришел. Гарцевал сразу же за императорской свитой. Поговаривают, как только вселенский собор кончится, на службу к Сигизмунду пойдет. Потому и предупреждаю, чтоб готов был к встрече. Теперь-то, коли честь задета, кулаками защищать ее вам не к лицу — оба уже истинными витязями стали. — И он от души рассмеялся собственной шутке.

Как Янко ни старался скрыть внезапное волнение,

которое возбудила в нем новость, не мог. Когда же Радуй подколот его, помянув про кулаки, Янко побагровел. Хотел было ответить, что в советах не нуждается, но потом все же сдержал раздражение.

Стало быть, Миклош здесь? За два года, проведенные в Смедереве, Янко редко вспоминал о нем, да и вообще о своем пребывании в Уйлаке: новые события, новые лица все собой заслонили. И вот — достаточно оказалось одного упоминания, как все сызнова в нем всколыхнулось.

— Я перед ним не отступлю! — сказал он и подумал: видно, настала пора поучить недруга тому, что есть справедливость.

Когда он брел к себе на постой, по улицам шаталась пьяная солдатня, а в окнах горели, славя рождество, свечи.

— Не могу, великий государь! — с упрямым смиренным произнес Гус. — Не могу согрешить противу веле-ния души моей, противу заповедей господа...

В одной из келий доминиканского монастыря стояли друг против друга Ян Гус и император Сигизмунд. Третий месяц держали здесь чешского священника. Когда он третьего ноября прибыл в Констанц в сопровождении нескольких верных людей и с охранной грамотой императора, папа Иоанн XXIII тоже гарантировал ему свободу. «Даже если бы Гус убил моего собственного брата, в Констанце он будет в безопасности», — сказал папа и на самом деле смягчил наложенное на Гуса проклятие. Ян Гус мог свободно передвигаться по городу, со всеми вступать в разговор, запрещены ему были лишь церковные службы. Однако несколько недель спустя из Чехии прибыли Штефан Палеч и Михаил де Каусис — еще недавно друзья, они стали теперь его врагами и распространяли выдержки из писаний Гуса, стремясь возбудить против него умы и души. Это им удалось тем паче, что священник Гус нарушил распоряжение папы: не удовольствовавшись дозволенной ему свободой, он ежедневно служил обедни и проповедовал собиравшемуся у него люду. Разъяренные кардиналы уговорили папу дать повеление схватить Гуса. Сначала его держали в доме каноника Прентеля, а потом перевели в монастырь доминиканского ордена...



Сопровождавшие Гуса чешские паны Ян из Хлума, Индржих из Хлума и Вацлав из Дубы, его приверженцы, после прибытия Сигизмунда тотчас же стали ходатайствовать об освобождении их подопечного — тем более что король сам выдал Гусу охранную грамоту. Сигизмунд и в самом деле вступился, недовольный пренебрежением к его воле, и папа уже готов был уступить, отпустив Гуса на волю. Однако кардиналы заявили, что в таком случае они покинут вселенский собор... От проведения же собора зависели интересы самого Сигизмунда, поэтому он уступил кардиналам и предпочел сделать попытку склонить Гуса к уступкам. Один, без всякой свиты, он пришел к нему в келью, чтобы убедить священника отказаться от богопротивных его воззрений. Но Гус вновь и вновь твердил:

— Не могу, государь! Не могу согрешить противу веления души моей, противу заповедей господа...

С согбенной спиной, руками, сложенными крестнакрест на груди — словно позой своей желая смягчить резкость слов, — стоял священник пред сидевшим на жесткой скамье императором. В келье было студено, ранние зимние сумерки, казалось, распирала стены. Император сидел на скамье, зябко кутаясь в меховую мантию, и задумчиво поглаживал, расчесывал пальцами бороду. Он взглянул на священника, но в сумрачной полутьме различил лишь туманные очертания, напоминавшие смиренный вопросительный знак, — и не хотел верить, что вот этот самый хилый и изможденный человек столь решительно отказывается внять его увещаниям.

— Видишь, я сам пришел к тебе, — снова начал король. — Уже из этого ты понять должен, что не врагом своим тебя почитаю — напротив, охранить, оберечь хочу...

— Вечная тебе за то благодарность, великий государь...

— Послушай, упрямый поп, — нетерпеливо перебил его Сигизмунд, — не благодарность мне надобна, а успешный исход. Благодарность людская никогда не была важна для меня, разве что в поступке, угодном мне, выражалась. И от тебя того жду, а не слов благодарности!..

— Повелевай, великий государь! — склонил голову Ян Гус. — Слова и для меня живут лишь в деяниях...

— Так брось упрямитесь, обратись, стань на путь праведный. Отступишь от нелепой веры!

— Нелепой веры я не сторонник, посему и отступить от нее не могу...

Сигизмунд нервно и нетерпеливо кусал губы, жевал жесткие кончики свисавших в рот усов; рука его все быстрее поглаживала бороду. Он немного помолчал; опершись локтями на колени и опустив подбородок в ладони, исподлобья глянул в лицо священнику, однако в полумраке кельи его черт почти не было видно. Но этот полумрак и тишь одиночества стирали также разницу в рангах между двумя затворившимися в келье людьми; постепенно темнота размыла и цвета одежды и самые очертания тел — в конце концов остались одни голоса. Беседа делалась все более интимной, более откровенной.

— Послушай, священник Ян, — тихо заговорил Сигизмунд. — Поговорим открыто и прямо. Не следует бояться правды.

— Я и до сей поры не боялся ее, государь.

— Что-то я сего не заметил. Но, может, мой пример пробудит и в тебе прямоту. Как думаешь, ради чего я, князь церкви, пришел сюда без всякой свиты к тебе, мелкому церковному служителю, — пришел просить, когда могу повелевать?

— Видимо, гнали тебя, государь, поиски истины, жажда познать ее...

— Истины!.. — повторил Сигизмунд, и по голосу его чувствовалось, что он насмешливо улыбается. — Чудные слова у тебя, чешский поп... Истина... символ веры... веления души... Не слова сами чудны, а то, как ты их произносишь. Я уж и в писаниях твоих это заметил и надивиться не мог. Ведь и я говорю слова те, но у меня они вроде бы иного значения. Очень ты в слова веруешь, легко на них полагаешься. Не думаешь, что они толкают тебя на худое?

— Верую только в бога и через бога в себя!

— Послушай, поп, в себя и я верую, и тоже через бога. Но, может, боги-то над нами разные? Ведь ежели я говорю: истина, — под оной понимаю соглашение с другими, а не борьбу с самим собой. Если б меня на самом деле гнала к тебе жажда истины, поиски ее, как ты сказал, то означает это лишь одно: что я мира желаю! Твои писания и проповеди мне ведомы. Не скрою, многое в них мне по нраву. Ты бы сказал: «В них много

истины». Я того не скажу. И даже в том, что по нраву мне кое-что в учении твоём, откроюсь лишь тебе одному. Ибо, скажи я о том громко, дабы услышали многие, не миновать мне борьбы с самим собой — ведь тогда я должен буду на твою защиту стать. А так я сам себе закон, один все решаю. По одну сторону от меня ты стоишь, по другую — властители церкви. К тебе чувство влечет, к ним — государственные интересы. Эх, видишь, однако, что слова-то делают: выходит ведь так, будто вовсе это разные вещи, а они почти одинаковы... Да разве нет государственного интереса в том, что чувства влекут меня к тебе, тому, кто борется против моих приверженцев, всегда готовых свергнуть меня?! И не чувство ли заставляет меня самого государственным интересам служить, для меня означающим власть над миром? Что ж мне делать с вами-то, которые справа и слева от меня стоят? Соизмеряю я то и это, и дабы по-моему вышло, даже слабейшего потерять не хочу, а к себе беру его и уж тогда становлюсь на сторону сильнейшего. Потому и пришел к тебе...

— Стало быть, я слабейший, так? — тихо спросил Гус.

— Видишь: я у тебя...

Оба недолго помолчали, потом заговорил священник. В тоне его уже не слышалось того почти показного упорства, необоримого, все отвергающего упрямства, с каким он только что отвечал императору, и волнующая душевная теплота пронизывала каждое его слово.

— Теперь, коли дозволишь, великий государь, и я тебе правду свою поведаю. Не знаю, много ль тебе обо мне известно. Может, лишь то, что я чешский священник, еретических учений провозгласитель. Может, видишь, куда я иду, но не ведаешь, откуда пришел. Родом я из нищих краев, я — дитя бедности. Родители мои, убогие крепостные, жили под Прагой, на земле немецких господ. Скучность, нищета, все хвори телесные губили наши жизни, и помещик и церковь равно угнетали нас. Единым утешением нашим было — ежели то может утешением служить, — что не одни мы бедствуем, ибо все вокруг нас жили в такой же нужде. Да и не утешение это было, а тепло стада, сбившегося в кучу, чтобы отогреться... И еще одно утешение было у нас: вера в господина, который возлюбил сирых. Веру эту мы умели совершенно отделять от церкви, что терзала нас и на

наших глазах покрывала неверие и порок... Впрочем, и церковь умела полностью отделять себя от веры... Так мы жили в гнездовьях бедности, и было нас множество, все крепостные. Когда же удалось мне все-таки вылететь из того гнезда на своих не раз покалеченных нуждою крыльях, я пошел в служители веры и целью жизни поставил примирение церкви с верою, дабы родителей моих и братьев моих примирить с церковью. Я хотел вернуть церкви дух и суть христианства, чтобы вновь она стала тем, чем некогда была: покровительницей бедных, а не прикрытием лжи и греха... Это и стало правдой моей, коей я жизнь свою посвятил. Как и ты, государь, я желал примирения, все мои учения, писания, проповеди на то направлены — но вот я все же попал сюда, заключен в ожидании приговора...

— Одно твое слово, и ты выйдешь отсюда.

— Да только слово, что ты, государь, из уст моих вырвать желаешь, я выговорить не могу.

— Не можешь? — пораженный, спросил Сигизмунд. — Не ты ли сказал сейчас, что твоя истина в примирении?

— Оно так. Да только вижу я, что примирения, коего хочу, лишь войной добиться можно...

— Слаб ты один для войны. Ежели б я не стоял за тобой, давно бы тебя раздавили. И не думаешь ли, что эдак не поможешь не только себе, но и тем, кому пользу принести желаешь?.. Любая жертва ради других — глупость великая, но та, от коей никому пользы нет, особенно!

— Вот тем-то и разнятся наши две истины! И смысл наших жизней тем же различен! Я пришел из дальней дали, из самых низов, но прежняя жизнь все время рядом со мною шла. Я думаю о родителях своих, кои умерли, о братьях и сестрах, кои живы, и все, что ни делаю, сперва к их жизни примеряю... Иначе себя потерял бы; стало быть, жертва моя, коли впрямь она названия такого заслуживает, не напрасна, она ведь и ради меня самого принесена. Ты, государь, пришел сверху. И в том, что повстречались мы тут, проку, вижу я, нет, ибо никогда мы не сможем истинно встретиться...

— А, вновь словеса нижешь! Да позабудь хоть ненадолго, что проповедник ты, не стремись любой ценой меня до слез довести! Тебе сейчас умные мысли нужны, а не красивые слова! Ты вот помянул тут о смысле жиз-

ни. Смысл в том, чтоб жить! Только в том! Чтобы поменьше бед да забот было в жизни, да побольше улады. Пусть все к тому стремятся, и тогда никого ради приносить жертвы не понадобится! Вот ты сказывал, что беден был, однако вырвался все же из бедности. Отчего же другие того не делают? Верно, нет у них тех сил, что у тебя были. А коли так, — чего их жалеть!.. Да, священник Гус, жертва твоя была бы напрасна. В жизни столь много прекрасного и приятного, ради чего жить стоит! Для меня к приятному и твое учение относится, мне неприятно будет, коли ты погибнешь, вот почему гибели твоей я не желаю. Но против всех ради тебя не пойду, потому что это еще неприятней будет. Так скажи мне «да», а в душе оставайся, каков есть. Я тоже частенько «да» говорю, когда думаю «нет».

— Я думаю «нет» и говорю «нет»! Ибо что стоит истина, ежели она только во мне жива, другим же я ложь предлагаю вместо истинной веры?

— Поразмысли еще, Ян Гус! — Сигизмунд поднялся со скамьи. — Ибо, когда дело дойдет до приговора, я буду думать «нет», но скажу «да»!..

Пылающее июльское солнце еще только поднималось, а в городе было так душно, что редкие прохожие буквально задыхались. От изъезженной, ухабистой булыжной мостовой, словно от раскаленной печки, било жаром, который возносился вверх почти видимыми струями. И все же на Рейне и на Боденском озере купалось совсем мало народу, да и то больше дети, хотя обычно в такую погоду вода от множества плескавшихся в ней тел подымалась чуть не до стен синода. Сейчас жители Констанца искали прохлады в другом месте: они до отказа заполнили кафедральный собор; многие, не сумев втиснуться туда, толпились перед дверьми. Конечно, здесь не было той пропитанной запахом ладана прохлады, что внутри, хотя стены церкви и колокольня отбрасывали тень; однако люди не собирались расходиться по домам. Всем хотелось услышать приговор, который, после многомесячных совещаний, должен был вынести теперь святейший собор еретика-священнику Яну Гусу. Волнение было велико: вот уже несколько дней по городу ходили слухи, будто безбожника-чеха сожгут, а подобного зрелища не желал упустить ни один человек,

если только мог оторваться от трудов своих. Нынче ведь такое событие — редкость: более двух лет прошло уже после сожжения ведьмы Шминд с дочерью! И, право, что может быть упоительнее, чем прямо из уст судей узнать, увидят ли они сегодня сожжение? Кое-кто с утра успел побывать у монастыря и принес весть, будто там уже складывают костер; но это еще ничего не доказывало, может, только попугать хотели. Ведь священника для объявления приговора проведут мимо места казней, и он, наверное, увидит, как готовят для него костер. Еще и нарочно ему покажут!

Обрывки всевозможных сведений и слухов носились над головами людей, толпившихся у входа в собор.

А внутри, в соборе, царила торжественная, напряженная тишина, словно и не был он так набит, что люди едва могли шевельнуться, а хоры чуть не обрушивались под их тяжестью. Слева от главного алтаря, на почетнейшем в храме месте восседал император Сигизмунд в полном парадном облачении, с короной на голове; подле него сидела императрица Барбара, вокруг — свита вельмож; среди них были венгры — Имре Палоци, Янош Мароти, Иштван Батори, Ласло Микола, Иштван Розго-ни, а также сербский деспот Стефан Лазаревич, все в пышных парадных одеяниях. Напротив них, справа от алтаря, расположилось высшее духовенство. Один из кардиналов служил мессу. Однако не тихий благоговейный гул голосов, а волнение, порожденное необычайными обстоятельствами, заставляло воздух трепетать до самого купола.

Янко сидел вверху, на хорах. Он относился к тем весьма немногим, кого не особенно интересовала вся эта история, и пришел он лишь потому, что сюда шли все, — распорядиться же временем разумнее как-то не удалось. Берта освободится из дому только к вечеру, да и вообще, кому охота шляться в такую жару? Янко надоела и девушка, которая висла у него на шее, будто тяжкий груз, надоел весь Констанц. А ведь поначалу он чувствовал себя здесь весьма хорошо: жители Констанца охотно принимали и на славу развлекали не скупившихся на талеры солдат, особенно же молодых дворян, у которых денег для гульбы всегда было вдоволь, — им ведь не приходилось сидеть на скудном солдатском жалованье. Едва опускался вечер, как повсюду, чуть не в каждом доме, начинала звучать музыка, соблазняя сол-

дат повеселиться: на каждой улице открылись новые кабаки, и чуть ли не весь город бодрствовал ночи напролет, алчно жаждая барышей. Казалось, каждый бюргер именно сейчас, покуда идет святой вселенский собор, вздумал сколотить себе состояньице, означавшее покой и обеспеченность до конца жизни. Жители Констанца на время собора как бы отменили по молчаливому сговору строгую буржуазную мораль. Прибывшим издалека воинам нужна была и любовь, поэтому, если они хорошо платили, отцы и мужья добродушно закрывали глаза на заблуждения своих дочерей и супруг. Бюргеры продавали их так же непринужденно и естественно, как и оплаченное должным образом рейнское вино. Однако между собой они по-прежнему держались старых обычаев: был, например, день, когда из ревности случились сразу две поножовщины, а какой-то бюргер до полусмерти избил дочь лишь за то, что прошла она по улице с парнем, который был ей не пара...

Янко почти каждую ночь отплясывал то в одном, то в другом кабаке, но часто даже кабачок искать не приходилось: на окраинных улочках многие хозяева просто стояли на крыльце и сами зазывали к себе случайно забредших сюда солдат... Так он познакомился однажды с Бертой, пухлой светловолосой дочерью шорника.

В танцах Янко был знаменит и непобедим, плясал шумно, с таким грохотом всаживая каблуки в пол, что ветхие домишки грозили развалиться, а от молодецких его выкриков чуть не срывались крыши. Особенно любил он плясать один, когда можно было, не думая о партнерше, вкладывать в прыжки всю силу неистовой молодости. Жители Констанца уже знали про его талант, дивились ему и, когда Янко шел по улицам, нередко показывали на него пальцами.

Беспечный дух дальней страны, пьянящее чувство независимости совершенно его захватили. Несколько месяцев он вел эту жизнь, но в конце концов устал, пресытился. Теперь он находил ее пустой и бессмысленной, — впрочем, для него все как-то утеряло смысл. А с той поры, как молодой Уйлаки с войском своего отца отбыл в родные края, у Янко пропала охота даже к рыцарским поединкам; да и перед кем было показывать свою удаль и ловкость... Уж не перед новым ли знакомцем, обретенном на императорском приеме, не перед рыжим ли Ульрихом? Впрочем, Ульриха Цилли вообще

не интересовали рыцарские состязания, да и Янко не любил с ним встречаться. Ульрих частенько насмешничал, речи вел странные, все с подковыркой, так что Янко иной раз просто опасался его. Конечно, он парень умный, этого у него не отнимешь, да только мозги у этого умника малость набекрень... Вот и в прошлый раз, вечером, — Янко как раз расстался с Бертой, поразвлекавшись с ней в ивняке, на рейнском берегу, и брел к себе, — они только что не столкнулись с Ульрихом на каком-то углу.

— А, это ты, валах-лесоруб? — вскричал Ульрих, упрямо называвший так Янко, хотя Янко не раз грозил прибить его за издевки. Но рыжий веснушчатый насмешник так умел подольститься, когда хотел, что долго сердиться на него Янко не мог. Ульрих и тут сразу обнял Янко, заодно придерживая его руки. По дыханию чувствовалось, что Ульрих выпил. Янко попытался отделаться от него, но не смог. «Я провожу тебя», — настойчиво повторял Ульрих. Они прошли немного, и вдруг он спросил Янко:

— У тебя сколько матерей было?

— Одна, — удивленно ответил тот.

— Жива еще?

— Жива.

— Да, что говорить: хоть и не больно умен ты, зато счастлив. А я вот умный, но не счастливый. Знаешь, почему я таким умным стал? Две у меня матери были, да и тех уже нет на свете. А ты потому не шибко умен, что у тебя мать одна, и та жива...

Янко со странным чувством слушал диковинные речи. Ульрих, конечно, был пьян, но все же то не было бессмысленным бормотаньем истинно пьяного человека...

А Ульрих продолжал свое, произнося слова так же диковинно, как ставил свои заплетающиеся, нетвердые ноги:

— Истинно тебе говорю, двух матерей стоил мне разум мой, вся моя наука... Уж и не помню, какие они были, с ранних лет я у чужих воспитывался, то там, то здесь, все науку в себя вбирал. Так что мать была мне не надобна, вот отец и убил ее. Потом на другой женился, но об этой уже дед позаботился: решил, что она тоже не нужна, и убил... А я за это время где только не побывал, каких только чудес не повидал, так и стал

многоумным. А вот ныне половину всего, что знаю, променял бы я на твою матушку. Но лишь половину, ибо за все-то я двоих матерей отдал!..

Янко и раньше слышал пересуды о двух женах Цилли. Отец рассказывал недавно, что первую жену — Елизавету Франгепан-Модруси, мать Ульриха — Фридрих Цилли убил, чтобы жениться на своей возлюбленной, дочери бедного дворянина Вероне Деснитци. Жениться-то он женился, но Верону тоже убили — уже по приказу отца Фридриха, старого Германа Цилли, стыдившегося неравного брака сына...

Уже от рассказа отца у Янко мороз по коже пробежал, — но сейчас, когда этот несообразный умник сопровождал свою историю таким диковинным поучением, у него даже зубы застучали. Неожиданно даже для себя Янко вдруг бегом бросился прочь, оставив Ульриха одного, и, как тот ни кричал ему вслед, не остановился до самого дома.

— Он малость с придурью, — сказал отец, когда на другой день Янко рассказал ему о вечерней встрече. — Не след тебе с ним часто бывать.

Янко не любил Ульриха еще потому, что тот очень кичился своим родством с императором, но в то же время отзывался и об императоре и об императрице крайне непочтительно. Сам-то Янко, встречаясь во дворце с императрицей, прекрасной Барбарой, едва осмеливался взглянуть на нее!

— Он сестрице-императрице ничего уже дать не в силах, — сказал однажды Ульрих, имея в виду Сигизмунда. — Разбросал повсюду семья свое...

А когда Янко не выдержал и пригрозил проучить его за непочтительность, Ульрих рассмеялся ему прямо в лицо:

— А ты бы охотно помог ему, верно?..

Все это вспоминалось сейчас Янко, проносясь перед ним беспорядочно, но все же в чем-то закономерно и связно, пока он без всякого интереса, погрузившись в собственные мысли, сидел на хорах, зажатый среди прочих воинов. В конце другого ряда, закрыв глаза и будто уснув, сидел Ульрих, такой бледный, что веснушки его, казалось, светились. Янко видел, какой он болезненный и вялый, и даже пожалел его.

«Тоже ведь человек! — подумал он. — Сколько же всякого люда на свете!..»

За восемь месяцев, проведенных в Констанце, много людей встретилось ему на пути, но ни с кем из них не почувствовал себя Янко сильнее. Какая-то тяжкая пресыщенность охватывала все его существо, когда он думал об этих восьми месяцах. Где те надежды, с которыми он прибыл сюда? Так хотелось обрести здесь какую-то опору и смысл, которые понапрасну искал в Уйлаке, Хуняде, Смедереве! А что он тут получил?

Янко вдруг страшно захотелось домой, он едва сдержался, чтобы не вскочить с места, не выбежать тотчас. Внизу, у алтаря, кардинал все бормотал, бормотал, будто вовсе не собирался заканчивать мессу. Янко взглядом нашел отца. Войк сидел за спиною Сигизмунда, почти в последнем ряду, с опущенной головой, — быть может, молился. Как звать.

Наконец месса закончилась. Ропот волнения прокатился по толпе. Открылась дверь ризницы, оттуда ввели Яна Гуса. Два священника, держа за руки, провели его и поставили на возвышение посреди главного нефа. Он стоял, опустив обритуемую голову, бородатый, в простой сутане, похожий на нищенствующего монаха. Тысячи любопытных глаз скрестились на нем, но он, казалось, даже не замечал бурлящую вокруг толпу.

«Постарел-то как», — подумал Янко, и эта мысль словно разбудила в нем простой человеческий интерес к священнику. До сих пор история с Гусом не занимала его вовсе, — пожалуй, она интересовала его меньше всех прочих здешних дел. Хотя чего только не слышал он о Гусе. Решил: «Еретик», — и больше о том не думал. Да и готовящееся зрелище не было для него необыкновенным: он уже видел, как сажают на кол разбойников-крепостных, как сжигают ведьм, — и нынешнее дело считал примерно таким же. Лишь однажды, много дней назад, он забрел, разыскивая отца, в синодальный дом, когда там шел допрос. Отец действительно был там — последнее время старик с головой ушел в споры о церковных делах, хотя прежде они его совсем не интересовали. Теперь же он высиживал на всех советах собора до конца, да и дома они с Радумом ни о чем ином и говорить не могли. Долго смаковали, как ловко Сигизмунд перехитрил папу, наводнившего вселенский собор своими приверженцами, оговорив, что право голоса дается не каждому присутствующему, а лишь одному посланцу от страны. Часами толковали и о том, что папа

сбежал под покровом ночи из Констанца, — потому, дескать, и на нынешнем совете не был. От души хохотали оба, одобряя хитрость Сигизмунда, который тайком обнадеежил пятерых-шестерых кардиналов, посулив им папство, дабы настроить против Иоанна XXIII. Янко со скукой слушал эти разговоры и, как только мог, сбежал от них с превеликой поспешностью.

Вот и тогда, разыскав отца в зале для допросов, Янко тотчас попросил его выйти, но отец только отмахнулся и велел обождать. Янко сел на скамью и, коль скоро уж очутился здесь, попытался прислушаться. Гус стоял у возвышения с поднятой головой, не так, как нынче, и спокойно отвечал на вопросы председательствующего кардинала. Говорил кардинал:

— Послушай, Ян Гус, пред тобой два пути. Либо ты с полной верой отдашься на милость святейшего собора со своими учениями вместе, дабы по заслугам с тобой поступили, либо будешь защищать их. Но предостерегаю тебя от сего последнего, ибо, защищая учения свои, ты можешь впасть в еще худшие заблуждения.

— Святые отцы, — отвечал Гус, — я пришел сюда по доброй воле, но не затем, чтобы защищать что бы то ни было; если же укажут мне на заблуждения мои и убедят меня, я готов смиренно от них отречься...

И после того, что бы ему ни говорили, на все у него был один ответ: докажите, что я заблуждаюсь, и я от всего отрекусь. Упрямство его взбесило даже публику, из зала послышались гневные выкрики:

— Не притворствуй!

— Ишь изворачивается, лукавит!

— Скажи да или нет!..

Янко слушал спор о словах и учениях, смысл которых был ему совершенно неведом, и про себя очень дивился столь великому волнению. У него самого, когда надоело ему беспримерное упорство Гуса, вновь и вновь повторявшего, чтобы доказали ему его заблуждения, и он от всего отречется, возникло лишь одно желание — громко, на весь зал крикнуть: «Да бросьте вы попусту с ним возиться, в костер его!»

Однако теперь, увидав на возвышении ссохшуюся, совсем птичью фигуру Гуса, Янко невольно почувствовал интерес к его судьбе.

Внизу, там, где сидело высшее духовенство, с важной медлительностью поднялся со своего места карди-

нал д'Альи, подошел к алтарю и, помолясь сперва про себя, начал читать приговор. Гус встал на колени, но голову так и не поднял ни на миг.

Сначала был прочитан приговор книгам Гуса:

— Святейший собор осуждает и отвергает все книги, им писанные, как подстрекательские, души смущающие и противные католичеству, и повелевает сжечь их.

Затем следовал второй приговор:

— Ян Гус, святейший собор оказывает тебе милосердие и, прощая все упрямство твое, дает возможность раскаяться. Тебе дозволено отречься от еретических учений твоих, после чего ты вновь будешь принят в лоно единой католической церкви. В наказание тебя лишат только духовного сана и как человека, опасного для покоя церкви и народов, заключат навечно в темницу, дабы мог ты до конца отмеренных тебе дней искупать грехи свои и бесчестье. Так подними же руку для клятвы и повторяй за мной: «Признаю, что проповедовал ересь, да простятся мне грехи мои!..»

Нервы у всех были напряжены, как туго натянутые струны, в огромном церковном нефе и обоих приделах воцарилась мертвая тишина, все глаза прикованы были к коленопреклоненной фигуре на возвышении. Ян Гус не шелохнулся, будто и не слышал обращенных к нему слов. Кардинал, как бы желая помочь ему, повторил слова клятвы:

— Признаю, что проповедовал ересь, да простятся мне грехи мои...

Янко, только что готовый бежать отсюда со своим одиночеством, теперь, как замороженный, глядел на маленького высохшего священника. Да кто он, этот человек, который даже не вздрогнет, когда ему предлагают помилование? Какая сила таится в его душе, что он под сенью смерти таким упорным молчанием встречает обет даровать ему жизнь?

— Колдун...

— С дьяволом якшается, — с дрожью, испуганно перешептывались сидевшие рядом с ним воины.

Колдун? Да, Янко видел, как сажали на кол разбойников-крепостных, сжигали ведьм и колдунов, но те выли, как безумные, вопили о помиловании. А этот даже не дрогнул. Но в чем оно, его «да», почему не может он сказать «нет»? Как ни старался Янко, ни единого установления из тех, о которых допытывались у Гуса на до-

просе, вспомнить не мог, в ушах у него и сейчас звучал только упрямо повторяемый ответ Гуса: «Докажите мне, что я заблуждаюсь, — тогда отрекись...»

Бледный как смерть, император Сигизмунд глядел на возвышение, наклонившись вперед; он даже открыл было рот, чтобы помочь выговорить трудную клятву, но Гус молчал, будто немая статуя.

Голос кардинала звучал твердо, когда после долгого ожидания он продолжил чтение приговора:

— Святейший собор убедился, что Ян Гус упрям и неисправим, что он не желает смиренно вернуться в лоно церкви и отречься от смертной ереси. Посему святейший собор решает сместить его, лишить сана и, поскольку церковь ничего более поделаться с ним не может, передать светским властям...

Мощный вздох, вырвавшийся у толпы, едва не приподнял своды собора. Но Гус и теперь не дрогнул, только чуть ниже опустил голову.

Начался обряд лишения сана; семь епископов надели на приговоренного облачение, потом со словами проклятий принялись срывать с него священные одежды, наконец свели Гуса с возвышения и передали императору.

— Прими грешника, даже тело коего не принадлежит более церкви...

Ян Гус стоял перед императором; впервые он поднял голову и измученным, грустным взором искал взгляда Сигизмунда, будто желал сказать ему что-то, но тот отвернулся и быстро, пресекающимся голосом, сказал Людвигу, графу пфальцскому:

— Прими грешника, тело коего уже не принадлежит императору...

А граф Людвиг обратился к городскому совету:

— Примите грешника, тело коего уже не принадлежит графству.

— Тело сего грешника принадлежит отныне лишь испепеляющему огню, — произнес бургомистр.

И тогда те, кому надлежало исполнить приговор, схватили Яна Гуса за руки и поволокли на место казни. Толпа хлынула из собора, люди чуть не топтали друг друга, стремясь как можно скорее добраться к костру. Возбужденная, жадная до зрелищ толпа подхватила Янко и повлекла его с собой по той самой дороге, по которой провели священника.

— Как охватит его огнем, тоже небось завопит...

— Тут-то пожалеет он, что не принял помилования...

— Да он с дьяволом в союзе... и не почует, что горит...

— Сейчас увидим, почует аль нет...

Толпа шла, катилась, обрывки жестоких фраз витали над ней красным стягом, будоража людей. Янко слушал их и вдруг заметил, что по лицу его бегут слезы. Значит, все-таки стоило приехать в Констанц?..

3

Сбегавшие к Дунаю холмы жались к подножью вздымавшихся позади них гор, как овчарки к ногам хозяина. На синевших вдали горах и даже на вершинах холмов светился нетронутой белизной снег, но внизу, в долинах, уже пробивалась первая ярко-зеленая весенняя трава. Иглы-травинки весело тянулись вверх под ласковыми лучами солнца, росли так, что почти слышно было, как они со свистом рассекают воздух. В низинах тонкими грязными струйками стекал растаявший снег.

Все было спокойно вокруг и невозмутимо; в небе, славя весну, звенели жаворонки. В этом году даже они, угадав раннюю весну, запели задолго до Сусаннина дня и с той поры, может, только на ночь закрывали свои клювики. Вот и сейчас они заливались вовсю, стараясь перещеголять друг друга.

Но вдруг их песня умолкла, а может, просто заглохла в том шуме, что возник у поворота в долину и становился все оглушительнее; спустя короткое время из-за выступа холма показались и виновники этой ужасающей сумятицы заглушавших друг друга звуков: впереди бешено мчалось стадо волов и табун лошадей, а вслед за ними галопом скакали турецкие всадники в пестрых тюрбанах и, дико вопя, гнали скот. Впрочем, это было не столь уж трудно, узкая долина не позволяла животным разбежаться по сторонам; кони и волы, топчась друг друга, неслись вперед, как позволяла дорога, но турки, должно быть находя в том удовольствие, все же так орали и шумели, что содрогались холмы. У них были причины радоваться: в свой лагерь за Трипольем они возвращались с доброй добычей. Остриями кривых са-

бель турки то и дело кололи зады волов поленивее, да так, что от поощрительных этих уколов брызгала кровь и животные ревели от боли. Потом турки затеяли состязание — кто срежет одним махом самую толстую ветку с придорожного дерева или куста. Особенно похвалялся, и не без оснований, толстобрюхий воин с длинной бородой, гарцевавший в первом ряду. Вот он остановился у одного дерева, указал на ветку толщиной в руку, поплевал на ладони и изготовился к удару. Остальные окружили его, галдя и жестикулируя; теперь никто не обращал внимания на гурт, отогнанный далеко вперед. Турок чуть приподнялся в седле, отвел назад саблю в закинутой над головою руке — при этом живот его выдался вперед, чуть не придавив коню голову, — и с силой саданул по ветке. Однако широкий клинок, прорезав твердую древесину лишь до половины, застрял в ней, и как ни дергал турок заклиненную саблю, вытащить не мог. Грянул злорадный смех, но тут же и оборвался, сменившись криками ужаса: впереди стада, едва в ста шагах от турок, из ущелья, сбоку впадающего в долину, показался конный отряд воинов-христиан. Не противника испугались турки, — они не раз уж встречались с ним и умели храбро за себя постоять, — тут было иное: когда, крича, бранясь и подбадривая друг друга, христианские воины заступили путь стаду, животные шарахнулись от них, сгрудились и, перепуганные, хлынули назад. А христиане старались напугать их еще больше, не только крича и вопя истошно, но вдобавок пуская в них стрелы. Острые стрелы впивались в шкуры волов, в коней, и те с ревом и ржаньем, топча друг друга, единой мощной лавиной ринулись назад. Турки пытались спастись и с воплями ужаса, отталкивая друг друга, изо всех сил стегали своих лошадей, но лошади, ошеломленные ревом преследуемого стада, никак не желали взбираться на крутизну. Спасенья не было: стадо мчалось во всю ширину долины, так что отступить, посторониться было некуда. Один отряд сделал попытку уйти от стада, пустив лошадей в галоп, но животные так осатанели, что даже ленивые вола не отставали от самых быстроногих коней. Сбившихся в кучу турок затоптали на месте, тех, кто бежал, догнали у поворота; спастись удалось лишь нескольким. Громадина турок до последней минуты тщился вызволить свою саблю, быть может, надеялся выступить с нею против животных, — он так и остался



лежать на земле, раздавленный, в крови, но с крепко сжатым кулаком, словно сжимая оружие... От бешеного галопа сотен животных гудела долина, ей вторили эхом холмы.

Христианские воины преследовали немногих бегущих турок с веселым гиканьем, посылая им вдогонку густой дождь стрел. Один, соскочив с лошади, улегся на земле, установил длинноствольную пищаль на двурогую деревянную подставку и хотел выстрелить, но не успел даже паклю поджечь, как и те считанные турки, которым удалось спастись, и стадо уже исчезли за поворотом. Прочие христиане, видя, что преследование напрасно и бесполезно, окружили витязя, возившегося с пищалью, и весело язвили:

— Может, вернуть их, чтоб было в кого пулять?

— Покуда нагоним их у Блугоба да назад завернем, он как раз и изготовится.

— А что! Поставим сюда турка — может, и сумеет поранить!

— Да только прежде бы стрелой нехрестя подшить, чтоб не убег...

Витязь с пищалью сердито притушил о сырую траву разгоревшуюся тем временем паклю и зло огрызнулся:

— Себе в зад стрелу пусти, веселости-то, чай, прибавится...

Солдаты весело смеялись над гневной вспышкой незадачливого стрелка и еще азартнее дразнили его. Казалось, они не замечали, как вокруг них от крови затоптанных людей и животных, от рваных лохмотьев мяса становится красной зеленая трава. Не всех турок затоптало насмерть стадо; те, кто был еще жив, катаясь от ужасной боли, охая и стеная, взывали к своему богу о помощи.

— Аллах! — шептал один, истомленный смертельной жаждой.

— Аллах! — вопил другой, судорожно пытаясь приподнять с земли рассеченное лицо.

Некоторые воины-христиане принялись бродить по долине, чтобы ударом сабли или стрелой, пущенной с близкого расстояния, подарить врагу милосердную смерть. Другие, неустомимые шутники, подговаривали витязя с пищалью застрелить хотя бы умирающего, но тот и разговаривать с ними не пожелал, встал с земли и, вскинув свое массивное орудие на плечо, сел в седло.

Поодаль в обществе Лазаревича-сына и других молодых дворян отдыхал Янко Хуняди. Они совещались, что предпринять сейчас, как еще использовать одичалое стадо.

— Твоя затея, Янко, удалась на славу, — сказал, поглядев на Хуняди, Лазаревич. — Турок нет в помине, но и скота нет, и коней.

— Главное, что нет турок! Скот сам вернется домой, дорога ему известна. Дай срок, выдохнутся. Пошлите воинов за стадом, пусть загонят скот.

— Твоя правда, сейчас умней ничего не придумаешь.

Нескольких солдат тотчас отрядили вслед за стадом, остальные же, как люди, хорошо справившиеся с делом, повернули обратно, дабы кратчайшим путем добраться до крепости. Каждый взял себе по турецкой сабле и пестрому тюрбану, чтобы похвалиться дома победой. Солдаты были веселы, и радость их взлетала высоко на крыльях песен. Впереди ехал Лазаревич-сын, рядом с ним Янко и прочие молодые дворяне. Выехав из долины на простор, они молча пустили коней галопом, словно им мало было только что одержанной хитроумной победы и хотелось теперь взять верх еще и друг над другом. Никаких особых успехов это состязание не принесло, разве что скорей показались впереди башни Смедерева в клубящейся сине-серой дымке ранней весны. Словно размытые туманом восклицательные знаки, они разом выпрыгнули на краю горизонта, и всадники, будто в башнях тех таился какой-то запрет, внезапно стихли и пустили коней неторопливой трусцой. Лазаревич-сын, в котором колючкой засел нерешенный вопрос, вновь вернулся к прерванной беседе:

— Все же, думаю, не по правилам решили мы ратное дело. Истинный витязь не станет топтать скотом других витязей. Даже если они язычники!..

Он ронял слова негромко, как бы сетуя на себя самого, но Янко понял, что упрек относится к нему, и тотчас взвился:

— Чего же ты моему совету вянул, ежели теперь так судишь?

— Я не тебя виню, — оправдывался молодой Лазаревич. — Все мы в том повинны. Достойно ли славного и храброго витязя победу не от себя, а от скота ждать?

Однако Янко не смирился.

— Доблести учить меня не приходится, это и тебе, верно, известно! Однако доблесть не сама по себе нужна, а победы ради. Отчего же не помочь себе разумом, коли с ним победить ловчее?

— Разум для битвы нужен, а не для того чтоб ее избегать. Иначе это просто хитрость недостойная. Хитрость льва, а не лисицы прилична рыцарю. Разве не так, господин юный Янко?

— Зачем же тогда у лисы хитрость занимал? Или львиной у тебя не хватило?..

Тон спора становился все резче. Гарцевавшие с ними рядом воины, желая предотвратить ссору, заговорили примирительно.

— Полно вам, погодите до Смедерева!

— Господин Стефан рассудит по справедливости!

— Он скажет, чья правда!..

На том оба успокоились — во всяком случае, сделали вид, что спокойны, — и молча пустили коней рысью. Янко грызла злость, хотя ссоры с сыном деспота он не хотел. Но сравнить его с лисой!.. Нет, погоди, он тоже скажет свое господину Лазаревичу!

Солнце стало уже клониться к западу, когда под звонкий цокот копыт всадники въехали по спущенному мосту в крепость. Воины, подняв вверх забранные у турок сабли, показывали их народу, размахивали, как знаменами, развернутыми тюрбанами. Жители крепости, видя, что поход оказался удачным, приняли их с радостными, хвалебными кликами. От славословий настроение у всех поднялось и даже злость сцепившихся друг с другом двух молодых витязей смягчилась.

Едва они спешили, как явился писец деспота мастер Петер и передал Янко приказ явиться к господину Стефану.

— Может, и он уже наслышан о победе, стадом одержанной, — с легким ехидством сказал младший Лазаревич. — Так ты уж доложи ему.

— Не бойся, случая не упущу! — отрубил Янко и отправился вслед за писцом. Однако внутренне он не был таким уверенным и спокойным, каким казался. Чего, в самом деле, хочет от него деспот, зачем так спешно зовет к себе? О нынешнем столкновении с турками он знать еще не может, ведь посланные за стадом воины до сих пор не прибыли в крепость. Да если б и знал... Янко не сделал ничего дурного...

Они прошли в оружейную, где деспот любил проводить время в тихом обществе оружия и щитов, — особенно с тех пор, как по старости и болезни не часто мог по-настоящему ими пользоваться. Когда Янко и писец вошли, деспот лежал на брошенных в углу шкурах; опершись на локоть, он принял явившегося к нему витязя. Янко, взволнованный, с бьющимся сердцем склонил пред ним голову. За годы, проведенные здесь, он научился не только уважать, но и любить славного, прямодушного старика, честно заботившегося о судьбе своего края. И деспот, устало глянув на него со своего ложа, любовно погладил юношу взглядом.

— Вернулись, сынок, с набега? — тихо спросил он. — И с чем же вернулись?

— С победой! — не сдержав волнения, ответил Янко.

Деспот улыбнулся его пылкости, а потом, посерьезнев, со старческой медлительностью продолжал:

— По крайности со славой простишься с Смедеревом. Истинный витязь и мечтать о лучшем не может!

От этих слов у Янко перехватило дыхание; а деспот поднял лежавшее возле него письмо со сломанной печатью и показал ему:

— Со слов отца твоего писано. Доводит он до ведома нашего, что приготовил место тебе, твоим воинам и коням при дворе господина Сигизмунда в Буде... Весна ныне мягкая, скоро можно и в путь...

Янко не в силах был говорить, он лишь смотрел неотрывно на высохшую, бескровную руку, державшую письмо. Деспот не любил лишних слов и добавил только:

— Может, не навек прощаемся. Сабля у тебя славная, будет еще в ней нужда в южных краях!..

Леденящий ветер задувал в щели шатра, старался расширить их, цепляясь за шкуры, и тогда мелкими ледяными снежинками колот лица и руки сидевших с краю. Вина, что согревалось в котле на очаге посреди шатра, шло при таком холоде много, присутствующие не церемонились и то и дело протягивали свои кубки хлопотливым оруженосцам. Не пил лишь один узколицый испуганный попик в разорванной одежде, переминавшийся с ноги на ногу в другом конце шатра и уже

полумертвый от лютого холода. Правда, младший Элефанти предложил было напоить его, — никогда, мол, не слышал, как проповедует пьяный гуситский поп, — но остальные по слову устроителя веселья Лацко Перени зашикали на него, предпочтя разделить излишек вина меж собой. Хозяин шатра, главный королевский судья Петер Перени, забрался в угол, обложил себя шкурами и потягивал вино, не вмешиваясь в веселье молодых; лишь когда его сыну удавалось особенно ловко пошутить, он довольно улыбался в густые усы. Вот и сейчас Лацко исповедовал священника:

— Мы, отец мой, заблудшие барашки, и только. Не отправишь ли нас во стадо истинное?

Однако священник ничего не ответил, он стоял в свете насаженных на вертела свечей, и его глаза пылали решимостью, совсем не идущей к его испуганной маленькой птичьей головке и всему его облику.

— Говорю же вам, у него рот смерзся! — громыхал Элефанти. — Дайте ему выпить, ежели хотите слова добиться!

— Слышь, отец мой, речи нечестивые? Молви же слово, докажи, что учитель твой Гус не дозволит тебе застыть! Поделится с тобой теплом, коего сам в Констанции нахватался.

Однако священник упрямо молчал, и Лацко, чтоб заставить его говорить, стал поддразнивать иначе:

— А верно, будто все у вас общее? Даже жены? Поведай, так ли это, — ведь коли так, мы сей же час викифитами станем!

— Там в вас нет нужды! — проговорил священник накаленным презрением голосом; скованный холодом, сзади проникавшим в шатер, он действительно с трудом выговаривал слова. — Там не в дьяволах нужда, а в людях... не только телом, но и душою людях!..

— Слыхали, господа? — рассмеялся Лацко Перени, а вслед за ним и другие. — Слыхал, Элефанти? Мой огонь все же лучше растопил лед у него на языке. Что скажете, дети сатаны? Глаголь, отец мой, глаголь, мы с чистым сердцем всему внимаем...

— Пусть лучше отмерзнет язык мой, чем с вами его чесать стану. Веселитесь, веселитесь, молодые господа, все одно придет ваша погибель. Истинная вера бедняков помогущественнее вашей власти!..

Однако проникнутые ненавистью слова затерялись,



потонули в молодом веселье; на священника даже не рассердились.

— Выпей с нами, отче, за свое пророчество! Вина попу!

Один из оруженосцев протянул ему полный кубок, но священник тут же швырнул его наземь, — однако дерзкая выходка опять породила лишь веселье.

— А ты, Янко Хунядский, — обратился Лацко Перени к отодвинувшемуся в тень Хуняди. — Или худого предсказания испугался, что сидишь пригорюнясь?

— Оставь Янко! — впервые вмешался старый Перени. — У него еще траур. Потому и горюет.

Сам Янко ничего не промолвил в свое оправдание и продолжал сидеть молча, изредка отхлебывая вино. Он смотрел на попа, выставленного на посмешище, и из забытых добрых семи лет в глубине души его пробудилось воспоминание о Констанце. Да, тот, другой, был такой же издерганный, измученный заключением, потрепанный попик с испуганным лицом, и, когда он начал говорить, бородака тряслась у него так же сиротливо. И тот умел упрямо молчать и твердо говорить, когда видел в том смысл... Сколько же их, таких?

Ему неприятно было жестокое развлечение товарищей, и, когда Лацко Перени вновь начал травлю, он встал и пожелал остальным приятного отдыха. Решив, что Янко все еще гнетет недавняя утрата, товарищи его не задерживали.

Он вышел из шатра, и порыв ветра, словно дожидаясь, притаясь в темноте, чуть не опрокинул его. Ему залепило снегом лицо, глаза. Впрочем, что теперь глаза — все равно такая тьма кругом, что в двух шагах ничего не видно. Он едва дошел до своего шатра. Добравшись, увидел свет, пробивавшийся из-под шкур.

«Видно, не спит Безеди, меня дожидается», — с теплым чувством подумал Янко о своем оруженосце. Но, войдя с похвалой на устах, чтобы тотчас одарить ею Безеди, он остановился в изумлении. В шатре при свечах сидел Янош Витез.

— А почему ты не... — громко начал было Янко, но Янош Витез прикрыл ему рот рукой и кивнул в угол на расстеленные по полу шкуры, где, раскрасневшись, с кудрями, упавшими на лицо, спал мальчик-оруженосец Безеди.

— Гляди, Янко, — сказал Янош Витез, понизив го-

лос. — Гляди, как славно он спит! У меня духу не хватило разбудить его, чтобы послать за тобой.

— Я тут рядом, у Перени был, на пирушке.

— А у нас не пирушка, а целый пир горой. Потому я и пришел к тебе. Сейчас там нет нужды в священнике — любителе чернил. Им любителя вина подавай.

— И там, стало быть, пир? Да кто ж тогда за Жижкой и его войском приглядывает?

— Видно, один лишь бог, что эдакую непогоду наслал в нынешний вечер...

— И господин Сигизмунд веселится?

— Оруженосцы сказали, будто он даже свечи горящие глотать готовился...

Янош сел рядом с гостем, и они вместе смотрели на спящего мальчика.

— Надо бы разбудить его. Выбранить за неверность, — сказал Хуняди. — Спящий слуга не есть слуга истинный.

— Может, эту новую строгость ты из шатра Перени вынес? — полушутливо спросил Витез.

— И раньше про то ведал, батюшка мне с детства это твердил. Соответственно и поступать всегда старался, это уж в крови у меня было. А вот думать, только тут и задумался, увидевши, что никто ничего не делает. Мой слуга Безеди спит, мы, слуги короля, спим, король, что господу и стране слуга, тоже спит...

Он помолчал немного, потом схватил вдруг Витеза за руку и так сжал ее, что тот зашипел.

— Бессилен я, нет у меня сил разбудить Безеди, — заговорил он священнику прямо в лицо, обжигая его дыханием с легким запахом вина. — И малодушен, не смею крикнуть громко, всех прочих спящих разбудить... А надо бы, раз живет во мне истина: служить неусыпно!.. Витез! Уйду я отсюда обратно в Хуняд!..

— Таким одиноким себя чувствуешь?

— Да, Витез. Здешние меня своим не считают, я для них пролаза назойливый. И они так обо мне судят, да и сам я то же думаю, — не нахожу себе места среди них. Ежели не могу поступать, как должно бы, так хоть покой обрету...

— Ты поступишь, как должно, если здесь останешься. Говорил я тебе, никогда не думай о средствах, что для дела применяются, думай о цели. И не терзай себя тем, что вокруг тебя не так живут, как ты бы же-

лал. Важно, чтоб ты свое делал, служил вере святой и царству божию... И себе самому служил, что тоже не последнее дело!..

— Тебе ведомо, Витез, что долг, на себя взятый, я со старанием выполняю. Но делать это с чистым сердцем не могу! Кто уверит меня, что на нашей стороне вера истинная и промысел божий? Тому назад семь лет видел я в Констанце одного попа и сей вот час видел ему подобного. А меж тем могучие да храбрые армии повидал, что имя попа того носили. Я с ними сражался. Кто меня уверит, что сражался я не против себя самого?

Снаружи свистел ветер, теребя полы шатра, заколебалось пламя свечей, и заметались на стенах тени. Глядя на изменчивые очертания, Витез указал на них Янко:

— Смотри, Хуняди, вон твоя тень на стене. Сейчас голова у тебя длинная, будто кувшин. А теперь расплющилась, плоская стала, как тыква. Вот и душа твоя изменчива, как мечущаяся тень. Сколько раз я уже думал, что убедил тебя в нелепости того, что гуситы проповедают, а ты снова приходишь с колебаниями и сомнениями... Будь же стойким!

— Вот ты про тень говорил, Витез. Ну так пожелай, чтобы тень эта стойкой была. Нет, не сбудется твое желание, покуда ветры пламя свечи колеблют... Ты меня просветить пытаешься, а твое-то пламя так ли уж стойко?.. Злые ветры и в тебе дуют, я ведь знаю!..

Священник, вздрогнув, посмотрел на него испуганно, будто застигнутый на озорстве ребенок.

— Отчего говоришь так? — спросил он нерешительно и с обидой.

— Напрасно отмалчиваешься, говорить не хочешь, — по тебе вижу, чую я, что себя ты все еще не нашел. Пусть даже скажешь: душа моя успокоилась на принятом решении, да только все это лживые заверения, и ничего более.

Витез смотрел на колыхавшееся пламя свечи, словно наблюдение за искорками, шипевшими в оплывающем, горящем жиру, было главной его заботой, и долго молчал — так долго, что молчание это можно было считать признанием. Потом тихо, с необычной даже для него серьезностью, проговорил:

— Я бы слукавил, целиком отрицая то, что ты сказал. Мое пламя и на самом деле колышут, терзают ди-

кие степные ветры родной земли. А я привык уже к легким италийским ветеркам, кои успокаивают человека благостью науки, искусства, красоты душевной. И у меня возникает иной раз желание уйти отсюда. Как у тебя. Я бы ушел в Болонью, ты в Хуняд. И ушел бы я куда дальше тебя, но все же остался бы много ближе. Потому что я только дальше ушел бы, а ты канул бы вглубь, где неверие и бунт порождают зло. Знаю, не стремление ко злу тебя гонит, а жажда действия. Да только важно ведь не то, чего человек хочет, а то, что выходит от деяний его...

— Я, говоришь, вглубь ушел бы? Но разве не там мое место, ежели я его тут не нахожу?

— Нет, Янко, нет! Если хотим мы истину свою утвердить, не вниз и не в сторону идти надобно, а вверх. Здесь нам остаться надлежит, никуда не уходить, только вверх, да повыше, чтоб побольше очей нас видело...

— Да ведь хоть и виден будешь людям, высоко взобравшись, зато голоса твоего уши их не услышат, — перебил Хуняди.

Витез вскочил, словно в него вцепился коварный зверь, и гневно взмахнул кулаком в воздухе.

— Э, невозможно говорить с тобой! Упрямы ты и крайне своенравны.

Он забегал взад и вперед по шатру, потом остановился перед Янко и, смягчившись, сказал:

— Может, потому не могу я в твою душу стойкость и ясность вселить, что и мое пламя колеблется. Вот поедем в Буду, встретимся с отцом Якобом из Маркии, я тебе о нем уже поминал. Он во мне пламя укрепил и в тебе укрепит непременно, ибо велика в нем вера и знание души. А до той поры предан будь и покоен! Помни, прыгнуть легче, нежели вскарабкаться, но и опаснее...

Больше он ничего не сказал, только на мгновение возложил руку на голову Хуняди и, пожелав ему спокойной ночи, вышел. Распахнулся полог, прикрывавший дверь шатра, ворвался ветер, намел снегу. Пламя свечей бешено заплясало, несколько свечей погасло.

У Хуняди не хватило сил подняться, выйти за Витезом, позвать обратно, он продолжал сидеть, глядя на зловонные фитили погасших свечей; потом его взгляд упал на спящего мальчика. На душе у него было тошно, во рту, в желудке тоже появилось странно неприятное ощущение. Он совсем уж было собрался вы-

бранить Безеди, но какое-то безвольное оцепенение охватило его, сковало язык. Хуняди поднялся, пальцами, огрубелыми от постоянного обращения с оружием, погасил горящую свечу и лег, зарывшись в теплые шкуры. Ему не хотелось спать, да он и не принуждал себя уснуть, лежал бездумно, испытывая отвращение ко всему. А снаружи дул и стонал ветер и, будто кошка, что неумоимо ходит вокруг горячей еды, хоть и не может схватить ее, со всех сторон набрасывался на шатер, словно пытался опрокинуть его. Трещали, постанывали колышки, по натянутым шкурам, как по барабану, били, стучали твердые, заледеневшие снежинки. А ветер все дул, беспощадный, дикий ветер, и не замечать его было невозможно. Хуняди укрылся шкурами, спрятал даже голову, чтобы не слышать ничего, но здесь, в огороженной двойной прокладкой тишине, еще страшнее, еще призрачнее отдавалось бушевание бури. Да, стоять на воле в этом круговороте и напрягать грудь, устремляясь навстречу бешеным порывам ветра, много безопаснее, ибо там хоть чуешь силу свою, — тут же только страхи растут и мерещится уже, что не смог бы ты против ветра выстоять, унесло бы тебя, а может, еще и унесет к неизвестной гибели... Нет, от ветра прятаться нельзя, не то замучают страхи... В ушах Янко звучали сказанные давеча слова Витеза о ветре, и он пожалел, что не вернул друга. Правда, словами не разрешить тех сомнений и душевных тревог, от которых он и теперь искал спасения, но все же как-то спокойнее жить, слушая речи Витеза. У него ведь и сомнения и тревоги словно потише. Правда, дать успокоение и он не может, но все же хорошо сидеть, слушая звучание его голоса. Без него, как видно, жизнь была бы еще более пуста и бессмысленна. Никогда бы не подумал Янко, что всего несколько оборотов луны — и человек может стать столь необходимым другому. Или оттого оно так, что явился этот человек, когда в нем особая нужда была?..

Знакомство их произошло в Пожони в конце лета, когда приехали они отсюда, от моравских границ, чтобы отпраздновать свадьбу Альбрехта Австрийского с дочерью Сигизмунда Елизаветой. Свадьбу справляли во дворце епископа, и длилась она целую неделю. Поводов разгуляться было предостаточно, но Янко все бродил по городу, а в залы, где шумело веселое застолье, заглядывал лишь тогда, когда приятели не отпускали его от се-

бя. Едва минуло полгода с той поры, как ранней весной, помаявшись желудочными коликами, сошли разом в могилу и отец его, и мать. Нелегко было Янко смириться с этой потерей. Особенно трудно заживают раны, когда человека мучит еще иная болезнь. А Янко мучила. Три года, проведенные в окружении короля, унесли без следа спокойствие, приобретенное в Смедереве, сомнения грызли его, и не с кем было откровенно поделиться ими. Добрый старый Радуй был в Хуняде, помогал Янку управлять именем, и Янко, двадцати восьми лет от роду, остался тут один командовать войском. Да и что толку, если бы Радуй оказался возле него? Разве обратишься к нему со своими терзаниями? Дядька все равно не поймет. «Женись, Янко!» — ответил бы ему закоренелый холостяк, как отвечал, впрочем, и на любую иную жалобу.

Потому и мог Янко лишь сам с собой судить да рыдать о бедах своих, бесцельно бродя по городу.

Однажды под вечер он спустился к Дунаю, текущему на восток, и, остановясь на берегу, долго смотрел на реку и думал о Черне, воды которой, быть может, повстречаются как раз с той волной, что пробегает сейчас мимо него... Он думал о Черне и о Хуняде, и огромная тоска по горной тишине охватывала его сердце...

Очнувшись наконец от своих мыслей и глянув вверх, он заметил стоявшего шагах в двадцати-тридцати молодого священника, занятого тем же, что и он. Священник тоже посмотрел на него — так они познакомились.

— Глядишь, откуда пришла она иль куда идет? — спросил Витез.

— Куда идет...

— А я — откуда пришла...

Он рассказал, что всего несколько месяцев как прибыл на родину из Италии, из Болоньи, живет теперь при дворе епископа, но никак привыкнуть не может.

— Дикий тут край, не родина он прекрасного и науки, — печально говорил Витез. — А я только им душою предан!.. Но прихожу сюда, на берег реки, все реже... Человек мало-помалу смиряется, ежели истинная цель ему ведома.

Когда же и Янко, будто на исповеди, рассказал ему о своих бедах, тот не стал накладывать на него покаяние, а постарался погасить сомнения и многочисленные,

по мысли его, заблуждения. Пока длилась свадьба, они все свободное время проводили вместе; их знакомство и потом не прервалось, ибо Витез в качестве писца королевской канцелярии отправился с войском против гуситов.

И об этом думал теперь Янко, и о доме думал, о Хуняде, потом вновь об ином — лишь бы занять себя и не слышать завываний ветра; однако грозный шум бури проникал не только сквозь шкуры, но и сквозь густое сплетение мыслей. В нем поднялось вдруг страшное беспокойство. Он сбросил с себя одеяло, встал и зажег свечи. Затравленно, с суеверным страхом огляделся в шатре. Юный Безеди спал с ангельским спокойствием, как умеют спать одни лишь дети. Янко не мог припомнить, так ли он спал в свои шестнадцать лет. Он смотрел на покрытое легким румянцем лицо и неожиданно для себя самого почувствовал, что способен, кажется, растоптать его. Подскочив к Безеди, он наклонился и потряс мальчишку.

— Проснись, неверный холоп! — закричал он. — Как посмел ты уснуть, не закончив службы?

Безеди испуганно вскочил и уставился бессмысленными, сонными глазами в лицо разгневанного повелителя...

— Чего изволите, ваша милость... к вашим услугам, — бормотал он.

Но Хуняди, не произнеся более ни слова, выскочил из шатра. Снаружи бушевал ветер, метя и неся редкий колючий снег. Нигде ни души, ни света, только бездонная непроглядная тьма.

К утру прояснилось, ветер в долине стих, но зато установился такой трескучий мороз, какой необычен перед рождеством даже для здешних северных моравских краев. Снежная вершина Ганга, словно гигантская сахарная голова, заискрилась холодным светом, когда восходящее солнце бросило на нее свои первые лучи.

Пипо Озораи, командовавший королевским войском, носился по лагерю на могучем коне и громоподобным голосом раздавал приказания. Вскоре показался из своего шатра и сам Сигизмунд, а за ним — вся высшая знать; сопровождаемый королевским судьей Петером Перени, королевским дворецким Петером Форгачем,

Ласло Гершеи Петэ, Михаем Шиткеи, Пельбартом Вардаи, Андрашем Богачи, Жигмондом и Гашпаром Сент-лелеки, король также отправился производить смотр. Однако, утомленный ночными забавами, он лишь сонно слонялся по лагерю. Пипо Озораи, этот огромный черный итальянец, истинный суровый воин, даже выговорил ему, посоветовав, отнюдь не смиренным тоном, издали смотреть на готовящееся шествие. Сигизмунд, правда, не разгневался, ибо умел ценить его отвагу и знания. И Пипо Озораи пользовался своей незаменимостью, причем не только ради приобретения все умножавшихся королевских милостей, но и ради права частенько корить Сигизмунда за его легкомыслие. Вот и в конце нынешнего лета, когда король в самый разгар победоносного преследования гуситов надумал вдруг присутствовать вместе со всей ратью в Пожони на свадьбе дочери, Озораи запротестовал, и они по-настоящему рассорились. Сигизмунд первый захотел примириться, пожаловав своему военачальнику Леву. Впрочем, король умел быть неотразимо обходительным, сердечным, и Пипо Озораи, при всей своей мнительности, преклонялся перед ним.

Причиной нынешних нетерпеливых метаний Озораи послужили замеченные им большие приготовления в гуситском лагере. Нетрудно было догадаться, что задумал одноглазый Жижка: ведь гуситы были притиснуты к горе, спереди же и с флангов их окружило королевское войско, — они могли спастись, только попытавшись прорваться... Уж несколько дней Озораи уговаривал Сигизмунда: нельзя мешкать с наступлением, ибо конечным исходом опять будет полупобеда и врага они упустят, — но король не хотел битвы, он желал затянуть на шее у неприятеля петлю голода.

— Сожрут последнего вола да коня — вот и будут разбиты, — повторял Сигизмунд.

Ночью во время попойки и гульбы все же удалось убедить короля в неотложности наступления, а встав поутру, Пипо Озораи увидел, что надо спешить изо всех сил, иначе гуситы опередят их с атакою. Он посетил все отряды, побеседовал с воеводами, каждому объяснил, как расставить солдат. Гуситы тем временем запрягали коней, — похоже было на то, что они и сейчас попытаются атаковать излюбленным своим способом — на повозках; стало быть, на пути у них следовало поставить людей в несколько рядов, стенкой, измыслить всевоз-

возможные препятствия для коней и колес. Целое полчище людей послал Озораи рыть канавы и ямы, однако в промерзшей каменистой земле сабли, что они использовали для рытья, только искрились да зазубривались без толку. Увидев это, Озораи велел наносить камней и строить из них преграды.

Хуняди со своими воинами тоже принял участие в этих работах. С саблей в одной руке и палкой в другой, он расхаживал среди людей и усиленно их подгонял. Пипо Озораи был единственным воином в целой армии, которого Янко считал во всем примером, ради кого и по чьему слову он с истинным воодушевлением делал все, что было в его силах.

В гуситском лагере, расположенном в каких-нибудь нескольких сотнях шагов, заметили все эти спешные приготовления и сами отчаянно заторопились. Кони, уже запряженные в грубо сколоченные, тяжелые повозки, нетерпеливо вздрагивали, дичая от знакомого шума; на повозки по четверо-пятеро взбирались воины и с устрашающими криками грозно вертели над головой оружие: цепи, распрямленные косы, топоры, секиры с длинными рукоятками. Это скопище людей в крестьянских сермягах и полушубках по сравнению с опрятно одетым и хорошо вооруженным войском короля казалось каким-то сбродом, беспорядочной толпой. Немало было среди них и лиц священного сана в облачении низшего духовенства, особенно молодых.

Сам Жижка, одноглазый гигант, который, собственно говоря, и последнего глаза лишился уже в победоносной июньской битве при Тренчене, сейчас расположился со своими военачальниками на одной из повозок посреди лагеря. Помощники подробно рассказывали Жижке о позициях, занимаемых отрядами, о приготовлениях врага, а он немедля отвечал решительными распоряжениями. Священнослужители распевали вдохновляющие псалмы, произносили воинственные речи, полные не только посулов земного и загробного блаженства, но и отборнейшей брани по адресу безбожников-недругов. Некоторые из них, став перед повозками, обращались к королевским наемникам не только с проклятиями, но и старались вразумить их, вернуть на путь истинный.

— С нами милость божия. А у вас что? Лишь козни сатанинские да муки, что бедняки от господ терпят.



Коли не желаете погибели душе своей и телу своему, переходите к нам, где истинная вера пребывает, и охранит она вас от мучительного истребления. Великий Жижка обещает вам блаженство небесное, коего с помощью магистра Гуса, сожженного безбожниками, достигнете, а земной платой вам будет по три талера каждому да добыча вольная...

Неизвестно чем — земных ли, небесных ли благ обещанием, — но речи эти всегда оказывали свое воздействие, ибо при всяком удобном случае, особенно же после уплаты солдатского жалованья, несколько наемников непременно перебежало к гуситам; потому-то Пипо Озорай сердито носился теперь взад и вперед и велел не жалеть стрел для витийствующих попов. Те, конечно, бросились врассыпную, но едва они скрылись за повозками, как мощно заговорила установленная на повозке гуситская пушка и тотчас же разнесся, перекрывая шум битвы, львиный рык Жижки:

— Братья мои по вере истинной, истребляйте безбожников!

Первые повозки рванулись вперед, за ними, построившись в форме гигантского клина, двинулись остальные, но тут бросились в атаку и первые шеренги королевского войска, тогда как задние ряды живой преграды встали за грудями наваленных камней.

— Гус!.. Гус!.. Гус!..

— Иисус!.. Иисус!.. Иисус!..

— Приспешники сатаны!..

— Псы-еретики!..

Адский хаос ободряющих и бранных криков, ржание впряженных в повозки коней — все это столкнулось и схватилось друг с другом, а вслед за тем сошлись врукопашную и оба войска. Битва была лютой, воздух наполнился стоном людей, сбитых цепами, косами и секирами, предсмертным мучительным ржаньем свернувших шеи и переломавших ноги коней. Многих давили тяжелые повозки, люди падали без счета. Особенно лихо бились гуситы: стоя по четверо-пятеро на повозке, уперши одну ногу в край ее, они молотили цепами направо и налево и, размахивая топорами, рубили, крошили атакующих их королевских солдат. Сражались они беспощадно, с неслыханной отвагой.

— Коней калечь!.. Коней! — взывал сзади Пипо Озорай, и воеводы подхватили его крик:

— Коней калечи!.. Коней!.. Бей их, останавливай повозки!..

Это и в самом деле было лучшей боевой уловкой против хитрости гуситов, ибо перед тяжелой повозкой невозможно было устоять. Даже перебив коней, трудно было овладеть застрявшими повозками: воины, стоявшие в них, продолжали сражаться так, что каждая повозка представляла собой поистине маленькую крепость.

Заколебавшийся было клин повозок в конце концов все же прорвал внутреннее кольцо королевского войска и устремился ко второму, внешнему кольцу. Жижка с огромной перевязью на недавно выбитом втором глазу стоял на одной из повозок посреди клина, ободряя своих людей поощрениями и даже трогательными мольбами.

— Рубите неверных собак!.. Глаза им повырывайте за мои очи!.. Душа моя видит вас, дорогие братья, пусть же не доведется ей рыдать, на вас гляючи!..

У второго кольца битва стала еще более ожесточенной, еще более свирепой. На груды наваленных камней ломались колеса повозок, спотыкались кони. Королевские воины лишь того и ждали, чтобы разом накинуться на попавших в беду гуситов. Пипо Озораи зывал к своим, требуя захватить Жижку, но тот был так окружен повозками, что пробраться к нему оказалось совершенно невозможно. Кто устремлялся туда, встречал самых лютых гуситов, которые сражались, будто дьяволы. Запах крови и пыл сраженья пробудил с обеих сторон бесчеловечную жестокость. Лацко Перени, например, бился, повсюду влача за собою плененного гуситского священника, привязанного к стремени, когда же тот не хотел бежать или, устав, спотыкался, колот его между лопатками острием сабли... А гуситы привязывали своих пленных к концам дышла, чтобы смять, разможить их при столкновении или чтоб закусали их насмерть испуганные кони... То была необыкновенная битва — это было кровавое и неуголимое взаимное истребление.

Один гуситский отряд вдруг вырвался из кровавого месива и устремился к королевскому шатру. Ближе всех к ним находился Хуняди, а с другой стороны — молодой Элефанти: они разом бросились со своими отрядами наперерез гуситам, отважно защищая дорогу к шатру, но постепенно отступали под натиском превосходящих

сил врага. Тогда Пипо Озораи послал им подкрепление, но в этот миг главные силы гуситов неожиданной атакой прорвали внешнее кольцо и, воспользовавшись сумятицей и неразберихой, ускакали. Отставший маленький отряд гуситов весь, до последнего человека, был истреблен, но и погибали они с какой-то пугающей радостью, ибо Жижка, оборачиваясь к ним, выкрикивал неустанно:

— Душа моя видит вас, дорогие братья, и радуется вам!

Когда королевское войско собралось наконец в погоню, гуситы скакали уже далеко в долине. Пипо Озораи метался меж своими отрядами и злобно бранился, но король, смеясь, успокаивал его:

— Не горюй, Жижка еще вернется, уж я-то его знаю!..

Витез после сраженья подошел к Хуняди и обнял его:

— Ты славно сражался, Янко! Я вознес хвалу господу за то, что пламя мое все ж освещало путь твой, и ты не упал вниз. Будь и впредь покоен, и пока вверх не можешь подняться, хотя бы вниз не иди...

4

Хорогсегская крепость, серой одноцветной глыбой поднимавшаяся из глубокой делвидекской равнины на изломе идущей с севера на юг чанадской проезжей дороги, выглядела скорее большой усадьбой, нежели настоящей крепостью. Насыпанные вокруг нее валы из глинистой земли и искусственные рвы с зеленоватой болотной, затянутой ряской водой, где в летнюю жаркую пору валялись ленивые буйволы, не защитили бы ее обитателей ни от какого серьезного врага и способны были преградить путь разве что разбойничьим шайкам, частенько забредавшим в эти края, да удержать то и дело бунтовавших крепостных. Действительно, это была скорее усадьба, чем крепость: господин Ласло Силади, воевода, не раз побеждавший в первых сражениях с турками, удалился сюда под старость и занялся хозяйством — по меньшей мере с той же железной волей, с какою в свое время обрушивался на турок. Он, казалось, и хозяйствование в своем именьи почитал сраженьем;

крепостных гонял свирепо, как прежде турок, прижимал их всячески из-за оброка, барщины, просроченных налогов, — так что мало кто окрест считал Силади добрым барином. Но это его не слишком заботило, когда же враждебность к нему проявлялась в действиях, он тут же принимал меры, — разумеется, эти его меры никак не способствовали примирению... На башне, глядевшей в степь, всегда выставлен был заостренный кол высотой в несколько метров, служивший символом и предостережением для жителей раскинувшейся под крепостью равнины.

Во всяком случае, господин Ласло Силади убедился, что хозяйствование оказалось для него не менее прибыльным занятием, чем битвы с турками, ибо благодаря ему приобрел он несколько добрых участков степи. Он был одним из тех приближенных Сигизмунда, которые займами поддерживали короля в его поглощавших уйму денег поездках за рубежи страны, связанных с борьбой за мировое господство; полученные же в залог села и степи в большинстве случаев оставались их владениями навеки, ибо король не часто имел возможность возвращать долги. Так мало-помалу Силади стал одним из богатейших вельмож Южной Венгрии. Умножению имущества он был обязан исключительно усердию своему и талантам: ведь в молодые годы он служил всего-навсего управляющим венгерскими владениями деспота Лазаревича.

С прибавлением поместий разрасталась и Хорогсегская крепость; маленький крепостной замок с приплюснутыми башнями все более широким кольцом окружали строения, служившие жильем приказчикам и дворовым, амбары да хлева. Огромный крепостной двор по-прежнему был похож на шумную усадьбу: въезжали и выезжали пустые и груженные телеги, суетилась и бранилась челядь, ревел скот.

Однако вот уже несколько дней, как в крепости царил поразительный порядок: строения, крепостные стены и башни были приукрашены, принаряжены, даже гвалт несколько стих, — по крайней мере, шумливый хаос, пронизанный проклятьями и бранными понуканиями, сменился торжественным оживлением. Причина изменений крылась в том, что уже четвертый день пребывал здесь король Сигизмунд со своей свитой. По приглашению Георгия Бранковича, ставшего деспотом после смерти Лазаревича, король решил посетить Смедерево; к

тому же по жене, Барбаре Цилли, он был с Бранковичем в родстве и хотел, как и с Лазаревичем, заключить с ним дружеский договор. Впрочем, давно уж пора было посетить южные районы, которые он — то по занятости в дальних странах, то из-за гуситских войн в Верхней Венгрии — более десяти лет не ободрял своим присутствием и которым ныне особенно угрожали турки. Еще до благовещенья, в первые дни наступавшей весны, королевский поезд выехал из Буды, но за Чанадом весенние ветры нагнали с запада густые тучи и по всей стране на много дней зарядил дождь. Дороги размыло, кони почти по грудь увязали в грязи. Непогода загнала короля в Хорогсег, где он и остановился со свитой на несколько дней, пока небо не расчистится и не подсохнут дороги. Впрочем, Сигизмунд и в ином случае не миновал бы владений Ласло Силади — хотя бы оттого, что снова нуждался в крупном займе...

Сейчас, когда из-за лившего с раздражающей монотонностью дождя нельзя было не только поехать на охоту, но даже нос высунуть из замка, король вместе с господином Силади сидел в доме для гостей. Сначала они тихонько играли вдвоем в кости, но потом обоим это наскучило; они даже не разговаривали, каждый развлекался сам по себе. Очень скоро надоела им на сей раз игра — особенно Сигизмунду, хотя кости, как и любые иные азартные игры, были его страстью. Медленным движением он поднял кость и бросил так, что она завертелась по столу (будто мысль какую-то про себя додумал), потом встал и подошел к окну. В ясную погоду из круглого окошка была видна темешская равнина и ближняя деревня Бегье, однако теперь взгляд упирался лишь в безотрадный серый занавес дождя. Некоторое время король глядел на серую пелену, потом отвернулся и устало, недовольно молвил:

— На дождь бросал — прекратится ли... Вышло — нет.

Лицо его было утомленным, сильно постаревшим. Не осталось в нем и следа былой легендарной силы и алчной жажды жизни: от углов рта протянулись глубокие горькие складки, а с упрямого, выдающегося вперед подбородка свисала безжизненно и беспомощно огромная борода, поседевшая и похожая теперь на пеньковую

паклю, что прицепляют дети, когда колядуют под рождество, изображая вифлеемских волхвов.

— В прежние времена будто и погоды столь дурной и убийственной не было, — добавил он к предыдущей фразе. — Будто к погибели мир идет...

— Это мы идем к погибели, великий государь, — тихо сказал Ласло Силади. — Мир-то останется, а мы уйдем...

В этот гнетущий, печальный день глубокая безжизненность распространилась по залу, наполнила их сердца. То были два усталых старика, не более, и ощущение бренности их жизни проникало им в души.

— В пути погиб мой любимый сокол, — сказал король. — Много истинных утех доставил он мне...

— Источники утех наших гибнут с легкостью. Вот и деспот Лазаревич сколь нежданно преставился. А я почитал, что долго еще усладой моей он будет, ибо много радостей получил от него...

— Источники утех? Они не только гибнут, но и меняются в корне. Еще недавно главной отрадой моей были победы в делах государства. А ныне мне любых деяний дороже строки Цицерона... Влюбленности слаще ритмы Овидия. Формы женские я ныне более ценю, во мраморе и в камне воплощенные. Подумать можно, что сие показатель большей мудрости, но то не мудрости, а упадка признак. Ибо действие, даже самое дурное, всегда значительней размышлений о нем, даже самых дивных размышлений!

Господина Силади никогда не занимали столь высокие материи, никогда он о них не задумывался, ибо до сих пор вся его жизнь полностью была поглощена сначала битвами с турками, а потом борьбой за обогащение, — и теперь он скорее воспринимал голос Сигизмунда, но не смысл слов его. Он и отвечать на них не стал, только гмыкал да головой покачивал.

— Внутренняя потребность гонит меня к ним, — продолжал король, — хоть и ведомо мне, что, ими себя услаждая, обрету лишь мягкость тления. Я и теперь охотнее бы занимался этими науками в Буде. Но ведь так уж устроен человек: и признаться себе не желает в том, чего боится, и сам же себя растравляет. Непорочную девицу взять хочет, когда, пожалуй, и порушить ее не в силах, полстраны в седле проскакать желает, когда и полеживаешь-то с трудом, орехи хочет зуба-

ми колоть, а сам и гречневую кашу, на молоке сваренную, едва прожевать может... Ты, благородный Силади, не так мыслишь?..

— Истинно так, — нерешительно согласился Силади и тотчас, словно мысль эта грызла его давно, поспешно проговорил: — Дочь моя Эржи очень уж науками этими новыми себя утруждает. До той поры покою мне не давала, покуда я не нанял ей ученого отца Гергеля Шелени, много стран объездившего. Может, и она погибель чуёт?

Сигизмунд, хоть и был сильно удручен, улыбнулся трогательной и простодушной отцовской тревогой и успокоительно произнес:

— Каприз молодой, и ничего более, это я тебе говорю, а уж мне женская порода ведома. Все пройдет, когда жизнь ее по-другому сложится.

— Так ли, великий государь?

— Так. Янош Хуняди как раз и гожд для нее, воин он отменный, хоть с науками не в ладу. Вот они и сойдутся.

— И я так разумею. С почившим в бозе деспотом Лазаревичем замыслили мы это, когда Эржи была еще дитя малое. Очень люб был деспоту Янош.

— Да и мне он угоден.

— Он, верно, постарше Эржи, но мужчина в расцвете сил. Не ветрогон. Эржи покой возле него обретет.

— Еще бы и Михала твоего с кем-либо сосватать.

— По времени пора бы, да вот охоты к тому нет в нем.

— Оно, если подумать, так нежелание его и не дивно. Жена частенько недругом при муже состоит. Воистину поклясться в том могу...

Король умолк, словно ожидая, что Силади подхватит нить беседы, но тот молчал, и Сигизмунд заговорил опять:

— И я ранее не поверил бы, что сам велю жену, избранницу свою, в ссылку отправить... В неволю вверг ее, но и себя в неволю обратил тоской своей, и моя неволя ничем не легче... Кто объяснит, где начало разладу в жизни нашей... В глаза всегда мне клялась, а за спиной — иным клятвы давала. Да и ныне из Варада все клятвы шлет, на кожах писанные. Но кто ей поверит?..

Он говорил скорее про себя, к себе самому обращаясь. Силади слушал, едва осмеливаясь перевести дыха-

ние. Однако Сигизмунд вдруг замолчал и, будто устыдившись собственных признаний, с деланной веселостью сказал:

— А Михалу мы все-таки сыщем хорошую жену! Не повредит его милости, ежели малость его приструнят.

Теперь, когда король изменил тон, они вновь погрузились в обсуждение семейных дел, и за хлопотами мало-помалу рассеялись грусть и безнадежность.

Пока они вдвоем по-стариковски проводили время, в противоположном крыле крепостного замка дочь Силади сосредоточенно и увлеченно беседовала со священником. С детским восторгом взидала она на его по-цыгански смуглое, сильное, мужественное лицо и, наклонившись вперед грудью, буквально пила слова его, лившиеся из-за ограда сверкающих белых зубов. Иногда из массы волос ее, цвета пшеничного колоса, падал на лоб выбившийся случайно локон, и она чуть жеманным движением возвращала его на место, все время облизывая между тем губы, будто кошка, заметившая любимую пищу. Ее надменное лицо с несколько жесткими чертами необычайно смягчилось, и голос, когда священник сделал небольшую паузу, мягко зазвучал в тишине:

— Мой наставник, отец Гергель, тоже бывал в Болонье, но он не так искусен в рассказах, как ты, отец Янош!

— Может, мне твоим наставником стать, сестрица! — смеясь, спросил священник.

— Я и без того тебя наставником почитаю, ты во мне рвенье к наукам поселил.

— Этого нельзя поселить, сестрица. Жажда прекрасного дается от бога, — серьезно произнес священник.

— Отчего же тогда не во всех жажда та живет, да и во мне пробудилась лишь в прошлом году, когда ты, у нас будучи, беседовал со мной, отец Янош?

— Пути господни неисповедимы!..

Какая-то нерешительность и плохо скрытая робость звучала в его словах. Эржи Силади тоже не удовлетворилась ответом; выпятив вперед подбородок, она упрямо продолжала выпытывать:

— Отец Янош, отчего ты всегда говоришь вот так,

когда сказать ничего не желаешь? Может, зазорно тебе, что первым наставником своим тебя почитаю? Столь уж я неразумна?

— Полно тебе, — успокаивая ее, проговорил священник. — Я хотел сказать только, что никогда и ничто не исходит от нас самих. Все деяния наши суть деяния господни, нашими руками сотворенные.

Они немного помолчали, но оба чувствовали, что разговор еще не кончен. Невысказанные слова, казалось, тяжело повисли в воздухе перед ними и над ними, готовые упасть, и оба не смели пошевелинуться, не смели вздохнуть, чтобы содрогание воздуха не сбило до времени эти слова...

— Осенью моя свадьба, — тихо произнесла девушка после недолгого молчания. — Как вернетесь из Смедерева. Вечером батюшка сказывал, будто так порешили.

Священник нимало не удивился такому повороту беседы, напротив, будто считая его прямым продолжением предыдущего разговора, тотчас тихо и спокойно ответил:

— Знаю. Слышал от жениха твоего, от Яноша.

— Батюшка желал, чтобы ты венчал нас, отец Янош. Ты ведь наш дальний родич...

— И это слышал я от жениха твоего Яноша...

— Берешься службу эту нам сослужить?

— С истинной радостью, ежели король сможет обойтись без меня в своей канцелярии. И батюшка твой, и ты, и Янош Хуняди очень мне по сердцу.

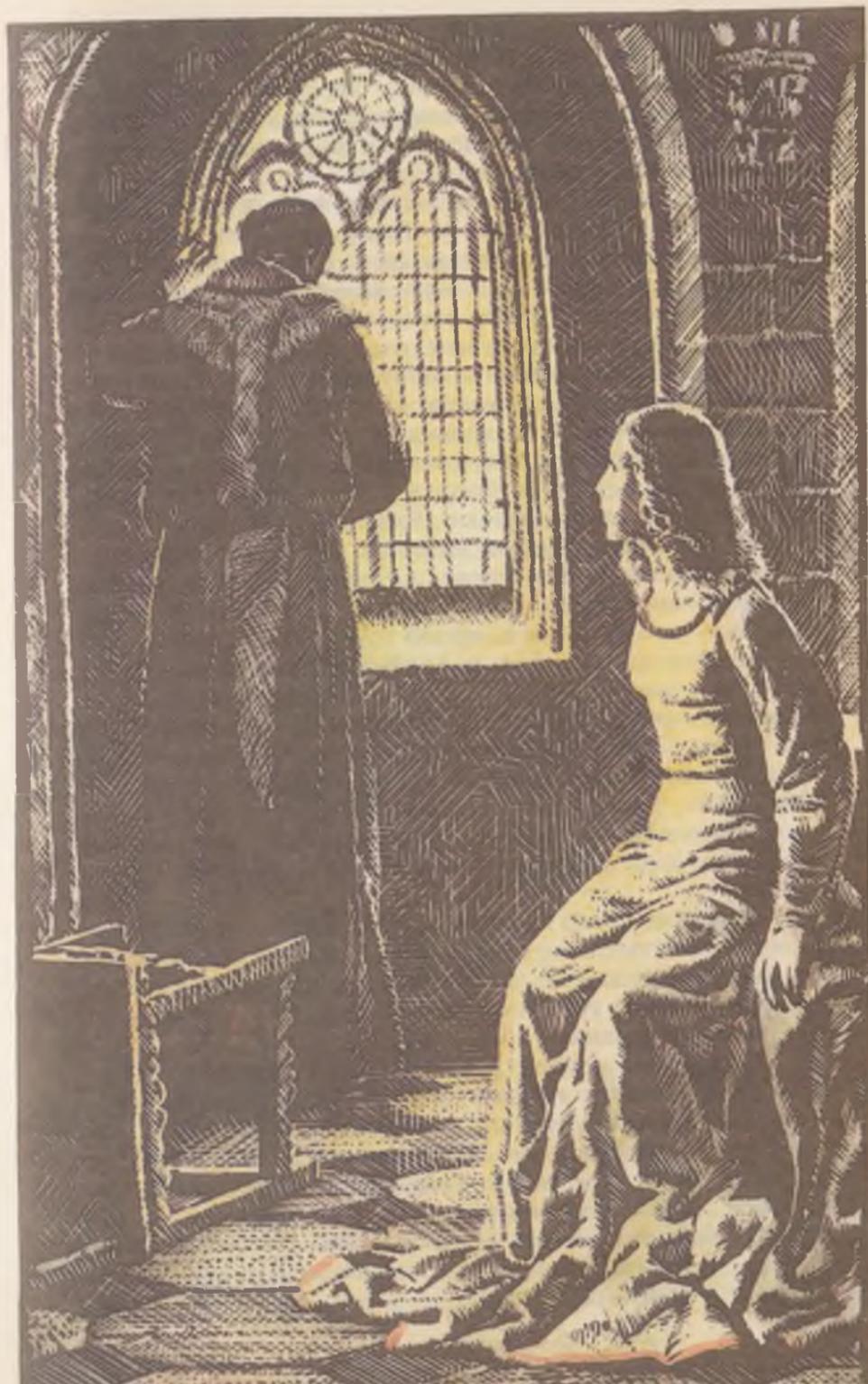
— Особенно Янош Хуняди, — сказала Эржи с едва заметной издевкой в голосе. — А ты очень ведь старался ради сговора этого...

Священник, словно не заметив насмешки, ответил:

— Стараться мне не пришлось, сговор давно решен был. Однако могу сказать, что считаю его весьма счастливым. Янош Хуняди — человек достойный и прямодушный. Знаю его, как истинно благородного мужа. Я без страха доверил бы ему и собственной души блаженство. Он уже не молод, но серьезность его и приятное спокойствие восполняют это.

— Так же батюшка говорил мне вечером. Верно, у тебя научился словам этим, отец Янош!

— Слова истины у всех одинаковы. Их заучивать не надобно.



— Отец Янош! — с мольбой проговорила девушка и поглядела на него сверкающими глазами. В голосе ее уже и следа не было давешних упреков и колкой насмешки, осталась только безмерная преданность. Однако высказать то, что хотелось, она не решилась и только повторила еще раз: — Отец Янош!

Но и два эти слова заполнили весь огромный зал, заполнили их самих. Губы у обоих пересохли словно от жара, воздух, казалось, накалился. Взрывной накал невысказанных слов был почти невыносим. Священник протянул уже руку, чтобы погладить тонкие с голубыми прожилками пальцы девушки, вздрагивавшие перед ним на столе, но в последний момент отдернул ее и спрятал за спину, словно боясь удара. Некоторое время они сидели, погрузившись взглядом друг другу в глаза, головы их почти соприкасались, но вдруг священник встал, сильным движением отбросил стул и отошел к окну. Нет, не отошел — отбежал. Казалось, он желал быть сейчас как можно дальше отсюда... Он чувствовал: надо что-то сказать, найти слова, которые разрядят напряжение, возникшее от сорвавшейся с уст девушки полуфразы, — иначе она всю жизнь будет стоять между ними, как сломанная балка, напоминающая о катастрофе... Да, надо поскорей что-то произнести, сказать те слова, которые разрядят это напряжение и в то же время станут стражами, хранителями расстояния между ними, — или подбежать к ней, поцеловать эти яркие алые губы, раскрывшиеся, словно лепестки цветка. Он уже шагнул было к Эржи, но что-то словно преградило ему путь, и он остался стоять у окна, так ничего и не сказав.

Он стоял долго и долго молчал. Взрывное напряжение в обоих погасло, обжигающий жар остыл, бешено бившиеся сердца утихли. Молчание было совсем иным, нежели раньше: утомленным и бессмысленным. И сами они были изнурены.

Священник отвернулся от окна, медленным, усталым шагом прошел назад к столу. Он уже мог подойти к девушке, мог протянуть руку, погладить бескровные, холодные пальцы, он даже мог бы спокойно поцеловать ее бледные губы: теперь это было бы ни чем иным, как простой лаской родственника или духовника.

Он был на полпути к столу, когда широко распахнулась дверь и в проеме появился Янош Хуняди, огром-

ный, могучий, словно вождь победоносного войска завоевателей.

— Насилу вас сыскал, — весело сказал он. — Может, в прятки играли?..

Однако, увидев серьезные застывшие лица, он и сам тотчас притих и чуть не на цыпочках перенес свое огромное тело через порог.

— Или и теперь наставление в науках идет? — прошептал он благоговейно и осторожно. — Мне-то можно ль послушать?..

Все это он делал и говорил с каким-то детским проворством, резвостью, хотя в его огромных густых усах и спадающих на шею волосах уже проглядывали седые нити. От его веселости у священника потеплело на душе, и, чтобы прогнать сковавшее их замешательство, он, улыбаясь, сказал:

— Наставление в науках закончено, а вот в прятки поиграть я не прочь. Ты води, а мы спрячемся!

Хуняди принял шутку, встал в угол за дверью, огромными ладонями прикрыл лицо и начал считать:

— Раз... два... три... четыре... пять... я иду искать!..
Даже Эржебет улыбнулась его ребячливости.

— А знаете, — с тем же воодушевлением продолжал Хуняди, повернувшись, — как я ныне силен! Давеча трех рыцарей — Лацко Денгелеги, Белуша Понграца и Ферко Сереме — заставил попотеть в оружейной, вкопец умаялись, со мной фехтуя. Ты, Эржебет, зашла бы разок в оружейный зал поглядеть на фехтованье!

— Тебя не гнетет эта погода? — спросил священник.

— Меня, Витез? — засмеялся он. — По мне, пускай дождь льет до тех пор, покуда земля не сгниет. Дольше здесь поживем...

— Ну, я пошел! — заторопился священник Витез. — Меня ждет главный канцелярист, трудиться надобно. А вы развлекайтесь!

— За нас будь спокоен, Витез!

Хуняди подсел к столу на место священника, наклонился и влюбленными глазами поглядел на девушку.

— А теперь я буду наставлять тебя в науке, девица, — улыбаясь, сказал он. — Или не хочешь?

— Наука твоей милости не для девиц, — уклончиво ответила Эржебет. — Она для воинов-витязей.

— Да не этому я хочу учить тебя, Эржи. Мы вот с

батюшкой твоим порешили осенью свадьбу справить. К рождеству ты уже в Хуняде хозяйкой будешь.

— Вечером батюшка говорил об этом.

— Ты хоть немного-то порадовалась? Или закручинилась, Эржи?

Девушка, прищурясь, полуопустив веки, смотрела на сидевшего перед ней великана, который годился ей чуть не в отцы. Из-под густых его усов на нее повеяло вдруг простодушной неловкой нежностью, и на сердце у девушки потеплело, она ответила жениху бледной, слабой улыбкой. Но и от этой слабенькой улыбки Хуняди словно опьянел и сделал то, на что до сих пор не осмеливался, даже очень расхрабрысь: твердой, привычной к оружию рукой он взял маленькую белую ручку девушки и осторожно ее погладил.

— Эржи! — прошептал он. — Эржи!.. Мою матушку тоже так звали!

Рука девушки, казалось, затрепетала в его ладони. Во рту у Хуняди пересохло, губы его запеклись, ему хотелось говорить, говорить с ней без конца. Рассказать о своем отце, о матери, о дяде Радуе... рассказать и о том, как он счастлив... Слова, не оформясь, тесня друг друга, роились у него в голове, но, достигнув языка, вылились лишь в неуклюжую, восторженную похвальбу:

— Я дал Сигизмунду займы тысячу двести талеров-форинтов, а в залог получил город Папи в комитате Арад. Витез тебе не говорил?

— Нет, — тихо ответила Эржи. — О том и речи не заходило.

Хуняди почувствовал, что не нужно было говорить этого, следовало сказать о ином, и глаза его даже слегка увлажнились от стыда. Но и на сей раз он не смог повести разговор иначе и только пробормотал:

— А ведь он ссудную бумагу писал...

Они немного помолчали. Потом Эржебет отвела руку и встала со словами:

— Благослови бог твою милость! Я пойду на кухню, приглядеть надо...

Хуняди не успел ничего сказать, как она мелкими порхающими шажками уже переступила порог. Он замороженно глядел ей вслед, затем принялся колотить себя по голове могучим кулаком.

— Эх, и дурень же я! — вполголоса бормотал он.

Однако он все же не пал духом: сознание, что дочь могущественного Ласло Силади — его нареченная, наполняло его такой верой в себя, что о нее разбивались любые осечки и неудачи.

Сначала обручение только льстило его тщеславию, но теперь он отчетливо сознавал, что любит девушку. Душа начинала дрожать в нем, едва мелькнут перед глазами оборки ее платья или послышится стук ее туфелек. Осень, когда он окончательно сможет назвать ее своей, казалась ему страшно далекой...

Иной раз Янош думал: пусть бы дождь хлестал вот так всю весну и все лето, лишь бы пробыть здесь подольше, — но иногда его охватывало почти невыносимое нетерпение: хотелось идти, мчаться, подгонять время, чтобы как можно скорее вернуться сюда и завладеть девушкой... А ведь она и в самом деле годилась ему в дочери, хотя рядом с ней он всегда будет чувствовать себя неловким мальчишкой...

А Эржи? Конечно, она немного пуглива еще и дичится его, но лишь оттого, что роль невесты для нее нова. Ничего, привыкнут друг к другу... И Витез так говорит.

Хуняди сидел у стола, откинувшись на спинку стула, удобно вытянув ноги, и мечтал, глядя в темнеющее окно. Осенью, быть может, даже в самом начале осени, будет свадьба. Самое малое год он никуда не двинется из Хуняда. Будет хозяйничать, приведет в порядок дела поместья — Янку не больно-то в этом сведущ, — перестроит крепость, сделает все, что пожелает Эржи. Даже буквы рисовать и читать научится ради нее, чтобы она из-за него не краснела. А потом... потом он совершит нечто великое, чтобы она не только не краснела, но чтобы и слава его ей досталась... Эржи поистине этого заслуживает, потому что она такая девушка, такая... А любопытно, что скажут на это в Уйлаке?..

Он поднял ногу, брыкнул ею в воздухе и долго смеялся от радости, словно озорной мальчишка! Как приятно было держать в ладони маленькую теплую ручку Эржи! И она не отнимала ее!..

Хуняди поистине таял от блаженства. Да, никогда бы не поверил, что чья-то рука у тебя в ладони может доставить такую радость! Хуняди и в любовных делах

был уже не новичок, но, ей-богу, такого никогда еще не испытывал. Даже воспоминание об Анне Уйлаки никогда не возбуждало его так, как имя Эржи...

Он томно вздыхал в опускавшихся сумерках и думал о том, что говорил ему вечером Витез:

— Редкий алмаз... зорко храни...

— Только блеск у алмаза этого малость холодноват, — высказал Хуняди свои душевные сомнения.

— Истинный алмаз холодно сияет среди камней и в футляре. Но когда его носят, и блеск у него ярок, и сам он теплый!...

Конечно, Витез прав окажется, ибо он всегда бывает прав, такой это умный человек; и... и надо, чтобы он прав оказался!.. Да и почему ему не быть правым? Хотя Янош почти на двадцать лет старше Эржи, в нем еще достаточно пыла, чтобы разжечь ее... Интересно, вот живут люди рядышком, словно бы нарочно друг для друга созданные. Когда он впервые увидел Эржи, ей лет пять было, а ему давно перевалило за двадцать: в делах любви он был весьма опытным молодым человеком. Помнится, он еще от души посмеялся про себя, когда по дороге домой деспот полушутливо-полусерьезно заметил, что маленькая Эржи будет ему доброй женой. Он смеялся, думая: я — и едва научившаяся лопотать девушка... Тогда мечты все еще влекли его к Анне Уйлаки, и он смеялся...

Теперь он вновь смеялся, припомнив все. Анна Уйлаки давно стала женой Лацко Перени, она толстая, немолодая уже женщина, и у нее трое детей, а он — жених юной, милой девушки... Ну, как тут не посмеяться?

Он долго размышлял об этом в надвигавшихся сумерках, и тяжелые дни и годы легкими мотыльками порхали перед ним на крыльях воспоминаний. Их поддерживало переполнявшее его счастье...

Хуняди не заметил, как совсем стемнело, и очень удивился, услышав звук созывавшего к обеду колокола.

Когда он вошел в столовую, почти все сидели уже на местах и развеселившийся Ласло Силади рассказывал Сигизмунду:

— ...надо было охранить посевы конопли от ворон. Вот мы и посадили на колы парочку живых огородных пугал...

Спустя несколько дней дождь все-таки прекратился, выглянуло солнце, и королевская свита могла двигаться дальше. Дороги были еще грязны, но равнина дышала паром под солнечными лучами, так что казалось, к небу поднимаются настоящие облака. На полях трудились крепостные, сеяли коноплю. То один, то другой останавливался в конце поля спиной к бороздам и высоко подбрасывал шапку, чтобы конопля уродилась такой же высокой...

Хуняди смотрел на них, потом оглянулся на теряющуюся в веселом тумане Хорогсегскую крепость и громко гикнул от радости.

— Расти, моя радость, высоко-высоко! — Он показал на башню, и все витязи от души над ним посмеялись.

— Спятил ты на старости лет! — сказал Денгелеги, но Янош не обиделся, а хвастливо возразил:

— И ты бы так с радостью спятил, было б от чего! Старый ты хрыч!

5

Ветви деревьев колыхал уже осенний ветер, и на склонах лысеющих холмов вдоль села сиротливо клонились виноградные лозы. Они сиротливо опирались на вбитые у их корней колья, похожие на нищих, что просят подаюния, держась за суковатые палки. Смеркалось. Далеко на северо-востоке пылали в красном свете вершины горы Фрушки — казалось, там горели леса.

— Горы ветер сулят, — сказал Мартон крестьянину, бредущему с ним вдоль виноградников.

— Угу! — тихо отозвался тот, выплюнул застрявшие меж зубами виноградные зернышки и старательно расчесал усы.

На том и окончился разговор о погоде, и некоторое время оба молча шли вдоль оголившихся виноградников, иногда останавливались, шарили среди шелестящих листьев, а найдя забытую гроздь винограда, срывали ее и тотчас начинали чавкать. Так они коротали время. Да и не оставалось им ничего иного, кроме как время коротать, раз уж ничем полезным заняться нельзя; а так хоть не совсем без дела протекала пора ожидания.

— Малость рановато пришли, — снова начал Мар-

тон и босой ногой отбросил с дороги поваленный кол. И так как приятель не проявил никакой склонности к беседе, вновь повторил только что сказанные слова: — Малость рановато пришли мы, Герге...

— Малость рановато, — согласился Герге невозмутимо и взялся за только что сорванную гроздь.

Некоторое время они обдумывали про себя сей установленный при дружеском согласии факт и продолжали копаться в листве. Однако вскоре заговорил Герге, и на этот раз несколько живее:

— Ну, я уже листья жухлые за грозди принимаю, — сказал он, отплевываясь. — Больно темно стало.

Они бросили поиски и, подойдя к подвалу, прорубленному в подножье холма, уселись у входа на землю.

— Когда остальные-то явятся? — спросил Мартон, осматриваясь в сгустившихся сумерках.

— Магистр Балаж из Чевиге придет. Вскоре после захода солнца тут будет, он мне сам сказал.

— Я только одно говорю — наступит час, когда напрасно ждать его станем. И с ним будет то же, что и с магистром Балинтом, булкенским приходским священником... Воины попа Якоба и нынче по селу шастали. Сам видел, как к дому старосты пошли.

— Староста! — сердито отмахнулся Герге. — С той поры как господина Мате Канди старостой поставили, только и знает, что задницы им лизать.

— А моему отцу Канди сказывал, будто он одной с нашими веры держится, но приказы оглашать все ж обязан!

— Это он так только! Чтобы доверялись ему. Верно тебе говорю. Предатель он, Иуда — даром что зовут его Мате... И булкенского священника по его навету схватил поп Якоб...

— Многие так говорят, да про него и поверить нетрудно. Особо после того, как в прошлом году при разделе пастбищ он в свою пользу ошибся. Этот за квартиру масла продал бы и небесное блаженство, коли уповал бы на него... Я так и сказал отцу: не связывайтесь вы с ним, даже в разговор не вступайте!

Они тихо переговаривались, между фразами прислушиваясь к доносившимся от села звукам, но слышали лишь лишь собачий лай да меланхолический рев скота, бредущего на водопой.

— Староста!.. — снова начал было Герге, но вдруг

умолк. Оба внимательно прислушались. Они еще только телом ощутили, как вздрагивает земля от приближавшихся шагов, но вскоре тишину вечера спугнуло тихое гуденье человеческих голосов.

— Кто-то идет...

Подошли трое. Негромко поздоровавшись с ожидавшими, уселись с ними рядом.

— Земля уж холодная, — расположившись, сказал один из пришедших. — Промерзнет зад, еще колику схватишь.

— Поп Jakob ее из тебя выгонит, — поддразнивая, ответил другой. — Сунет кол в задницу, вмиг твоя колика к соседу перебежит.

Все вволю посмеялись, только Мартон сердито проворчал:

— Поп Jakob верующих колом не балует, он их на огне любит поджаривать. Да вы и дождетесь этого, коли так громко забавляться станете!

Предостережение и упрек умили веселье, крестьяне призадумались, а когда вновь приглушенно завели беседу, речь пошла совсем об ином.

— Сын-то Кутаров и нынче домой не вернулся, — сказал один из вновь прибывших. — Я с отцом его говорил. Он думает, к солдатам сын сбежал. Потому дружок его самый разлюбезный, Андораш Тизур, вместе с ним пропал, а они давненько друг дружку подбивали в солдаты податься.

— Ну из этих-то добрые солдаты выйдут. И в безделье и в разбое будут первыми. Они и дома не больно усердно спину гнули, — добавил другой. — Так что отец немного потерял, это уж верно!

— Кутар из-за коня только и кручинится, того, что сын с собой угнал. Всего два у него и осталось, семья-то сам-пять...

— Его жена уже замену сыночку готовит. Первый снег не выпадет, а их сызнова шестеро будет.

— Ежели не поболее...

Последнюю фразу добавил Герге. В его хитром тоне чудилась какая-то тайна, он даже голос повысил, чтобы люди поняли: тут еще не все сказано... Но больше он не произнес ни слова. Пусть-ка их любопытство помучит. Мартону в конце концов наскучила эта игра, и он поторопил:

— Может, и впрямь двойню ждут?

— Да нет, тут другое... говорят, будто сбежавший парень Кутаров память по себе оставил старостиной Эржи... От сраму и сбежал из дому... Я там не был, да вот люди сказывают!

Эта новость заинтересовала крестьян больше всего. Старостина дочка? Вот это да! Обсуждение подобных делишек всегда волнующее занятие, а тут еще особая сладость кроется: ведь староста частенько досаждал односельчанам, на горло наступал. Вот радость-то, если кто-то и в самом деле хоть чем-нибудь ему отплатил!

— Вполне может быть! — с горячим волнением поспешил один из крестьян поддержать Герге. — Эржи нынче-то и не видать никогда среди девок. Вот и на свадьбе Штринцевой дочки ее не было. А подружки они закадычные.

— Мать ее говорила, будто глисты девку мучат, от того и недужит она...

— Другая глиста мучит, — ехидно сказал Герге.

Из темноты вынырнули новые люди: они появились неожиданно, словно выступили из-за черного занавеса, и, неторопливо поздоровавшись, уселись на землю подле других. Им тоже рассказали историю про сына Кутаров и старостину дочку, и кто бы еще ни приходил, тотчас начинали рассказывать все сызнова. Со странным волнением они перебрасывали эту историю друг другу, и она все ширилась, обрастая подробностями. Уже стало известно, что беда случилась в ивняке на берегу Савы еще в начале весны и что староста, узнав о том, хотел убить дочь.

— Попа Якоба боялся!.. Больно суров их поп к этакому сраму...

— Поп Якоб только перед другими святую рожу корчит. А сам не святее прочих попов! — отвечал Мартон. — Слыхал я, будто в Чевице и он к меду прикладывался...

— Магистр Балаж про все расскажет, — произнес Герге. — Скорее бы приходил. Сулил, как солнце сядет, а глянь, уж звезды блещут.

Теперь каждого нового пришельца принимали сперва за Балажа, — но время шло, а его все не было. Собралось их уже человек пятнадцать, были среди них и бабы. Эти забились подальше, в сторонку, в разговор мужиков не вмешивались, шептались меж собой, низко опустив головы и роняя слова прямо в землю. Судачили

они о том же, что их мужья, но тихо и всегда отставая на фразу, будто жужжащим хором своим вторили мужской беседе.

— Сын Кутаров и Андораш Тизур уже к Тисе шагают, — вздохнул молодой парень, и в голосе его слышалось желание последовать их примеру.

— Ежели туда бочкоры наострили. Вполне и на запад могли податься.

— Они-то беспреренно на восток пошли, прямо-хонько в Хуняд. Туда нынче все конокрады да холопы беглые направляются, — враждебно проворчал Герге. — Там бродяги теперь в большой чести. Всех в солдаты берут, только согласие дай.

— Зачем тогда до Хуняда тащиться? Господин Янош вместе с прочими господами в Тительреве стоит, в королевском лагере. И господин граф Цилли туда подался. Про турка советуются. Сказывал мне тут шептун один, — послышался хриплый мужской голос из заднего ряда, но не успел он договорить, как его сразу перебили несколько мужиков:

— Видно, мы и есть тот турок.

— Сколько бы господа против турок сабли ни точили, всегда эти сабли наши жизни укорачивали...

— А я уж и не верю, будто впрямь турок тот есть. Господа знай твердят: «турок да турок», — а никто его не видывал. Затем только и страшат им, чтоб причина была солдат на шею нам посадить...

— Сказывают, язычник он, турок-то... ни бога не чтит, ни сына божьего...

— Господа сами язычники, они в идола каменного веруют...

— Однако про турка все ж не брехня! Румыны да болгары сказывали, которые бежали от него...

— Турок вина не пьет да свинины не ест...

— А тогда лучше уж турки, чем солдаты! Солдаты ведь дочиста нас обирают, и вином не брезгают, и свиной!

— Но турки-то народ губят!.. Баб угоняют, детишек малых, всех... Болгары сказывали, которые уже пострадали от них.

— А я так скажу: нету никаких турков, они только в сказках господских...

В воздухе летали взволнованные фразы, и на каждую тотчас следовало возражение; люди совсем переста-

ли соблюдать тишину, каждый желал показать свои познания. Одни набрались сведений от несчастных беженцев из Молдавии и Болгарии; других оделяли новостями проходившие мимо солдаты, покушавшиеся на их скот и женщин; гонцы, что несли вести благородным господам; возчики, перевозившие благородных дворянок. Вне узких границ села жизнь представлялась им сплошной всесветной несуразицей, они верили почти всему, что приходило извне, и, лишь соизмерив со своим житишком величиной с ладонь, пытались составить какие-то суждения и представления. Еще недавно точно так же верили они и в жалкие сказочки бродячих певцов. Перебираясь из одной дворянской крепости в другую, певцы жили и кормились в пути по милости крестьян и в благодарность вечерами, когда крестьяне возвращались с пастбищ, пели им свои печальные песни. Рассказывалось в них о ратных делах господ витязей и о любовных приключениях влюбленных рыцарей: о Гараи, Хорвати, Канижи, а в новейших — и о господине Яноше, владельце Хуняда. Так, пели льстецы, господин Янош — подлинный сын короля Сигизмунда, рожденный от золото-волосой благородной девицы с белоснежной кожей, и будто нет в южных краях властелина отважнее и добрее его... А крестьяне заворожено слушали эти красивые сказки — и были похожи на опьяненных светом, близоруких людей, бредущих, спотыкаясь, неведомо куда. Однако позднее появились здесь крестьяне, бежавшие из районов, что лежали далеко на восток от Тисы, и они рассказывали совсем иное о королевском слуге, господине Яноше: говорили, будто и его солдаты были у Колошмоноштора, когда там загубили волю крестьянскую и убили вождя крепостных Антала Надя. Потом объявился среди них священник, магистр Балаж — ученый муж, побывавший в дальних странах, — и в его рассказах благородные господа рыцари выглядели совсем иными, нежели в песнях бродячих певцов. Да и на своем опыте здешние крестьяне познали правду, ибо воины господ рыцарей немало мучили и терзали их под предлогом войны против турок. Теперь, когда являлись сказители с цитрами, истории их не дослушивались до конца и не раз платой им служили палки. В последнее время все вокруг перепуталось, и крестьяне не желали верить ничему, что шло извне, издалека, — во всяком случае, горячо спорили и пытались как-то разобраться своим умом, в

соответствии со своими понятиями. Вот взять, например, турок. Кто скажет, есть ли они на самом деле? Румыны да болгары, которые бежали сюда от них? А вдруг прав старый Дердь Буйтош, что говорит, будто турки — те же господские солдаты, только переодетые, чтобы легче было угнетать да грабить людей, иным вельможам подвластных?

— Мастер Ференц, а ваша милость как скажет, есть ли турки-то? — обратился Герге к подошедшему портному Ференцу Биттеру, который еще и не подсел к ним, а только стал сзади, широко расставив ноги, и погружился в мрачное молчание.

Услышав вопрос, все умолкли и повернулись к портному. Не только потому, что портной Ференц был самым ученым среди них и отцу Балажу любезным человеком, но и потому, что характера он был вспыльчивого, вздорного, легко и ударить мог, если его рассердить, да к тому ж и силою обделен не был. Вот и теперь он возвышался над ними огромный, словно бегемот, еще увеличенный размытой темнотою тенью, похожий на громадного каменного идола, что в любой момент может обрушиться на них и задавить. Но это чувство боязни возбуждалось не только могуществом темноты, равно увеличивающей и тела и страхи: они всегда ощущали страх, когда он был среди них, с ними. Они никак не могли взять в толк, что нужно меж ними этому человеку. Их-то самих вновь и вновь гнали сюда, в виноградники, в глубину подвалов с затхлым, кислым воздухом, отчаяние, нужда и мучения; слушая слова священника Балажа о полной греха и безбожных заблуждений жизни благородных господ, они понимали, что слова эти прежде всего направлены против тех, в ком они видят своих мучителей. И когда священник Балаж говорил о новой, истинной вере, они вкладывали в его речи свою веру в лучший для них мир. Но чего ищет здесь этот портной, дворянин, судьба которого завиднее, чем у них десятерых, вместе взятых? У него есть дом, есть скот, есть холопы, которые обрабатывают его поле, да и ремесло ему немалый достаток дает. Верно, священник Балаж тоже не их поля ягода, как и другой булкенский приходской священник, которого уже схватили за проповедь новой веры. Эти тоже не им чета, а вот пришли же к ним. Но тут все-таки иное: они священники и рождены, чтобы провозглашать глагол веры. А портной Ференц всего лишь портной, не более!

Со страхом и сдержанностью, смешанными с уважением, они ожидали, что ответит Биттер на вопрос Герге. Ференц немного помолчал, словно готовя про себя ответ, потом заговорил зловещим, как у выпивши, голосом:

— Турок — не ложь. Но я вам говорю, не забивайте себе этим головы, ибо истинные лиходеи наши, что турка похуже, здесь, возле нас находятся. Те, кто в вере турки и нехристи, кто попа Якоба послал сюда, чтобы истинно верующих истреблять! Кто из божьей истины ложь творит. Кто идолами сатану славит, желая достичь не спасения праведных, а собственное лживое могущество утвердить. Они — подлинные турки, они самих турок безбожнее!..

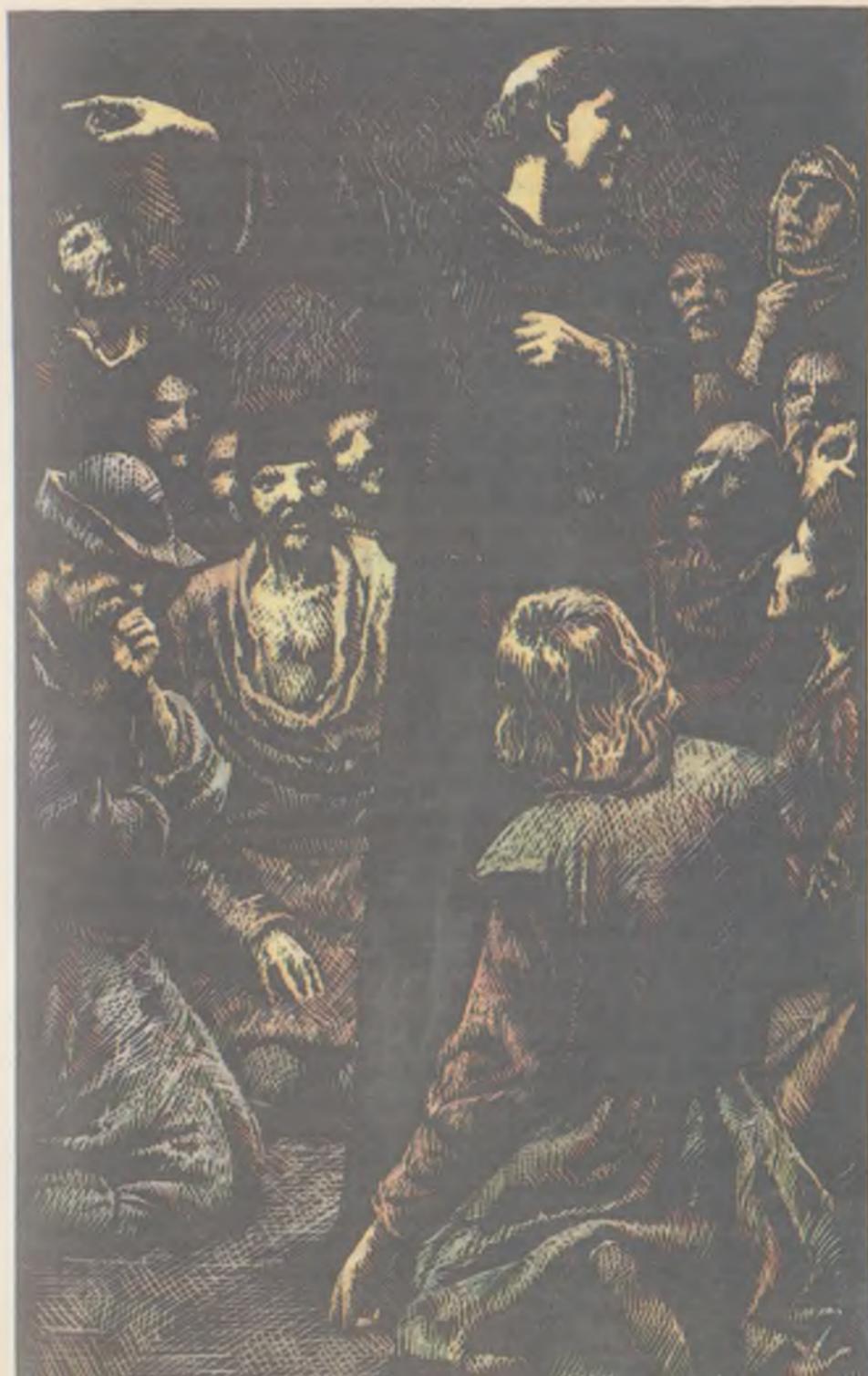
Крестьяне слушали слова, проникнутые ненавистью, что чернее самой ночи, и даже понимали их: ведь магистр Балаж частенько толковал им о том же — и все же не понимали до конца. Ведь одно дело священник Балаж, и совсем другое — портной Ференц, который всего лишь портной, не более!

Они ничего не сказали в ответ, только задумались над услышанным, кутаясь в свои рубища, прячась от холодного западного ветра, что поддувал сбоку. Никому не хотелось вновь начинать разговор, и все молили про себя, чтобы поскорее пришел магистр Балаж, освободил их от этого гнетущего молчания. И будто впрямь вызвали тем его из тьмы: священник вырос вдруг перед ними. Повеселев, крестьяне поздоровались, и все повалили в подвал. Кто-то высек огонь и зажег свисавшую с потолка плоскую. Словно придя в себя от скверной порчи, пробудившись от тяжкого кошмара, они обрадовались маленькому мигающему свету и тесным кольцом окружили священника, чуть не стиснув его. А он улыбался, глядя на них усталым взглядом, и не говорил ни слова. Как славно, в какой безопасности чувствовал он себя среди них!

Затем, как обычно, стали молиться. Магистр Балаж произносил слова молитвы по-венгерски, чтобы все понимали его:

— Отче наш небесный, всех тварей своих попечитель и заботник! Бедных заступник, богатым бич и судия, обрати к нам лик свой светлый, — смиренно началась молитва.

Затем последовало еще пять-шесть робких, чуть не



до хитрости, до лести робких и длинных-предлинных фраз, произнесенных без передышки, пока в легких хватало воздуха.

Священник стоял в кольце мужиков, одетых в рваные сермяги, и баб в платках, и сам едва ли чем отличался от этой одношерстной крестьянской бедноты. Он устало свесил сложенные руки, слегка расставил ноги и произносил слова молитвы монотонно, будто со скукой. Однако чинные фразы молитвы, начавшейся смиренно и просительно, вдруг сменились резкими, пропитанными ненавистью словами, переходящими в беспощадные проклятия:

— Царю небесный, всеми порчами и хворями повелевающий, молнии зажигающий, язвы страшные навлекающий, обрати гнев свой пепеляющий на всех, кто нам угрожает. Адовы слуги они, сыну твоему Иисусу враги, яму роющие. Магистра Яноша, верного слугу сына твоего Иисуса, сожгли, не пожелали душ бедняков спасения. Сотвори, господи, чтобы руки их, коими идолам своим молятся, отсохли, глаза, коими картинки писанные разглядывают, повытекли, рты, коими святых своих поминуют, онемели — не дозвожь, господи, им нас преследовать. Это они святые заповеди твои переиначили, ради пользы своей, корысти да распутства, ради бедного люда погибели! А кто слову твоему повинуется, тех коварством погубить усердствуют. Отведи от них десницу благословляющую и обрушь на них тяжесть гнева своего!

Проникнутые ненавистью слова, призывающие гибель и разрушение, холодно, жестко стучали о стены подвала и, отскакивая от них, возвращались к внимавшим священнику людям, а те с каждой минутой возбуждались и свирепели. Не божественное благоговение царило тут, а ярость, алчущая разрушения: глаза расширились, руки сжимались в кулаки, и даже у самых древних стариков от возбуждения дрожали на макушках косицы. Люди уже не могли дожидаться, пока священник закончит, перебивали его, моля о своем:

— Покарай попа Якоба!

— Вырви булкенского священника из рук врага!

— Охрани и помилуй гуситов!

— Пошли мор на господ!

Одни выкрикивали заклинания, другие бормотали молитвы, и все это сопровождалось стонущим, жалобным хором женщин. Лишь портной, мастер Ференц, по

прежнему молча стоял позади всех и мрачно, чуть не с презрением глядел на жалкую горстку людей, одуревших от проклятий. А священник, закончив молитву, обратился к людям:

— Как истинно верующие, покайтесь друг другу в дурных делах своих, лживых помыслах, очиститесь пред святого тела и крови святой приятием.

И мужчины и женщины, повернувшись друг к другу, начали перечислять все свои грехи, дурные помыслы, похотливые желания, а затем, один за другим, подходили к попу и с блаженными лицами проглатывали облатки и вино. Вино магистр давал из просмоленного изнутри бурдючка, в котором обычно носил его в дальние села причащать больных и стариков, чтобы, если поймают его, не сочли это символом еретичества. Вино, правда, немного отдавало смолой, но в пылу возросшего до экстаза религиозного рвения никто не обращал на это внимания.

Когда все причастились, священник Балаж заговорил о делах новой веры. Рассказал, что папа — подлинный антихрист, а служащие ему попы опозорили истинную христианскую веру, заполнив храмы картинами и статуями в виде идолов, которым молиться надлежит, и запретив причащаться вином и хлебом. Они переиначили божьи заповеди, но даже их не соблюдают, предавшись земным наслаждениям и распутству. Присвоили себе право отпущения грехов, добро на том наживают, а ведь в грехах покаяться каждый может и своему ближнему. Останки земных людей почитают, как святых, мощи делают, чтобы выгоду от этого иметь. Земной женщине молиться заставляют верующих, хотя лишь единый отец небесный свят и к нему одному молитвы возносить пристало... Законы вершат, не глядя, что лишь божье откровение есть единый и предвечный закон. В откровении сем ничего не сказано о чистилище, откуда души умерших спасает якобы молитва священнослужителей, а говорится лишь о рае и аде, которых человек делами земными заслуживает...

— Им же лишь ад наградой будет за ложь их. Вот и Якоб-поп, воин сатаны, который по приказу папы да внушению души своей черной со сторонниками истинной веры сражается... И он заслужит награду подобающую.

Не впервые слышали собравшиеся подобные речи: на частых вечерних собраниях священник Балаж гово-

рил об этом всегда почти в одних и тех же выражениях, но, как и теперь, они всякий раз находили в словах его яркий отблеск огня своих бунтарских настроений. В повседневной жизни под стерегущим взглядом помещика или его управляющих они действовали лишь по их приказаниям, поэтому было так сладко запретное, так хотелось восставать против сущего, хотя бы лишь вот так, вечером, в стенах затхлого подвала... Но даже сейчас они не могли устоять, чтобы все услышанное, все чувства и мысли, пробужденные в них словами священника, тотчас не применить к грубой действительности своей жизни. Едва дождавшись конца проповеди, они подступили к магистру Балажу с волнующими их проблемами: хорошо, хорошо, все это так, и великое плутовство поповское с причастием, и молитвы, к святым обращенные, и все прочее, — но вот история молодого Кутара со старостиной дочкой... А правда, что скажет на это магистр Балаж? Герге тут же вылез вперед и рассказал священнику историю, изрядно ими приукрашенную в ходе недавних пересудов. Но даже в таком виде она не всем пришлась по вкусу, и рассказ его то и дело прерывали добавлениями и поправками:

— Грех-то случился, когда коноплю теребили...

— Только мать еще и знает о том...

— И отцу все ведомо! Он уже намекал пузатым Кишам, что принял бы их сына в зятя. Две коровы им за то обещает!...

Герге наскучило наконец, что его бесконечно поправляют и мешают говорить:

— Нечего злоязычить-то! — сердито оборвал он непрошенных помощников. — Все это не в счет! Я про то первый узнал, я углядел!

Он кратко закончил рассказ и спросил священника:

— Не божье ли то наказание старосте Мате за веру несправедную?

— Воистину так!

— Тогда выходит, что бог для наказания этого сына Кутаров избрал!

Балаж не понял, куда тот клонит, и на всякий случай ответил богобоязненной фразой:

— Воля господа для нас непостижима. Один он ведает, что творит.

— Потому ежели господь, — продолжал допытываться Герге, внимания не обратив на слова священни-

ка, — этакого лоботряса, как Кутаров сын, избрал, чтобы хулителей своих покарать, насколько же лучше выберет он среди праведников своих. И нам пора лиходеев наказывать! Я так скажу...

Слова его потерялись в шуме, страсти бушевали вовсю.

— Побьем лиходеев!

— Веди нас на них, отец Балаж!

— Пускай их, а не нас на угольях поджаривают!

— Дубину им, а не каплуна!

— Перепортим дочерей их! — крикнул Мартон и этим как бы унял возбуждение: люди захохотали, один лишь Герге потряс кулаком в его сторону:

— Ты мне тут не дури, а не то покалечу!

Священник Балаж не вмешался, услышав угрозу, не рассмеялся и над словами Мартона, он стоял в людском полукружье бледный и серьезный. Затем поднял руку, показывая, что хочет говорить.

— Я сказал вам: воля господа непостижима! — начал он, когда шум стих. — И опять говорю: он ведает, что творит. Наш разум мал, чтобы измерить его могущество, так не станем же вторгаться в дела его. Ведь сказал сын его: кто поднимет меч, от меча и погибнет. Обратимся же к нему с сыновним доверием, ибо ему ведомо, что обрушить на головы врагов наших, а мы будем чтить его согласно вере истинной.

— А поп-то Якоб первым меч извлек! — упорствовал Герге. — Разве не он на костер послал трех гуситов в Петерхейе? А ныне сюда идет нас губить. Булкенского священника и погубил уже... Нет, не воле господа — воле господ он повинуется! И воинов они ему дают. А наш староста ему подпевает.

— Так что же вы надумали?

— Ты сам рассказывал, что в иных землях гуситы делают!

— Оброк им не платить, все позабирать у лиходеев...

— Братья! — глубоко вздохнув, перебил Балаж. — Братья! В лапы дьявола мы попадем и погибнем, ежели за суетными мирскими благами погонимся. Лишь одно скажу вам — то, что Иисус сказал ученикам своим: идите с миром и обратите ко мне все народы... Следуйте заповедям его!

Тут он начал новую молитву, давая понять, что ны-

нешней вечерней сходке конец, однако чувствовал, что слова его не разрядили скопившегося в людях напряжения, да и сам он испытывал неудовлетворенность... Но сейчас он не мог сказать им ничего иного.

После молитвы люди разошлись в глубокой тишине, возле Балажа остался лишь портной Ференц. Они вместе направились в село. Мрачно и безмолвно было вокруг, мрачны и молчаливы были они сами.

— Священник Якоб сегодня в село прибыл, — нарушил наконец тишину портной Ференц. — У тебя остановился, магистр Балаж, в приходском доме. И булкенского священника с собой привез. Им захваченного...

Только всего и сказал он, и для Балажа не было то неожиданностью — он ждал этого визита... Но все же слова портного ударили его по сердцу. Итак, здесь он, Якоб из Маркии? Вот сейчас, спустившись в село, Балаж встретится с ним. Боится ли он Якоба? Пожалуй, нет — ведь тот, быть может, еще ничего о нем и не знает, а если знает, то прибыл прежде всего затем, чтобы обратить «заблудшего» на путь истинный, вернуть его праведной вере, а не карать... Не Якоба из Маркии боялся Балаж, а себя самого, ибо настал час взглянуть в лицо и собственной жизни, и всему, что он до сей поры делал и что впредь ему делать надлежит. Доныне ни разу не доставало у него мужества дать себе в том отчет, он всегда бежал от этого, вот как сейчас в подвале. Не впервые он вот так же резко обрывал верующих, когда они заговаривали о будущем, о том, что далее делать надобно... но бог ему свидетель: его ли вина, если он все еще никак не расквитается с прошлым?

А теперь прибыл сюда Якоб из Маркии, инквизитор. Булкенского священника Балинта Якоб все еще не выпустил на свободу. Балинт... помнит ли он еще те годы, которые они вместе провели в Праге? Те вечера, когда в монастырских кельях, при свете мигающих лампад, они потрескавшимися губами цитировали друг другу учения магистра Гуса из «Tractatu de ecclesia»?¹ Помнит ли их бесконечные споры, когда они, во всем неизменно согласные меж собой, все же без пощады терзали один другого и каждый — себя самого намеренно пробужденными сомнениями, заменявшими им и власяницы и би-

¹ «Трактат о церкви» (лат.)

чи?.. Помнит ли, как однажды вели они трудный спор, выясняя, справедливо ли учение магистра Гуса о том, что причастный смертному греху священник или даже епископ не может на законном основании давать святые дары верующим...

— Нет! — утверждал Балаж. — Не справедливо сие. Ибо причастие затем и принимают, чтобы грех победить, но близость греха победить святыню не может... Святые дары сами по себе святые...

— А если это верно, — не соглашался Балинт, — зачем нужны священнослужители? Если таинства по природе своей таковы, значит, любой причастить может! Для чего тогда мы?

В то время они еще горели в огне подобных сомнений. Позже, безоговорочно приняв учение магистра Гуса, оба вернулись в Венгрию, чтобы стать апостолами истинной веры. С той поры он с Балинтом не встречался... Но сам-то он был ли таким апостолом два прошедших года? Хотел быть им, верно, — но верно и то, что роль свою он представлял не так.

То учение, которое в Праге, в прохладных, одиноких кельях, он принял в душу свою, здесь, среди крепостных в поношенных сермягах и бочкорах у дальних мельниц и в глубине подвалов, звучало совсем по-другому. А ведь — бог тому свидетель — он и здесь говорил все те же слова, что так часто, так часто повторяли они с Балинтом! И все же отклик на них был совсем иным, нежели он ожидал... Говорил ли он об антихристе, о сатане, о впавших в грех и распутство безбожниках — эти люди выкрикивали имена своих священников и господ, иногда управляющих, собиравших оброк, или старост, гонявших их на барщину... Просил ли у господ суровой кары для врагов веры — они поминали о косах и дубинах. Он хотел быть их духовником, учителем, пособником в истинной вере, а они желали видеть в нем вожака... Где совершил он ошибку? Или, быть может, нет тут ошибки, просто явь непохожа на то, что живет в его душе? Он вспомнил умирающую старуху крепостную, которую днем причащал в Чевнице. Она была при последнем издыхании, когда он туда добрался, быть может, даже без сознания, но все продолжала твердить:

— Дюрко, не бросай меня тут!.. Дюрко, возьми с собой!.. Дюрко, не бросай меня тут!

Она призывала сына, беглого крепостного, который

ночью, забрав семью, распростился с родным кровом, потому что барские слуги поймали его на воровстве и он боялся наказания. Вечером сложил на телегу все свое достояние и, когда село уснуло, с женой и детьми отправился куда глаза глядят. Он взял с собой и старую, беспомощную мать, но та уже впала в детство и не понимала, зачем увозят ее оттуда, где прожила она всю свою жизнь; старуха принялась кричать, плакать, тогда сын за деревней снял ее с телеги да там и оставил. Не хотел, чтобы она выдала их своими воплями. Осенние ночи были уже холодными, лил дождь: поутру ее, полузамерзшую, подобрала вышедшие на поля люди. А она все твердила, твердила до самой смерти:

— Дюрко, не бросай меня тут... Дюрко, возьми с собой!..

Что, что получила та старая женщина, приняв из его рук святое таинство? И поможет ли сыну ее, если даже покается он в грехах ближнему своему? Да и грешен ли он на самом-то деле? Или...

Нет, не хватало у Балажа смелости до конца додумать эту мысль. Он содрогнулся, будто желая стряхнуть с себя тревожащие, терзающие воспоминания, но это лишь вечерняя прохлада пробрала его до костей. Спасаясь от себя самого, он обратился к спутнику:

— Мастер Ференц! Ты был весьма молчалив нынче вечером.

— Речами я сыт по горло, магистр Балаж. Я жажду дела.

— Молитва да вера — тоже деяние.

— Ежели и враг только тем занят. Но он-то иного хочет. Не думаешь ты, что поп Якоб за тобой прибыл? И тебя уведет, как булкенского священника...

— Против воли господа мы бессильны.

— Господь не может праведникам гибели желать, магистр Балаж! — Портной вдруг схватил его за руку. — Сокрушим их!

Священник содрогнулся. И этот туда же? И этот войны хочет?

— Не говори так, портной Ференц! Даже помыслов подобных не держи! Увидишь, бог все повернет к лучшему.

Они уже шли по селу меж притихших домов. На улицах никого не было, повсюду царил покой, лишь собаки лаяли во дворах, слышав их шаги. Ночь опусто-

лась на крохотные домишки и скрытые в них судьбы, неся им мир и поистине бестелесный покой, и только в них двоих билось напряженно неразрешимое противоречие. Быть может, оба чувствовали, что слова сейчас окажутся напрасны, больше они об этом не разговаривали и вскоре расстались. Им было не по пути...

В приходском доме еще горел свет, значит, Якоб из Маркии ждал его. Когда Балаж вошел, гость сидел у стола и писал, а на другом конце стола ожидал вечерней трапезы зажаренный целиком каплун. Услышав шорох, священник Якоб встал и направился ему навстречу. Они облобызались.

— Я ждал тебя, брат Балаж, — улыбаясь, сказал Якоб и показал на каплуна. — Вот и он с трудом дождался твоего прихода. Слугу же твоего я отослал спать.

Он говорил так, словно они давно знали друг друга и это не была их первая встреча. Будто прибыв лишь для того, чтобы приготовить Балажу ужин, он тотчас же принялся его потчевать:

— Ешь, брат Балаж! Небось сильно проголодался...

Балаж ничего не говорил, он смотрел на Якоба с удивлением, смешанным с любопытством. Неужто этот приветливо улыбающийся человек и есть грозный Якоб? Или он только играет с ним? Глумится?

— Верно, проголодался. Далеко побывать пришлось нынче, — сказал он как бы с вызовом. — Я из Чевице иду.

— Усердно пасешь ты стадо свое.

Только всего и сказал Якоб, продолжая улыбаться. Он отодвинул письменные принадлежности, они помолчились и принялись за еду.

— Поджарен каплун хоть куда. Слуга твой отменно готовит.

— Отменно, — согласился Балаж и налил вина. Они отпили немного, а когда поставили кубки, Балаж открыто глянул священнику Якобу в глаза.

— А где же брат Балинт? Я слышал, ты привез его с собой.

— Да, привез. Он у меня под арестом в доме сельской управы.

— Что с ним будет?

— От него зависит. Кто с раскаянием прощение вымолит, отпущение грехов получит, а кто не посоветится упорствовать в заблуждениях, кару примет...

Слова эти были, казалось, обращены и к Балажу, по крайней мере столько же, сколько и к Балинту, которого здесь не было. В Балаже росло негодование, ему хотелось громко и откровенно высказаться, положив конец бессмысленной игре. «Мне известно, зачем ты прибыл! Об этом и говори. А поцелуй твой — поцелуй Иуды!» Он уже хотел было сказать это вслух, но когда взглянул на монаха, слова застряли в горле. На него смотрело усталое, измученное лицо, взор серых глаз был холоден и тверд, но в нем не было и следа коварства.

— В стаде священника Балинта, — спокойным, ровным тоном заговорил монах Якоб, — завелась парша и зараза. Надо отделить больных, дабы спасти здоровых, и если нельзя их вылечить, то суждено им погибнуть. А пастыря заставить надобно — хоть бы под страхом кары — заботливей пасти стадо свое. Если же не внемлет слову направляющему, и ему гибель суждена... Как скажешь, внятна ли притча моя?

— Притча-то внятна, брат Якоб, только вот что считать паршой и заразой?

Балаж чувствовал: теперь уже не место уверткам и даже отложить борьбу нельзя.

— Что считать паршой и заразой? — повторил он вопрос. — И я мог бы рассказать притчу о парше и заразе, но искал бы примеры не в стаде Балинта.

— Рассказывай, брат Балаж! Для того я и пришел к тебе, чтобы выслушать. Сначала ведь пастыря спрашивают, может ли он отчет дать об овцах своих...

«Ну, уж это ты и впрямь ради притчи сказал, — подумал про себя Балаж. — Ты-то всех моих недругов загодя повыспросил. В твоей голове наветов на меня больше, чем волосков на выбритой макушке». Однако вслух ответил много смиреннее:

— Может, спрашивать станешь, отец Якоб?

— Нет, брат мой, сначала расскажи мне притчу о парше и заразе.

— Притча моя о том, что зараза и парша завелись во всем великом стаде христианском. Но занесли ее как раз те, кто больше всех в грудь себя бьет да кричит о своей непогрешимости. Церковь к гибели идет, ибо слуги ее греху предались, извратив заповеди господа. Чтобы собственному благополучию способствовать. Что скажешь ты о таких пастырях, кои стадо свое не туда

пасти гонят, куда бог наказывал, а туда, где земные радости да похотливый блуд находят?

— Брат Балаж, — отозвался Якоб, заговорив на сей раз прямо, не прибегая к уклончивому языку притч. — Не знаю, ведомо ли тебе, что тому назад два года я уже был в этих краях, но в ту пору печский епископ, господин Михал Сечи, повелел приспешникам своим изгнать меня, и только по приказу его святейшества папы Евгения Четвертого и короля Альбрехта я вернулся обратно.

— По слухам лишь знаю.

— Тогда, может, и про то слухи до тебя дошли, за что я был изгнан. И слова, и проповеди, и деяния мои направлены были против священнослужителей, согрешивших против веры. Ты, брат Балаж, в ту пору еще в Праге жил, не видал великого множества богомерзостей. Находились здесь священники, что за деньги покупали себе приходы одной лишь корысти ради, в мирской одежде ходили, жизнь проводили в развлечениях, танцах да охоте, публично с дурными женщинами сходились, и даже ростовщики да скупщики краденого среди них встречались. Я, как находил такого, тотчас изгонял и словом и даже бичом...

— А все еще много богомерзостей вокруг нас творится в делах веры...

— Утверждать не стану, будто нет того. А рассказал тебе это, чтобы понял ты: никогда я глаз не закрывал на грехи да разврат. Истреблял усердно паршу и заразу, о коих ты говорил. И впредь истреблять буду, ежели господь дарует мне силу и талант к вере моей, ибо сильно приумножились грехи в нас на погибель и посрамление веры христианской...

Пока он говорил, речь его все накалялась, в глазах разгорался фанатичный огонь, весь он как-то изменился, на глазах Балажа усталый кроткий монах превратился в непреклонного судью и инквизитора. Теперь Балаж уже узнавал в нем грозного Якоба...

— Да ведь ты виклифит, отец Якоб! Или гусит, — сказал он и принужденно засмеялся.

Якоб не смеялся. Он не понял или не захотел понять шутки и серьезно ответил:

— Я не виклифит и не гусит. Не еретик я, а инквизитор по отчей воле его святейшества папы и на благо господа нашего...

— Но ведь гуситы выступают против священнослужителей, заблудших в разврате и погоне за земными благами, и они хотят веры исправления...

— Гибели церкви они хотят. Хуже они, вреднее, нежели священники, дурную жизнь ведущие, ибо те лишь в собственной своей жизни скверны, эти же еретические учения провозглашают. Дурные семена сеют. А как воспрепятствовать сорной траве размножению, ежели не бросать в огонь и зародыши, и ростки ее, где только ни повстречаешь... Поразмысли-ка, брат Балаж! Дела и учения веры не могут стать ложными от того, что слуги веры ложно живут. Но они станут ложными, если кто-то попытается исказить учение и посягнет на догмы. Как это и делают еретики. А как же они это делают? Вместо того чтобы нелепые мысли свои осуждению ученых умов подвергнуть, они совращают ими невежественный люд.

— Отец Якоб, предмет веры, дела ее безначальны и предвечны. О том, истинны они или нет, не может судить никакой земной ученый ум, а только сам господь бог... Что в заповедях господя записано, то и есть истина, а чего там нет, то и ложь, на гибель обреченная. Только слово господя судить может, а оно есть Священное писание.

— Дела веры, брат Балаж? Дела веры действительно безначальны и предвечны, — но не люди. Разум человека, его сознание изменчивы, и потому в разное время иные слова говорить надобно, чтобы человек одну и ту же сущность понять мог. Истинность слов тем определяется, что понимают внимающие им и что вершат, осознав их. А что совершают люди, зараженные ересью гуситской? Цветущий сад единой истинной церкви опустошают, повиноваться отказываются, против господ своих восстают: поджигают, убивают, грабят скот их, отнимают и присваивают чужое добро. Хотят, чтобы запылал мир огромным кровавым пламенем, церковь и страну сокрушить хотят. И как раз ныне, когда язычники-турки к нашествию готовятся. Ты ведь слышал, что случилось в Эрдейском воеводстве? Слышал о бунте Антала Надя? А они повсеместно к этому стремятся.

У Балажа закружилась голова от слов Якоба, — казалось, то заговорила одна половина его мятущейся в сомнениях души; но вспомнил тут Балаж крепостную старуху, море нужды, увиденной им здесь, припомнил

все, что накопилось в другой половине души его за последние годы, и заговорил об этом.

— Отец Якоб! Крепостные и прочий бедный люд сиры и убоги. Все живут за их счет, все у них берут, что само по себе не грех, — но ведь сверх меры берут, ничего им почти не оставляя! И нет беднякам мира и покоя, покуда остается у них хоть корзина пшеницы да пара голов скота! Поразишься ли ты, ежели взбунтуются они и разорят страну? Церкви следует о том позаботиться, дабы не вынуждать их к этому!

— Не думай, брат Балаж, что мое сердце из камня. Известно мне о нужде их, и я сожалею о них, печалюсь, однако ересью помочь им нельзя. Церковь для меня — прежде всего; кто бунтует против нее, против меня восстает. И против того я восстану. Ошибки есть, но нельзя же из-за них все уничтожать. Нельзя же из-за жучка-древоточца сжечь целый дом, — уж лучше предать пламени окаянных поджигателей... Однако времени в разговорах прошло много! Пора и на покой. Завтра отчитываешься о стаде своем.

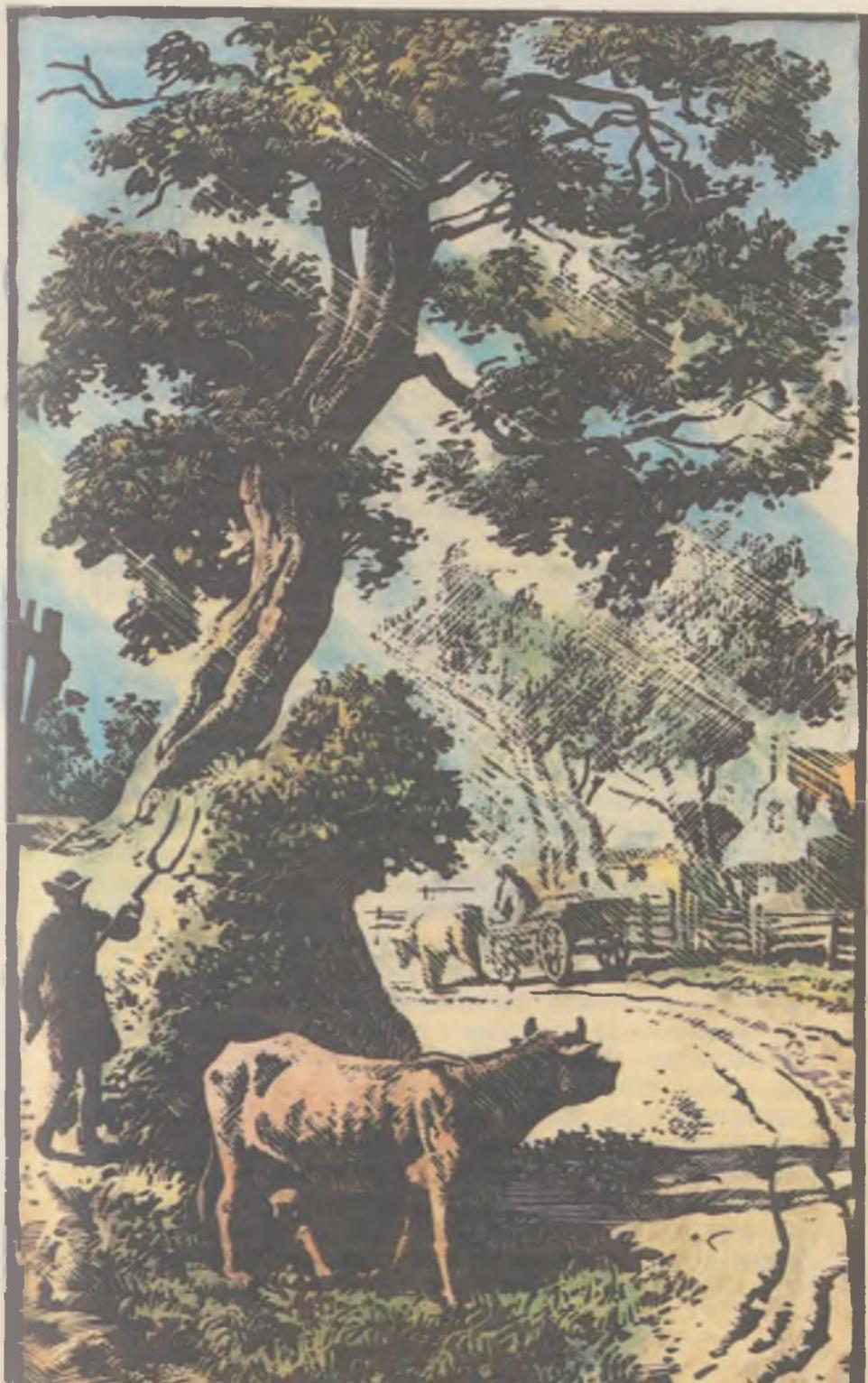
Они приготовили себе ложа и легли, погасив свет. Но ни темнота, ни тишина не помогли Балажу уснуть. Столько всего случилось с ним за прошедший день, что он сам не мог дать себе отчета в пережитом. Хотя бы этот разговор с Якобом из Маркии... Испепеляющий, не ведающий сомнения фанатизм монаха произвел на него такое впечатление, что он попросту отдался потоку слов. Что же, собственно говоря, произошло? Допрос это был либо обращение заблудшего? Ибо, хотя о делах, касающихся Балажа, и звука не было обронено, он чувствовал, что каждое слово монаха, каждая фраза обращены к нему... Убедил ли его Якоб из Маркии? Нет, этого нельзя сказать, ведь учения магистра Гуса укоренились в нем слишком глубоко, чтобы их можно было вышибить одной-единственной беседой, но... но и сам себя он не убедил... Не о том он думал, не того хотел... А чего же? Желал бороться без борьбы? А вот священник Якоб действует, не колеблясь, ради утверждения своей истины... Балинт?.. «Сокрушим их!» — слышал он сдавленное дыханье портного Ференца. «Завтра дашь мне отчет о своем стаде!..» И Балинту он, наверно, так говорил; теперь Балинт сидит в сельской управе под арестом. Завтра... «Сокрушим их!..», «Веди нас на них, отец

Балаж!..», «Из-за жуков древоточцев нельзя...», «Лучше предать пламени окаянных поджигателей!..»

Уже кукарекали в ожидании рассвета петухи, когда Балаж, вконец истерзавшись, забылся сном.

Когда наутро село проснулось, занимался прохладный, но ясный осенний день — в такой денек хорошо работается. За ночь ветер прогнал дождевые тучи. Жизнь в домиках с наклоненными крышами и нынче началась как обычно. Во дворах визжал и блеял голодный скот, слышалась ругань обихаживающих его людей. А вскоре на поля и луга потянулись телеги, чтобы привезти домой все, что там еще оставалось. Покачивая головами, медленно брели волы, запряженные в телеги, на которых сонные крестьяне на все корки честили ленивый скот. Они орали, тыкали животным вилы в зад, чтобы заставить их двигаться побыстрее. Разумеется, все это — и проклятья и понукания — было тщетно и бесполезно, но ведь так поступали их отцы, чего ради им теперь не делать того же?

Тем, кто оставался в селе, дел тоже хватало. Лениво и медленно, как и вообще все здесь, приближалась зима, и к ее приходу надо было подготовиться. Исправляли, обмазывали ямы для зерна, а кое-кто уже укрывал их. Мартон на своем дворе затеял выкопать новую яму. Не то что старая не годилась. Этому никто и не поверил бы. Мартон ямы копать мастер, у него никогда еще зерно не подгнивало. Вот то-то и оно! Он нынче такую яму ладил, где зерно хранилось бы, покуда не заплесневеет. Конечно, хлеб, выпеченный из заплесневелого зерна, не особо лакомое кушанье, но и его съедят, если до той поры сохранить сумеют. Пока же большую часть зерна ежегодно уносили солдаты, которые рыскали повсюду в поисках добра, принадлежащего чужим, не их господам. Первым делом они опустошают ямы да угоняют одну-двух коров. Лучше бы, конечно, и скот куда-нибудь под землю прятать. Мартон давно ломал голову, придумывал, как бы тайный закут смастерить, однако даже ему это не удавалось. Зато яму потайную он сделает. Конечно, и старую оставит, и всегда в ней немного зерна держать будет, все равно ведь не поверят, что всюду у него пусто, до тех пор драть будут, покуда сам не отдаст. Но большую часть зерна он непременно



спасет. Важно только, чтобы никто не узнал об этом, в людях зависти много; предадут — собственный убыток меньше покажется. Ни в коем случае не желал он, чтобы с ним получилось, как прошлой весной с зятем его, сутерским Михалом Кишем. Тот, как прошли зимние холода и не надо было больше в снях топить, услышав, что идут солдаты, вздернул на веревках два мешка пшеницы в трубу и привязал их там к балке. И тут же всем встречным-поперечным стал хвастаться хитрой уловкой. А когда на самом деле солдаты пришли, выгребли они зерно, что в яме оставалось, а потом напрямик в сени направились и в трубу заглянули.

— А там что висит? — спросили они у растерявшегося Михала. — Не сыновей ли своих коптишь подвесил?

Приказали ему, не медля, лезть в дымоход и достать мешки. Даже лестницу взять не позволили, так и пришлось карабкаться, а чтобы старания его удвоить, они снизу копьями в зад его подкалывали. Бедняга Михал давно отвык по деревьям лазить, а уж на стены-то и вовсе никогда взбираться не доводилось, но теперь ни пощады, ни милости ожидать было нечего. Цепляясь зубами и ногтями, потел бедняга, но лез, а самого то в жар, то в холод кидало: ну, как соскользнет на подставленные снизу копы — похуже придется, чем на кол угодить! А солдаты знай себе веселились, на его старания глядя.

Покуда Михал отвязывал мешки, был он ни жив ни мертв, к тому же так вывозился в саже, что его и не узнать было. Все село потешалось над ним, и с той поры стали его Кишем-трубочистом звать. Мартон не желал, чтобы его постигла судьба Киша, потому принялся сооружать яму в величайшей тайне. Двое сыновей его на барщину пошли, другие два сына рано поутру луг перепахать отправились. Только он остался дома да жена, — оно и хорошо, сыновья ведь что: молодо-зелено.

Замыслил Мартон яму у самой стены заложить, углубить ее под дом, а потом сверху прикрыть сорняками либо копну соломы бросить. Но только приготовился он копать, как вдруг гостья явилась. Пришла соседка Бутькош, не к нему, к жене, — соли взаимы попросить, у них, мол, вся вышла; и как начала языком чесать, так, казалось, до вечера и не остановится. Мартон не желал приступать к работе, покуда в доме Бутькош; ведь она, словно в зад ей горящий трут вставлен, ни минуты на

месте не посидит, во все дырки нос свой сует — все-то ей любопытно. А что, как взбредет ей в голову во двор заглянуть: чем это, мол, сосед занимается? Мартон решил подождать, покуда она уйдет, а прождав напрасно некоторое время, пошел к жене в сени.

— Гуси-то оголодали. Покормила бы! — сказал он жене, надеясь, что Бутькош спохватится и уйдет. Но та только обрадовалась, что так рано поутру Мартона увидела да к тому же в добром здравии, и принялась выкладывать ему самые свежие новости.

— У Пэтьке новорожденного собираются колдуном сделать, — таинственно сообщила она. — Под стол трижды его не клали. И первым делом кровью черного петуха напоили... Невестка моя слыхала от бабки-повитухи...

Однако Мартон не выказал никакого интереса к этой теме, и она тотчас перевела разговор на другое:

— А поп Якоб и впрямь с сатаной якшается. Всю ночь под окном приходского дома блуждающий огонек плясал... привидение, значит... Сельский караульщик сказывал. Оно и его-то самого прогнало, а потом как заорет: «Ты, дескать, близко не подходи, не то враз под землю угодишь...»

Поп Якоб? О нем Мартон охотно послушал бы, но не теперь, когда затеял яму копать. Яма-то сейчас поважней даже Якоба. Кто знает, что тут будет? А ну как вслед за попом солдаты придут и хитрость с ямой так и останется только у него в голове... Мартон пробурчал, что поп да дьявол всегда друг от дружки поблизости держатся, но продолжать беседу с соседкой не захотел. И так как жена его, занявшись птицей, не возвращалась, гостя скоро ушла.

— Покарауль-ка, — сказал Мартон жене. — Чтобы не забрел к нам всяк, кому не лень. Поработать спокойно не дадут человеку!

— А я на Саву было собралась с постирушкой.

— Успеется! Мое дело сейчас поважнее.

Он принялся рыть яму, но мысли его бродили вокруг попа Якоба... Впервые ему подумалось, что якшанье попа с дьяволом и его, Мартона, близко касается; вряд ли Якоб приехал сюда в тиши посиживать да отдыхать. Небось соберет гуситов и начнет их обращать — где словом добрым, а где и поджариванием на костре. Может, он магистра Балажа схватил уже да

вместе с булкенским священником посадил... И как это они вчера на полдороге дело бросили?!

Он хотел к кому-нибудь пойти, перебраться хоть словом, но яма волновала его сейчас больше, чем самый ад; он собирался уж разбирать основание стены, однако едва взялся за дело, как снова услышал чужой голос: кто-то здоровался с женой и спрашивал о нем. Неужто никогда ему покоя не дадут?! Обозлился Мартон, бросил заступ наземь и зашагал к калитке, готовый выместить злость на незваном госте. Но злые слова так и застряли у него в горле, когда он узнал докучливого посетителя. Это был староста, Мате Канди...

— Каким же добрым делом ты занят, а, Мартон? — спросил Канди в ответ на приветствие. Он стоял перед домом, за спиной его топтался посыльный сельской управы, но, как ни приглашала их жена Мартона, в дом они не зашли.

— Мы ведь не в гости сейчас, по делам службы к вам наведались.

— Говори, староста Мате! — сказал Мартон, но радости в его голосе не чувствовалось. — Коли в силах, сделаем. Может, опять налог повысили?

Про себя он подумал, что старосту непременно подослал к нему сатанинский поп Якоб. Но чего тому попу от него надобно?

— Тут о духовном налоге речь. Отец Якоб, инквизитор, к нам прибыл и приказал всем с вечерним благовестом в церковь явиться. Говорить желает с народом...

Все это староста изложил строго, как старосте и подобает, а потом заговорил тише и доверительней:

— Ведать не ведаю, чего он замыслил, да только что-то недоброе, это уж точно. Ты как думаешь, Мартон?

— Никак я не думаю, староста Мате. Вот пойдем, как заблаговестят, и услышим, чего он хочет.

— От меня поп Якоб ничего не выведает, вот тебе мое слово.

Но Мартон хранил холодное, почти враждебное молчание, поэтому староста вновь принял официальный вид.

— Ну, тебя я известил! — И он вместе с посыльным отправился дальше.

«Предатель с телячьей рожей!» — пробормотал про себя Мартон и тотчас придрался к жене:

— Чего ж не выпытала у него, какая такая глиста у девки его завелась?

— Ваша милость всегда больно храбрые. Чего ж меня-то науськиваете?

— Но-но, попридержи язык, Жужка, слышишь! Не то проучу!

Злоба так и разбухала в нем, словно каша в кипящей воде. Ему хотелось бить, крушить все кругом, что под руку попадет. Черт бы побрал этого старосту, черт бы побрал все на свете! Может, он думает, что Мартон и в самом деле в церковь пойдет? Разве что придут за ним, да и дешево он им не дастся. Говорят, и в Бутине поп Якоб вот так созвал верующих в церковь, бранил их на чем свет стоит, а потом по навету какого-то предателя отобрал и взял под стражу всех гуситов. И священник Балаж знает про это, а все же...

У Мартона совсем пропало желание копать яму, и он очень неохотно взялся вновь за дело. Но сегодня ему определенно не везло: едва он несколько раз ударил заступом, как на улице послышались крики. Можно было подумать, что бык сорвался с пастбища и теперь его преследуют жители деревни. Выглянув из-за дома, Мартон увидел, как с верхнего конца деревни бежали во весь дух староста Мате и посыльный, а за ними гнался портной Ференц, размахивая своей дворянской саблей, и орал, будто бешеный. Но преследователь был не один — за ним спешили и мужики, целый отряд с дубинками и цепями.

— Бей предателей!

— Мы тебе покажем попа Якоба!

— По башке его!

Люди, крича и улюлюкая, быстро приближались, готовые вот-вот исполнить то, что сулили. Но староста, словно в его толстое брюхо внезапно вселился крылатый конь, так нагнал, что даже портной Ференц, как ни тянул вперед длинные руки, полосовал своей саблей только воздух... Выставив живот, откинув назад голову, Мате не бежал, а летел, даже жезл свой отбросил прочь, чтобы легче было улепетывать. Мартон не мог удержаться от смеха, такие гнусные рожи тот корчил.

Он приготовился было крикнуть ему: «Куда так спешите, староста Мате?» — но веселая фраза застряла на языке, когда взгляд его упал на лицо портного Ференца. Оно пылало таким диким гневом, что у Мартона

закружилась голова; а портной еще и орал на бегу, и голос его был страшнее рева быка.

— В ад его, приспешника сатаны! — вопил Ференц, не унимаясь, взбудоражив уже все село.

У Мартона разом пропало все недоверие, которое он испытывал прежде к портному, он бросился к начатой яме, схватил заступ и секунду спустя уже кричал и рвался вперед вместе со всеми. А староста бежал во всю прыть, из последних сил, так что даже косица на голове у него распустилась. Шапка давно была кем-то сбита.

Утром Якоб из Маркии сказал священнику Балажу: — Я знаю, что в Праге вы были вместе со священником Балинтом.

— Да.

— Вероятно, ты желаешь с ним встретиться. Поди к нему, брат Балаж.

И Балаж пошел, даже не стал раздумывать, какую цель преследует священник Якоб, давая это разрешение.

Когда он вошел в дверь тюрьмы, Балинт стоял к нему спиной и смотрел в узкое зарешеченное окно. Он повернулся, лишь когда Балаж окликнул его:

— Балинт!

Они тепло обнялись и облобызались. Некоторое время оба не могли вымолвить ни слова и только взглядом ласкали друг друга. Балинт вовсе не казался измученным: он был спокоен, почти весел. Даже как будто моложе стал, чем два года назад, когда они в последний раз виделись. Он раньше Балажа справился с волнением, вызванным встречей.

— И тебя схватил сатана этот Якоб? — спросил он. — Думал ли ты, что мы так встретимся?

Балаж был в замешательстве. Как объяснить свой приход?

— Еще не схватил, — сказал он и, на недоуменный взгляд Балинта, добавил, смущенно засмеявшись: — Верно, затем и послал меня сюда, чтобы я заранее приглядел себе местечко...

— Уж не обращать ли меня ты явился, Балаж? — очень серьезно спросил Балинт. — Если так, то и не пытайся...

— Нет, Балинт, не обращать тебя пришел я. Повидать хотел.

Воцарилась гнетущая тишина: ни тот, ни другой не находили слов. Наконец Балаж все-таки заговорил. Он подробно рассказал, что произошло между ним и Якобом из Маркии.

— Так и со мной началось, — сказал Балинт.

— А чем же кончится?

Балинт медленно пожал плечами и тихо, смиренно ответил:

— Нельзя избежать того, что господу богу угодно... — Но вдруг схватил Балажа за руку, склонился к нему и жарко задышал в лицо: — Беги отсюда, Балаж, спасайся от сатаны, беги, куда можно!

— Ты не убежал, Балинт. Не смог?

— Я считал, так лучше. Думал, жертву принеся, послужу тем истинной вере. Но теперь в голове у меня просветлело, и я знаю: неправильно это. Какая судьба постигла бы христианскую веру, если бы все апостолы, вслед за Христом, на крест бы взошли? Отец наш и учитель Ян Гус жертвой был во имя веры нашей, испытанием ее истинности. Ныне долг живых — всем передавать веру, перед жертвенными испытаниями стоящую. Беги, Балаж, великая нужда ныне в апостолах! Что будет, если всю закваску в костер бросят и пепел по ветру развеют? Как взойдет хлеб господень? Беги, Балаж, если можно!

— Нельзя, Балинт...

— Почему нельзя? Или за каждым шагом твоим следят попы да их приспешники? Сделай вид, будто заблудший барашек воротился в их загон, а как оставят двери открытыми, исчезни с глаз их. Для этого не обязательно пастись на их полях, вкушать их травы — довольно будет просто для виду челюстями двигать!

— Нельзя, Балинт! Куда мне бежать да и что делать там, куда сбегу?

— То, чем в Праге поклялся и что здесь делал. Возвеличивать веру истинную. Бороться за победу ее против лжи.

— Не могу я, Балинт. В себе самом победу не одержал еще.

И, увидев, как смотрит на него Балинт, потрясенный и павший духом, Балаж стал объяснять:

— Не думай, что изменился я с той поры, как мы с тобой не виделись. И в чем поклялся, не променяю ни на какую ложь. Многих людей я на путь истины наста-

вил и всегда поступал согласно писаниям магистра Яна. Я-то не переменялся, брат Балинт, а вот жизнь иной оказалась, не такой, как я себе представлял. И я не могу это перенести. Если бросаешь ты в землю пшеницу и вырастет из нее пшеница — все хорошо. Этого ведь и ждешь. И когда плевелы в землю бросаешь и из них плевелы вырастают — тоже ладно. Этого ждешь. Но что делать тому, кто думал, будто семена целебной травы сеет, а из них ядовитая красавка выросла?

— Балаж! — пораженный Балинт с тревогой потряс его за руку, словно желая разбудить от дурного сна. — Брат Балаж! Какая горечь вызывает в тебе богохульные эти речи? Или худое с тобой приключилось?

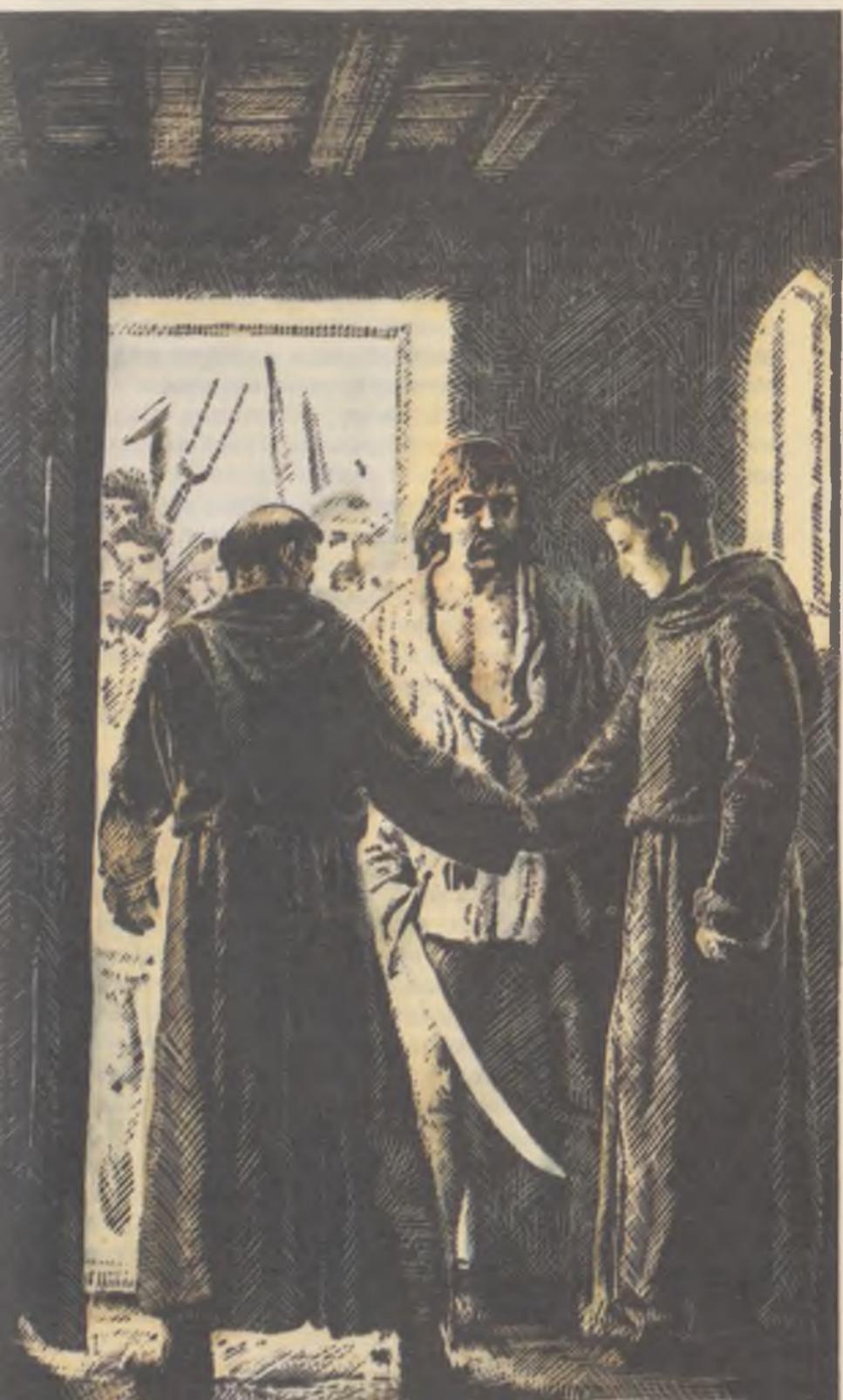
— Худое? Вижу я только, что хотел сеять веру, а пожать придется ненависть, — начал Балаж свою исповедь и, как прежде в Праге, в монастырской келье, так и сейчас здесь, в тюрьме, выложил все сомнения свои, которые разъедали его душу и с которыми он не мог совладать. Но какими иными, насколько более тяжкими были теперь его сомнения! В Праге он боролся лишь со словами, понятиями, и в конце концов они поддавались ему, принимали форму его мятущейся души, — здесь же явления реальной жизни, а значит, и самый мир оказывались вдруг ему чуждыми, уходили от него другими путями.

Балинт слушал эту мучительную исповедь, потом взял Балажа за подбородок, приподнял голову, словно перед ним был застыдившийся мальчуган, и заглянул другу в лицо. На его полных молодых губах играла странная улыбка. Не обидная, но немного озорная.

— С буквами-то легче было поладить, а? Там бы тебе и остаться среди них навсегда. Забрался бы в башню из книг, как медведь в берлогу. — Но тут же он вновь заговорил серьезно: — Не будь рабом красивых мечтаний, Балаж! Вера благодаря людям жива, ради людей она... Что люди в ней чувствуют, то и есть истина. Народ наш сырый да бедный, как церковная мышь, не презирай же его за то, что он полных закромов жаждет.

— Но об ином-то он и не помышляет! Спасение души в грош не ставит...

— Это для них не первая забота, Балаж, а лишь вторая. Не терзайся этим! Не та вера истинная, что непрестанно изнутри подтачивает человека, вроде сухотки, а та, что к деяниям побуждает. Наша вера — поводырь,



дорогу к истине указывающий. Действовать стремись, брат, действовать и, ежели паства твоя этого хочет, не обуздывай ее. Не сдерживай. Мало господу молитвы возносить, чтобы корни сорнякам оборвал, надобно и самим истреблять злое семя. Эх, Балаж, мне бы свободу сейчас! Никогда бы никаким приспешникам сатаны не схватить меня больше!

Теперь это не был тот спокойный и уверенный в себе человек, какой встретил в тюрьме своей Балажа: Балинт говорил жарко; словно в бреду, метался взад-вперед в узкой темнице. Но вдруг поник весь, будто от удара в спину, и бурно зарыдал. Балаж с содроганием глядел на него. Он не знал, что делать — и с ним и с собой.

— Может, еще все к добру обернется, Балинт, — неуклюже принял он утешать. — Пути господни неисповедимы...

Балинт неожиданно перестал плакать, поднял голову и поглядел на него как безумный.

— О чем ты? Не жизнь свою я оплакиваю, а свободу, необходимую для мести. Мести, мести подлецам! Не молитвы! И ты тут не оставайся, иди, круши этот мир, ибо он скверна, скверна, до самого дна своего скверна и убожество... Зови бедняков, подымай их! Против всякой скверны и убожества веди! Не только оружие веры вкладывай в руки их, ибо этого недостаточно...

Вдруг он прервал словесное разрушение мира и с подрагивающими ноздрями, словно конь, остановленный на скаку, прислушался.

Снаружи слышались крики и шум, которые с каждой секундой приближались. И не успели оба сообразить, что произошло, как дверь темницы распахнулась и в нее ворвался портной Ференц; тяжело дыша, с налитыми кровью глазами, с саблей в руке, он остановился на пороге, за его спиной теснились люди.

— Мы их прогнали! — проревел портной. — Прогнали приспешников дьявола! Но торопитесь, святые отцы, сейчас их много вернется! Дорога на Петервар свободна!

Балинт недолго размышлял о случившемся и о грядущем, он схватил Балажа за руку и потянул к выходу. Но Балаж уперся и не пошел за ним.

— Идем, безумный ты поп! — гневно закричал на него Балинт. — Хочешь, чтобы вместо меня тебя на костер повели? Брось сомненья, будет еще время о них

поразмислить, но не теперь, когда тебя вот-вот схватят...

— Не могу я идти, куда сам с собой не пришел к согласию.

— Да ты помешался на буквах! Это уж не вера, а трусость!

— Солдаты Якоба идут! — закричал кто-то снаружи, и все, вместе с Балинтом, пустились бежать, оставив Балажа в темнице.

Словно измученный недугом, он вышел на улицу. В этот миг мимо пронеслись воины священника Якоба, но даже не обратили на него внимания, — с поднятыми копьями они мчались вслед за убегавшей толпой. Несколько беглецов остановились и повернули им навстречу.

— О господи, творец всего сущего... — инстинктивно начал молиться Балаж, но тут в ушах у него зазвучали слова Балинта: «Мало молитвы обращать к господину...» — и он умолк.

Что ж теперь делать? Куда идти? Все обрушилось на него так неожиданно, что он совершенно потерялся. Вернуться к священнику Якобу? Отчитаться перед ним о пастве своей? Нет, после того что произошло, это невысказано! — пробудился в нем вдруг жизненный инстинкт. А пастве, ей-то какая в нем нужда? Вон они там сцепились в смертном бою — его приверженцы и воины Якоба; из-за клубов пыли он ничего не мог разглядеть, только слышал крики. Балаж повернулся и пошел в противоположную сторону. И сам не знал, от кого спасается — то ли от священника Якоба, то ли от себя самого...

Вот уж неделю жил Балаж на другом берегу Дуная, в Баче, у тамошнего приходского священника, и жадно прислушивался к вестям из дому. А вести были таковы: Якоб беспощадно расправился с участниками освобождения священника Балинта. Многих послал на костер, иных побросал в темницу. А портного Ференца, которого ни казнить, ни арестовать не мог, так как тот был дворянином, лишил всего имущества и выслал из села.

Слушал Балаж все это и чувствовал, что назад пути ему нет... Но куда же податься?

Однажды утром в приходе неожиданно появился священник Якоб. Увидев Балажа, он ничуть не удивил-

ся, а улыбнулся ему так же дружески, как в тот вечер, когда они встретились впервые.

— Вот я, отец Якоб, — сказал ему Балаж. — Нашел ты меня, сажай! Я бежать не стану!

— Да ведь ты не от меня бежал, брат Балаж, а от себя самого...

Больше они ни слова не сказали об этом, и лишь много позднее Балаж спросил:

— А Балинт?

Якоб из Маркии нахмурил брови и, помрачнев, ответил:

— Сбежал в Молдавию. Там ныне для всех паршивых овец привольное пастбище...

На другой день, собравшись в путь, он сказал Балажу:

— Ты поедешь со мной, ибо вижу: червь еще точит тебя. Но кто задумывается и спастись хочет, тот в конце концов возвращается к истине. Здесь тебе нельзя оставаться — прихода ты не получишь; отвезу тебя служить к человеку, у коего хватило сил вырвать из души гуситскую колючку. К сереньскому бану поедем, к Яношу Хуняди...

6

Обрывистые, поросшие диким кустарником берега двух углом сошедшихся рек — Тисы и Дуная, а с севера и востока — кочковатое болото, скрытое камышами, отделяют равнину, где король Альбрехт и прочие вельможи с самого июня решали дела страны. Таков был Тителрев — место Государственного собрания 1439 года.

— Благородные господа! — сказал король в самом начале совета. — Взгляните на две эти реки, что сливаются здесь и с удвоенной быстротой несут воды свои к югу. Так и нам должно объединить все свои силы и двинуть их в том же направлении, ибо именно там враг страны нашей — язычники, что турками называются.

Господа были весьма неравнодушны к красотам реки, особенно же к сравнениям, придумывать сравнения было и для них наименее приятнейшим занятием; с чистым сердцем провозгласили они здравицу королю, прокричали «виват», постучали рукоятками сабель по столам с изогнутыми ножками. Однако на большее их воодуше-

вления не хватило. А те силы, что предложено было объединить, стояли лагерем, разбросанные по тительревской равнине, и войско каждого вельможи было строго отделено от других, чтобы не слились даже случайно... Нет, не похвальное стремление спасти родину заставило их привести сюда своих дорогостоящих воинов, — каждый вельможа хотел лишь как можно громче поведать Собранию о том, что тревожит его сердце, сжимает грудь. Но каждый знал: если за тобой не стоит сила, кричи здесь хоть во всю глотку — все будет напрасно; зато как веско и гулко прозвучит даже стон паралитика и шепот немощного, если слова его подхвачены, повторены тысячами воинов, и чем больше тысяч, тем лучше.

Посреди равнины стоял шатер короля, он был наряднее прочих, но лишь очень немного рыцарей разбило вокруг него свои биваки. В глубине долины, при слиянии двух рек, стал лагерем ишпан Гараи с войском, подле него расположился Цилли, рядом Уйлаки и так дальше, по порядку. А на востоке меж болотом и трясинной, по обе стороны узкой ленты земли, ведущей в равнину, будто охраняя ворота в нее, расположились воины сереньских банов, обоих Хуняди — Яноша и Янку. Бежали месяцы, пролетело лето, наступила осень, на кольях шатров мелкими, тонкими нитями вилась сентябрьская серебряная паутина, но господа так ни к какому решению и не пришли. А ведь нельзя сказать, что они коротали время в бессмысленных забавах. Вечерами, когда заходили они друг к другу в шатры общие дела обсудить, случались и пирушки, однако днем все подолгу и усердно совещались о делах страны. Вот только договориться никак не могли. Турок, правда, все бранили одинаково, в том, что пора проучить неверных, разногласий тоже не было, но вот кому надлежит это сделать, договориться не могли... Объединить войска под водительством короля? Все соглашались: «Благое дело», — но прежде хотели узнать, что получит каждый за свою службу стране. Ведь страна принадлежит королю, его долг защищать ее, а хочет помощи — пусть платит. И король уже был согласен платить, — конечно, сколько мог, — но теперь вельможи не могли договориться между собой. Один лишь Янош не принимал участия в грызне, изо всех сил добываясь мира и единства. Однако прочие вельможи говорили прямо: ему легко быть бес-

корыстным, о его ведь шкуре речь идет — турки-то прежде всего его владенья захватят...

Так они ссорились и со дня на день откладывали решение. Поначалу ссылались на то, что надо дождаться вестей от сербского деспота Георгия Бранковича о поведении турок, а куда решили заняться рассмотрением дворянских тяжб, что Государственному собранию представлены. Так и сделали. Целыми днями спорили о приключившихся меж дворянами драках, об угоне скота, обложении податями, а по вечерам собирались в шатрах — кто с кем приятельствовал — и составляли лиги против других вельмож. Когда же наконец прибыл посланец деспота с известием, что возле Триполья турки разбили его войско, вельможами овладели ужас и смятение. Снова принялись они обсуждать, как воевать с турками, и все закрутилось сначала...

В шатре, где держали совет, первым и на этот раз говорил король. Рассказал о полученном от деспота известии и его просьбе о помощи, со своей же стороны добавил лишь несколько слов:

— Благородные господа! Вы слышали весть об опасности, посоветуйтесь, что надлежит нам предпринять. Но, советуясь, помните: откладывать действия надолго уже нельзя, ибо зима не за горами... А ведь как знать, что-то ждет нас весной...

Король говорил тихо, чуть ли не меланхолично, будто потерял уже всякую уверенность, и вообще держался не по-королевски. Он больше походил на обобранного дочиста должника, который в последний раз пытается смягчить сердца кредиторов, скорее лишь для очистки совести: все, мол, испробовал...

Первым пожелал высказаться граф Ульрих. Как всегда, он гладко и ловко, словно жемчуг, нанизывал слова, выделяя и подчеркивая главные, хитро пряча меж ними и хвалу и хулу: — Великий государь! Благородные господа! Известие, полученное от деспота Бранковича, опечалило, по-видимому, всех нас, меня же в особенности, ибо я родичем ему довожусь. Но печаль сердца да не окажется сильнее суждений разума! Что же говорит разум, если мы к нему обратимся? Разум говорит, что малая армия не может победить большую, даже если во главе ее стоят столь славные военачальники, как его величество король и вы, благородные господа. Когда мы начали обсуждать здесь нашествие турок, то принимали

еще в расчет и войско деспота Бранковича. Однако из послания видно, что войска этого более нет: нас стало меньше. А к тому же у всех нас, здесь ныне собравшихся, куда как скудно с продовольствием для солдат. Урожай был плохой, погубила его засуха. Вот и нас может сгубить голод. Я скажу так: разойдемся по домам, соберем к весне войско, а до той поры пусть господа баны, чьи владенья в южных краях расположены, сдерживают со своими воинами турок... Звание бана не только титул, оно для того и дано...

Все поглядели в конец стола, где сидел бан Янош с младшим братом своим и Михаем Силади. Хуняди давно надоела вся эта болтовня, вечные уколы — чужими руками, мол, защитить свои поместья хочет! — и он решил еще до начала совета ничего здесь не говорить. Ему вообще трудно давались речи, и, не умея выразиться изысканно, он всякий раз чувствовал себя среди вельмож неловким и беспомощным. Да ему и мало-мальски приличного сравнения не придумать! Однажды, правда, в Пожони, когда справляли свадьбу Альбрехта с Елизаветой, он сделал такую попытку. Хотел сказать даме своей, с которою танцевал, что-нибудь красивое о весне, о жизни, но запутался в словах так, что не смог уже выпутаться. Всякий раз, вспомнив позор свой, он чувствовал, как кровь бросается ему в лицо, — одного этого было достаточно, чтобы внушить бану окончательное отвращение к витийству. Но теперь, услышав вызов, Хуняди сразу забыл обо всем. Он вскочил и, побагровев, закричал Цилли:

— Так знай же, господин граф, сереньский бан и сам сумеет защитить свои крепости и села, да не только от турок, но и от прочих нехристей!

Граф Ульрих слегка побледнел, но самообладания не потерял и с вежливой улыбкой ответил насмешливо:

— Господину сереньскому бану повсюду уже мерещатся язычники да разбойники.

Коварная тихая издевка еще более обозлила Хуняди, и, совсем выйдя из себя, он заорал:

— Не повсюду, но там, где есть они! Их же и в нашей страны пределах хватает!

Ссора сразу всколыхнула благородных господ — вокруг стола шумели, кричали, размахивали руками, — лишь король испуганно стонал и взывал ко всем с мольбою в голосе:

— По-мирному, по-мирному, благородные господа, по-мирному, по-мирному!..

Вельможи явно были настроены против бана; Янку и Михай Силади, опасаясь, как бы во гневе он не учинил чего-нибудь себе же во вред, схватили Хуняди за руки и поспешили вывести из шатра.

Но бан Янош и тут не успокоился, а продолжал браниться еще яростнее:

— Немецкая свинья, вечно меня дразнит, — ужо выпущу я ему кишки из толстого его брюха! Долго он терпенье мое испытывает. Знаю, что он задумал. Хочет, подлец, чтоб турки меня погубили!

Янку и Михай не мешали его гневным излияниям. Они знали за Хуняди эти неожиданные бурные вспышки гнева и в такие моменты обращались с ним, как с опасным пьяницей: не раздражали уговорами, а лишь следили, чтобы он не причинил вреда себе и другим. Вот и сейчас они кликнули стремянных с конями, усадили Хуняди в седло, сели и сами на коней и, подстроившись так, что бан оказался между ними, поскакали к своему лагерю. Бан позволил им заботиться о себе. Он все еще кипел от полученного оскорбления.

— И ведь, сукин сын, только словами одними меня колет, и все из-за спины норовит! Да еще и прочих травливает на меня. Эх, встретиться бы разок с ним лицом к лицу, холера ему в бок, я б ему кишки-то выпустил...

Он не обращал внимания даже на то, что стремянные слышат его брань и станут о том рассказывать. В гневе он пришпорил коня, с такой силою саданув его в пах, что конь чуть не застонал и понесся стрелой. Спутники едва за ним поспевали. Бешеная скачка до самого дома как будто вытрясла гнев, но осталась странная подавленность, ощущение неловкости и стыда. Что скажет король, что скажут прочие вельможи? Небось всласть посмеются за его спиной. Почему нет у него таланта столь же ловко обращаться со словами, как умеет это граф Ульрих? Янош положительно боялся рыжего Цилли и, когда они сталкивались на каком-либо совете, терялся, приходил в замешательство...

— К черту! — сердито сказал он, переступив порог шатра.

Оруженосец Цираки по обычаю поднес ему кубок с вином, но Хуняди выбил кубок из рук юноши, с ходу

бросился на свое ложе, однако тут же вскочил и пошел в стан воинов; ему хотелось прогнать всякое воспоминание о неприятном случае в совете. Янку и Михай Силади пожелали сопровождать его, но бан отмахнулся, велел им остаться.

Выйдя из шатра, стоящего на искусственном земляном холме, Хуняди оглядел раскинувшийся перед ним лагерь, и на душе его сразу посветлело. Он любил, очень любил это зрелище: выстроившиеся друг подле друга пестрые шатры, сделанные из шкур животных и натянутых полотнищ, пасущиеся на привязи кони, у телег — волы, медленно жующие жвачку. А рядом воины — одни ухаживают за скотом, другие состязаются в ратном деле, третьи просто играют, как дети; голосов ему не было слышно, но краски этой картины так и пылали в бледных лучах уже осеннего солнца. Здесь, в этом мире, Хуняди сразу же опять почувствовал себя настоящим человеком.

Когда он проходил мимо, воины почти не отрывались от своих занятий. Кому-то пришло в голову громко крикнуть ему «виват», другие подхватили приветствие, когда бан уже миновал их, но ни он, ни они не придавали этому серьезного значения. Дисциплина в его войске выражалась не в оказании почестей, а в строгом соблюдении распорядка лагерной жизни. Но уж в этом он спуску не давал.

На разложенных у шатров кострах варился обед. Щекочущие обоняние вкусные запахи носились в воздухе. Возле одного костра воины-кашевары, заметив его, засуетились, заспешили и быстро спрятали что-то в шатре. Он сделал вид, будто ничего не заметил, остановился возле них, а когда они решили уже, что опасность миновала, прикрикнул вдруг:

— А ну-ка, что вы там прячете? Живо давайте сюда!

Тогда они вытянули из-под шатра розового, только что зажаренного поросенка:

— Где расстарались? — набросился он на них. — Правду говорите!

— Мы за него деньги оставили, — нерешительно выдавил один.

— Будете врать — самих зажарю, как эту свинью! Разбоем занимаетесь!

Они, втянув шеи, молчали, а Хуняди дал наконец выход накопившемуся в нем гневу:

— Грабители вы, а не воины! На кол посажу, ежели правды не скажете! Где расстарались?

— В Фюрдеше, — признались они наконец.

— Михал! Михал! — закричал Хуняди, зовя Михая Силади, и, покуда один солдат бегал за ним, продолжал исповедовать кашеваров:

— Вам что, жалованья не платили?

— Платили...

— Харчей на каждый божий день не выдавали?

— Выдавали...

— Может, не было моего приказа — грабежа не допускать?

— Был приказ...

— Так будет и еще приказ! Четвертовать вас, псы дьявольские!

От суровой угрозы языки у солдат развязались, и они принялись оправдываться:

— И у Цилли солдаты грабят... И у Гарай... Все грабят. Мало харчей-то...

— Отыщи главных зачинщиков, — приказал Янош Михая Силади, когда тот явился. — Дать им батогов, сколько заслужили.

И пошел дальше, не обращая внимания на ропот солдат. Что он мог им сказать? Еды в лагере и в самом деле было мало, урожай повсюду был скверный, крепостные прятали свои запасы. Тщетно он посылал наказы в Хуняд управляющему Фюштешу, тот смог прислать лишь несколько телег провианта, ведь и там амбары изрядно опустели. Но все же не мог он позволить своим солдатам драть шкуру с собственных его крепостных. Другие так делали, он знал это. Когда надоедало ему лагерное безделье, Хуняди садился на коня и навещал окрестные села, где крепостные одолевали его жалобами на грабежи и разор. Да и Фюштеш то и дело сообщал ему о том же. Иной раз он уже готов был подстеречь со своими воинами отряды, возвращавшиеся в лагерь с добычей, да порубать их саблями, но все-таки сдерживал себя. До последнего времени надеялся, что удастся договориться о походе против турок, и не хотел нарушать мир. Он удовлетворялся тем, что безжалостно наказывал своих солдат, если ловил их на грабеже. Но теперь? Есть

ли смысл после всего, что произошло, попустительствовать чужим?

Когда после долгой прогулки он вернулся в шатер, Янку и Михай, расположившись на медвежьих шкурах, играли в кости.

— На что играете? — спросил он у них.

— На живое мясо, — засмеялся Янку, и его большие здоровые зубы блеснули.

— Какой зверь-то?

— Баба... Есть тут очень подходящая для ночки маркитанка. Нынче явилась.

— Наполовину уже моя! — похвастался Силади.

— Сколько ты выбросил?

— Семь.

— Ну, тогда я ее всю вытяну из-под тебя, — пошутил бан Янош и потянулся за костями. Он выбросил девять.

— Ну, говорил я тебе? — торжествующе засмеялся он.

— Смотри, расскажу я сестрице Эржи про твое чертово везение, — поддразнил его Михай.

— Но-но, не возводи напраслину, не то приударю за Жужкой Печи!

Они от души посмеялись. К бану Яношу сразу вернулось хорошее расположение духа, едва он вспомнил о жене. Исчезла подавленность и грусть, он вновь чувствовал себя сильным и верил, что совершит невозможное и вернется к ней со славою. Нет, нельзя дать себя в обиду надменным, спесивым вельможам! Ведь в Хуняде его Эржи жаждет славы, неужто же ей понапрасну томиться!..

С волчьим аппетитом он накинулся на поданное к обеду копченое мясо, ел большими кусками, часто запивая вином. Вскоре глаза его заблестели, он громко смеялся и, как обычно, возбужденный вином, принялся рассказывать о былых своих похождениях.

— Когда был я в Италии с королем нашим Сигизмундом, упокой господи душу его, застала нас однажды ночь в маленьком городке. Остановился я на постой у одного ремесленника, а у него дочка была, девица аккуратная, пышная, с ядреной такой задницей. Сразу она мне приглянулась, так и потянуло к ней, но бедняжка по-венгерски не знала, не мог я шепнуть ей про это. Ну, думаю, как уляжемся, пойду к ней, в руках-то у меня и

она поймет — и по-итальянски оно так же все делается... Сомлел я немного от усталости, однако около полуночи очнулся. Слез с лежанки и осторожно прокрался туда, где девица спала. Только было хотел к ней забраться, вдруг мой ремесленник как заорет во весь голос. Со сна-то я спутал, не туда направился да как сомну его! Взревел бедняга и, как я ни объяснял ему, ничего не понимал. Пришлось мне знаками ему показывать, по нужде, дескать, выйти хотел...

Они так смеялись, что шатер чуть не лопнул.

— Вот это уж, и в самом деле, не передавай госпоже Эржи, Михай, — сказал бан Янош, вытирая слезы кулаком, измазанным в жиру. — Сраму не оберешься...

Они продолжали потешаться над его историей, заново перебирая все подробности, когда явились гости — Янош Перени, Матко Таллоци, Пал Розгони, Понграц Сентмиклоши. Все это были дворяне не слишком могущественные; сейчас, дабы противостоять желавшим все себе заграбастать Цилли, Гараи и тем, кто к ним тяготел, они потянулись к бану Хуняди, начинавшему входить в силу. Бан не поднялся с медвежьей шкуры, чтобы приветствовать гостей, но пригласил их присесть и тут же снова рассказал им свою историю.

Они тоже долго смеялись. Юный Цираки обнес их по кругу кубками, все выпили.

— Ты, господин бан, отменно распек нынче утром рыжего Ульриха, — польстил ему Понграц Сентмиклоши. — От злости он чуть кадык не проглотил.

Бан Янош ничего на это не ответил, только поглядел ему в лицо долгим взглядом. Он не жаловал этого чернявого человечка с торчащими вперед зубами. Знал, что Сентмиклоши его сторону держит только по расчету и завтра же, при случае, в глотку ему вцепится. В прошлом году он примыкал к лиге Цилли, но потом вздумалось ему данью обложить, потрясти немного те края, что за Дравой лежат и к владениям графа Ульриха относятся, — вот и стали они великими недругами. Но ничего не поделаешь, надо теперь принимать его лесть с хорошей миной.

— Слышал я, Ульрих сызнова с австрийским Фридрихом поладить пытается, — заговорил Перени. — Свары из-за Штирии забвенью предадут, и вновь великая дружба завяжется. Ходят слухи, покуда мы тут стоим, они дважды письмами обменялись, скороходы носили...

— Вроде и гусит Искра примирился с ним... С той поры как король наш Альбрехт Ульриха чешского наместничества лишил, Искра помягче стал с графом...

Это произнес Розгони, но все поглядели на бана: что-то он скажет? Хуняди чуял, что явились они к нему с какой-то определенной целью: все, ими сказанное, тому лишь служило, чтобы его настроение прощупать. Он не хотел отталкивать их — ведь кто знает, однажды ему может понадобиться их помощь и союз, — но не чувствовал себя достаточно спокойным для переговоров по существу, а посему отвечал осторожно, общими фразами.

— Легко им на чужой счет договариваться, — с горечью отозвался он. — А вот столкнуться насчет турок не желают...

— Ты, господин бан, знатно обрезал Ульриха на совете, они подлинно гибели твоей желают. Мне-то известно, не раз совещались об этом. «Заглотать надо мелких, нахальных зверюшек», — обронил как-то великий Гараи. А ведь и мы все мелкие зверюшки для них, — продолжал намекать Розгони.

— Подавятся, пусть только сунутся!

Однако бан Янош был так уверен лишь на словах: как только речь снова зашла об этом, он мысленно опять стал жестоко винить себя. Что ни говори, а нельзя было выбегать с совета, словно сорвавшийся с привязи разъяренный бык. Если здесь и на словах за себя постоять требуется, что ж, надо тому научиться, видно, слова-то частенько могущественнее любого войска бывают... Они, слова эти, и его погубят, если долго еще под их огнем стоять придется. Но что теперь делать? Вернуться назад к королю? Человек-то он мягкий, будто воск, но, кроме доброго слова, ничего дать не может, ведь он весь у них в лапах, по кускам всего его расхватили и держат, не выпускают. Или прямо к недругам пойти да спросить у них в открытую, чего им от него надобно? Нет, их он не убедит, только наврут ему с три короба. Да и пристало ли сереньскому бану так действовать? Незваному являться для переговоров? Нет, настолько он не унижится, хотя его отец и был простым дворянином. Напротив, как раз поэтому! Но что делать? Бросить тут всю эту собачью свадьбу иль двинуть на них со своим войском?

Он не мог больше спокойно сидеть на шкурах, вскочил и тревожно заметался по шатру. Вельможи с уди-

влением смотрели на него. Он заметил их взгляды и с наигранной веселостью успокоил их:

— Сидите, сидите, господа. У меня что-то ноги совсем онемели. Поразмяться хочу...

Затем, словно речь шла о пустяке, сказал Михаю Силади:

— Сходил бы ты, Михай, в королевский лагерь. Скажи там писцу Витезу, что хочу с ним потолковать. Пусть зайдет, если время сыщется или поблизости ненароком окажется...

Михай Силади простился с гостями и вышел.

— Известно ли вам, господа, — начал бан, чтобы как-то разрядить возникшее напряжение, — известно ли, что, покуда мы тут друг друга поедом едим, давно могли б турок проглотить?

— Господин Сигизмунд похитрее король был, — заметил Мате Таллоци. — Уж он бы как-нибудь изловчился, но заставил бы нас за это время договориться.

— Господин Сигизмунд тоже только обещал направо да налево, а делать не больно-то много делал, — проворчал Перени.

«Оттого, что, и дряхлым стариком будучи, жену твою все обхаживал?» — подумал бан Янош, но ничего не сказал. Он не вмешивался в разгоревшийся спор. А они, поняв, что сегодня здесь вряд ли зайдет речь о серьезных делах, поднялись и начали прощаться. Бан проводил их, подождал, покуда они сядут на коней, и, чтобы не уезжали вовсе без всякой надежды, еще раз повторил:

— Пусть только сунутся нас глотать — подавятся...

Потом вернулся в шатер и, как всегда после обеда, прилег на шкуры подремать. А Янку решил походить по лагерю, приглядеть, верно ли, будто солдаты ворчат, недовольны скудным обедом.

— Скажи им там как-нибудь поумнее, — наказывал бан брату. — Но ежели умного слова не поймут, не жалея батогов. Тут горланить не место, тут порядку быть надлежит!

Едва приклонив голову на шкуры, он тотчас же заснул — это доброе свойство его природы никогда ему не изменяло. Иной раз дело доходило до крайности, оборачивалось всем на посмешище. Вот хоть на прошлой неделе — налетела откуда ни возьмись буря, сорвала и унесла полотно с шатра над его головой, а он остался

под проливным дождем, полураздетый, босой, и даже не проснулся — снилось ему только, будто скачет он во весь опор на коне и оттого сильно вспотел.

На этот раз он проспал, должно быть, час и вдруг почувствовал, что его трясут и щекочут, пытаются разбудить. Янку и Михай Силади трудились прилежно, но их старания усадить его были тщетны — он снова и снова падал, как мертвый, и лишь изредка приоткрывал на мгновение глаза. Он уже бодрствовал, чувствовал, что с ним возят-ся, хотел крикнуть Янку или Михаю, чтобы не щекотали его под мышкой, а не то он лягаться станет — но нервы его, казалось, были парализованы, и даже языком он не мог шевельнуть.

— Проснись, витязь, турок за спиной! — крикнул кто-то, смеясь.

Когда после долгих увещаний он наконец открыл глаза, то увидел подле себя Яноша Витеза — на цыганском, смуглом лице его блестели белые зубы. Смущенный, Хуняди с трудом поднялся.

— Это у меня с малолетства; хилым я в ту пору был, чуть не помер, так и осталось во мне, — проворчал он.

Такое объяснение его болезненной сонливости дал проживавший у них прошлые годы итальянский лекарь Тадэ из Тревизо, и с того времени Янош не упускал случая рассказать об этом в свое оправдание. Витез не раз уже слышал от него сие разъяснение и сейчас только добродушно улыбнулся.

— Хоть это ты усвоил из всех дивных наук итальянских!

Бан погрузил голову в лохань с водой, стоящую в углу шатра, и тотчас стал совсем иным человеком. Теплым рукопожатием он приветствовал Витеза.

— Спасибо, что пришел, буквоед-канцелярист!

— С радостью пришел, спящий лев, достославный бан. Я уж и сам собирался к тебе.

Оруженосец тем временем вытряс шкуры, и оба расположились на них. Янку и Михай вышли из шатра, они остались вдвоем. Бан вынул кубки, сам наполнил вином, друзья выпили.

— За здоровье госпожи Эржебет, — сказал Витез. — Может, снова с ней беда приключилась, что ты таким бешеным стал?

— С ней-то? — Янко махнул рукой. — Я уж из-за

того не кручинюсь. Принимаю как есть, как то, чему уж не поможешь.

— Или не пишет?

— Да пишет она, но будто и не пишет. Складно и толково сообщит о делах домашних, о Лацко да Матяше, а больше ничего. Как чужому! Будто долг выполняет. Полюбопытствует, чем я тут занят, про то же, когда домой приедем, даже не спросит.

— Случайное упущение, так и считай!

— Случайное! Десятый год ты так говоришь. Поначалу обнадеживал: погоди, вот дитя появится... Ну, их уже двое у нас. Потом говорил: молода еще... Что ж, теперь и в возраст вошла. А ты все — случайно да случайно. Я уж только тем себя тешу, что такая у нее натура. Холодная и неласковая.

— Да, такая натура, — успокоительно произнес Витез.

— Частенько я себя спрашивал: может, к другому она бы теплее сердцем была? Но пожаловаться на нее не могу. Живет только ради сынов наших, и лишь одно ей интересно — что я для них нажать способен.

— Настоящая мать!

— Только мне и жену настоящую хотелось! — тихо произнес бан.

— Кого чем бог наделил, господин бан. С господом не поспоришь!

— Да я и не спорю с господом, благодарен ему и за то, что он меня ею наделил. Я ведь ее всем сердцем люблю, как уж там ни есть.

— И она тебя любит. По-своему.

— Скажи, Витез, по совести, ты так об этом и думаешь всегда, как говоришь?

— Так и думаю.

— А я ведь ради нее все совершу, что только в силах моих, — сказал бан, воодушевленный и успокоенный.

Витез с кроткой улыбкой глядел на этого седеющего большого ребенка, и доброе, теплое чувство — будто он подаяние дал — охватило его сердце. Он и сосчитать не мог, сколько раз возобновлялся этот разговор, почти в одних и тех же выражениях. И всякий раз его искушало намерение не лгать больше Яношу, откровенно все рассказать, но при виде этого трогательно непосредственного, детского одушевления Витез так и не находил в себе

силы вымолвить решающее слово. Этот бесхитростный, неиспорченный воин не понял бы его, но сказанных слов оказалось бы достаточно, чтобы разбить ему жизнь. И не было ли бы это бóльшим грехом, нежели ложь умолчания? Да и что мог он ему сказать? Рассказать можно лишь о случившемся, а не о чувствах, проскользнувших в нескольких жестах и взглядах...

— Свершай, господин бан, что можешь, но не так неразумно, как на утреннем совете!

— Об этом я и хотел с тобой потолковать.

— Господин король Альбрехт рассердился на тебя. Я едва мог умирить его гнев. Тебя он любит, знает, как ты полезен, но и родича своего, Цилли, оттолкнуть не хочет. Ничего не поделаешь, через родство, как говорится, не перешагнешь. Не забывай этого!

— Я не забываю, как и того, что Цилли вечно ко мне вяжется.

— И ты так поступай, но тонко, как он. Теперь я и не знаю, что будет: вельможи хотят побыстрее совет закончить да по домам разъехаться.

— А кто ж на турок пойдет?

— Хотят на весну отложить.

— Потом на осень и снова на весну. Покуда турок до Буды не дойдет, — вскричал бан. — Я-то уже не раз в битвах с ним встречался. И знаю наверное: если вовремя не выступить против него, после можно и не устоять...

— Я всего-навсего бедный писарь, — пожал плечами Витез. — Пишу, что велют, моих же слов никто себе на лбу не записывает. Да и в сердце тоже. Мне ты напрасно будешь душу выкладывать.

— Сатане, что ли, выложить? Ведь никто здесь об этом и не думает...

— Поди к воеводе Уйлаки. Турок Мачу и Серемшегу угрожает. Уйлаки непременно за союз будет...

— Мне идти? — вскричал бан. — Мне к нему? Уж лучше пусть турок приходит!..

А вечером, когда на лагерь опустились сумерки, он верхом, в сопровождении Янку и Михая Силади, трусил по дороге, ведущей к Тисе, к лагерю Уйлаки. Шли они небыстрой иноходью, ибо в темноте не видно было ухабов под ногами коней, а они не хотели сломать себе шею либо явиться к Уйлаки в изорванной одежде. Вдоль до-

роги справа и слева горели в ночи алые маки лагерных костров, легкий ветерок, подувший после заката к устью Тисы, доносил к ним обрывки протяжных и разудалых песен. Из лагеря наместника короля Хедервари, находившегося совсем рядом с дорогой, слышны были им и слова той песни, что затаили воины, сидевшие у крайнего костра:

Знать, меня не повидает мать родная.
И с невестой, знать, не свижусь никогда я:
Вдалеке живу, в сиротстве, их покинул,¹
Жизнь пропащую я отдал господину...

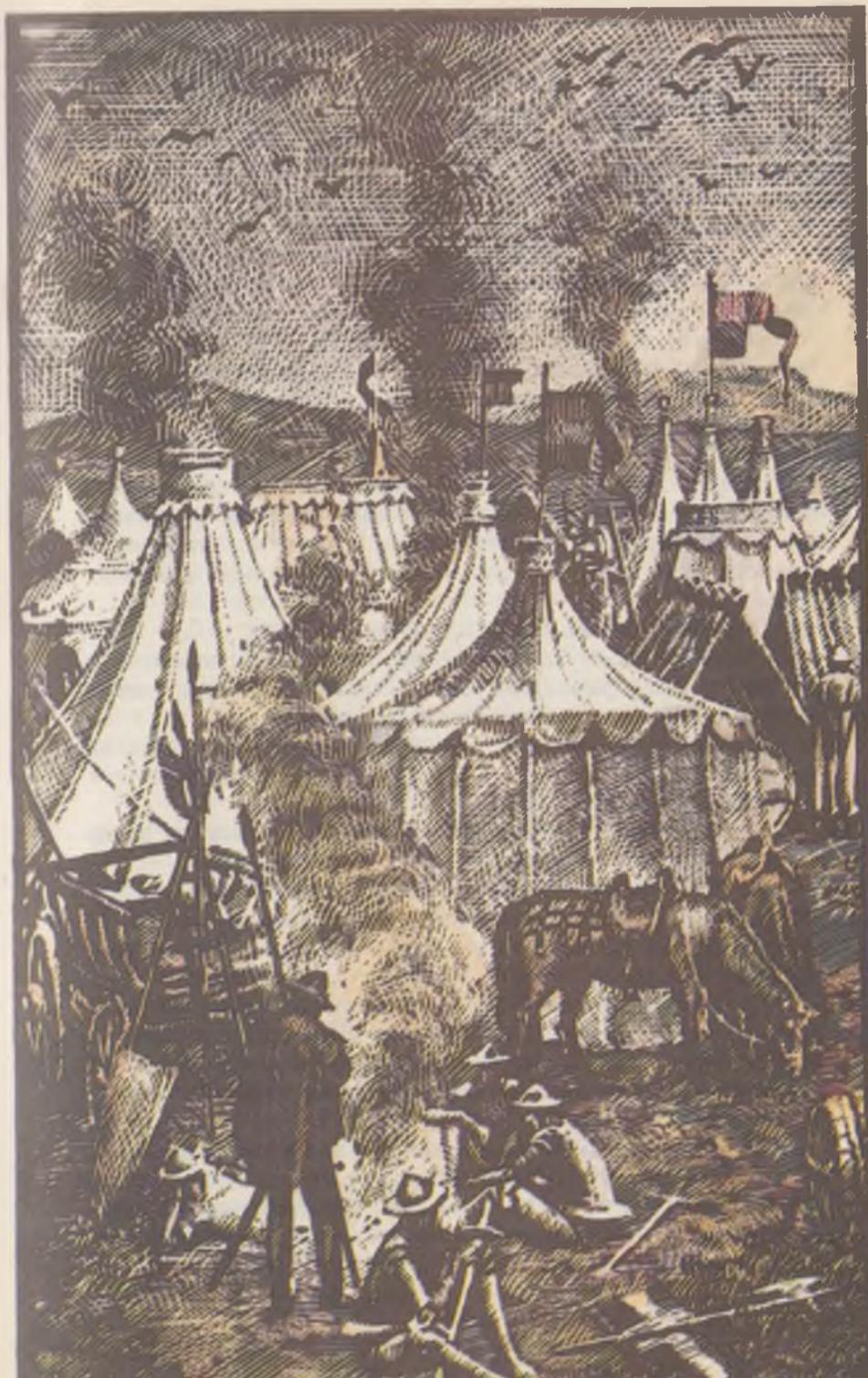
— Скулят воины-то! — сказал бан. — Словно щенки, потерявшие мать.

Но извечная тоска, выливавшаяся в песне, усугубленная темнотой вечера, захватила Хуняди так, что сердитая его воркотня была скорее попыткой побороть нахлынувшее умиление. Вспомнились прежние вечера в Хуняде, когда они в хорошую погоду выходили позабавиться на сторожевые вышки или посиживали на площадке башни Небойса, слушая печальный свист ночующих в горах румынских пастухов и песни крепостных, струившиеся снизу, как теплый, навевающий дрему воздух душного лета. Действительно так прекрасна была тогда жизнь или только кажется она такую за давностью лет? Ибо явь настоящего жестока и пуста, неумолимо холодна, и — он это часто ощущает — подавляет она, гнетет его... Чего от него хотят все, почему нападают, враждуют с ним, когда он хочет жить, и только? Вот и Эржебет там, в Хуняде... Может, ради сыновей одних и стоит жить, терпеть все это...

Сентябрьские дни были еще ясными и жаркими, но после захода солнца земля быстро остывала, и по ночам крыши шатров и шкуры коней покрывались инеем. Стало свежеть и сейчас; труся верхом на конях, они чувствовали, как от земли исходит все меньше тепла, — так скудеет пар из котелка, под которым потух огонь. Что-бы согреться, пустили лошадей быстрой рысью.

У шатра Уйлаки стояла стража с алебардами. До бана доходила молва об этом, слышал он от бывавших здесь вельмож и всегда злился про себя на Уйлаки за

¹ Перевод В. Корчагина.



тщеславный его обычай. Но сейчас он почувствовал вдруг, как волнение сжимает ему горло: то, что было пережито в юности, навеки запечатлелось в душе и хоть поблекло с годами, при каждой редкой их встрече воскресало с новой силой. Он сравнялся с Уйлаки, обладал теперь такую же властью, пользовался не меньшим почетом, однако сам по-прежнему ощущал его важным вельможей, стоящим над ним высоко.

Хуняди был недоволен собой, и все же сердце его забило сильнее, когда он вступил в шатер Уйлаки. Впрочем, это могло быть и от быстрой скачки...

В шатре было уютно и светло от насаженных на колья огромных свечей. Полураздетый Уйлаки возлежал на топчане, в ногах у него сидела молодая девушка. Уйлаки часто менял возлюбленных, а сейчас вот эта делала для него более сносной монотонную лагерную жизнь. Неожиданное посещение немного удивило Уйлаки, но лицо его не выразило ни малейшего замешательства, когда он поднялся, приветствуя гостей со снисходительной вежливостью:

— Добро пожаловать, любезные гости!

Девуце и без напоминаний известны были ее обязанности: она принесла кувшин с вином и кубки, наполнила их и исчезла за пологом шатра.

— Прошу садиться, ваши милости, вот сюда, на шкуру!

Они чокнулись и выпили.

— На ужин я жареного сала поел, — сказал Уйлаки. — А сало вина требует.

— Оно так, — натянуто пробормотал бан.

Наступила неловкая тишина, но Уйлаки не дал ей воцариться и естественно, с небрежной легкостью продолжал:

— Люблю я жареное сало. Сам и жарю, ведь от одного этого насытиться можно. Насадишь кусок на вертел, туда же головку красного лука, потом... Да ты, господин бан, может, не любишь сала?

— Люблю...

Янку и Михай под каким-то предлогом вышли из шатра, оставив их вдвоем. Уйлаки не пожелал заметить преднамеренности этого и, сильно жестикулируя, с воодушевлением, словно не было сейчас важнее темы для разговора, продолжал:

— Лук тогда весь пропитывается жиром. А если сало малость горчит, от этого только вкуснее.

— Да вот беда — сало-то на исходе! Больно долго толчемся здесь, сколько слов да харчей даром ушло. Или не так мыслишь, господин воевода?

— Долго? — улыбнулся Уйлаки, показывая крупные, желтые зубы. — Мне лагерная жизнь весьма по сердцу. Да и твоя милость — истинный воин, не верится, что тебе наскучило.

— Была бы в том цель, не наскучило бы! А так!.. Слышал я, король хочет лагерь снимать. До той поры и твоя милость вытерпит.

Беспомощно сникнув, бан слушал его легкую, уклончивую речь. Он напрягался весь, пытаясь как-то взять верх над Уйлаки, направить разговор в нужное русло, — даже уши у него покраснели от усилий. Но фразы Хуняди были как неуклюжие, грузные прыжки рядом с веселым скольжением Уйлаки. В конце концов Яношу это надоело, и он, чуть ли не перебив, сказал прямо, почти грубо:

— Я пришел к твоей милости договор заключить.

— Договор? — Глаза Уйлаки широко открылись от изумления. — О чем ты, господин бан, какой договор?

— Против всех, кто враг нам. Ныне первый и самый главный недруг — турок. И твой, и мой, и государства всего. Пропадет страна, ежели мы против него не выступим.

— Что ж мы вдвоем-то сделаем, господин бан, если и вместе все тщетно совет держали?

— Все вместе — меньше малого, ежели одними словами пробавляются. Дело делать надо, а не языком болтать. До нас с тобой турок скорее всех доберется, — сперва нас сомнет, а потом и всю страну. Почему ж не выступить против него? Почему не совершить того, в чем вся страна нуждается?

— Двоих для этого дела мало.

— Как увидят, что мы поладили, многие с нами пойдут. Вдвоем мы уже сила, к нам и другие потянутся. Есть еще люди, кои не только свое, но и всей страны благо видят...

— Новая лига, господин бан? — спросил Уйлаки с высокомерной улыбкой.

У бана голова шла кругом от собственных слов, он уже надеялся, что убедит Уйлаки, но высокомерная

улыбка и насмешливый вопрос воеводы сразу его отрезвили. Кровь бросилась в голову, он уже хотел было ответить точно так же, как много лет назад в Уйлаке, но, вспомнив о словах Витеза и о цели, которой желал достигнуть, подавил в себе гнев. Прикинулся, будто и не слышал вопроса, и с новым подъемом принялся убеждать. Не подействовали доводы разума — может, убедит откровенной исповедью.

— Знаю я, ваши милости чужим меня считают, втерся, дескать... Верно, отец мой бедным был, его отец и того беднее, но не за наши ли заслуги стали мы тем, кем стали? Неужто желал я пагубы хоть одному из вас? Что же вы все против меня и словом и делом идете? Зачем мы кусаем друг друга, будто волки голодные, кость увидавшие, когда нас растерзать готовы еще более дикие, более голодные звери? Может, ты, господин воевода, и гневаешься на меня за что-либо, зло затаил. Но станем же теперь умнее, забудем все, подадим друг другу руку дружескую. У твоей милости учености побольше, мне храбрости не занимать — согласие наше только на пользу пойдет! И нам самим, и общему делу.

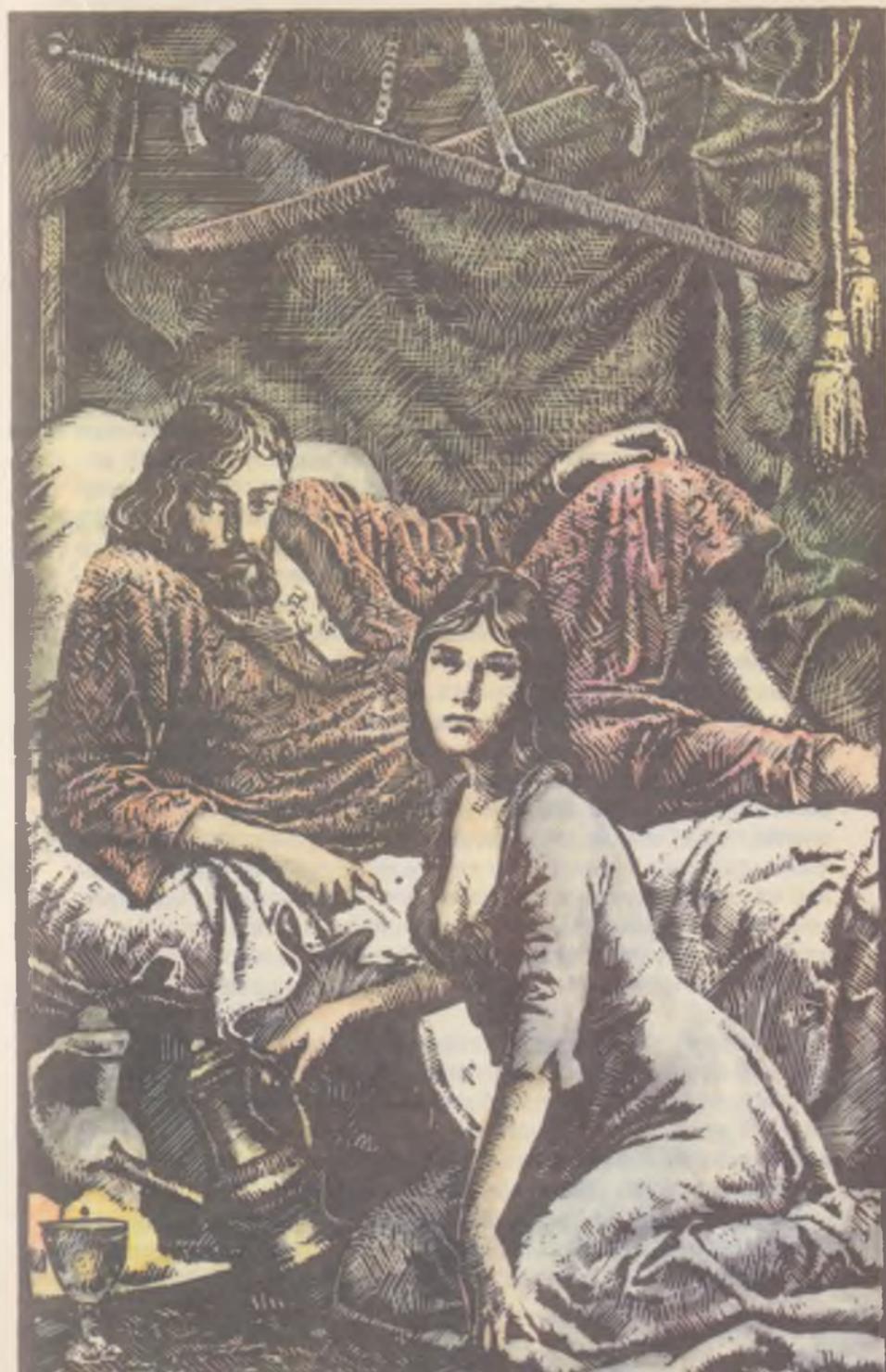
Уйлаки, казалось, не заметил протянутой ему жилистой, крепкой руки, как раз в этот момент он отвернулся, чтобы налить в кубки вина. Один кубок подал бану, другой поднял высоко:

— За короля Альбрехта! — сказал он и только потом бесстрастным тоном ответил бану: — А обиды зря во всем усматриваешь, господин бан. На мой взгляд, ничего такого и нет, что ты травлей объясняешь.

Бан никогда еще не говорил с такой внутренней раскованностью, как сейчас. Он поборол в себе расправшую его упругую гордость, весь до конца открылся в словах и думал, что ответом на его искренность может быть только искренность. От слов Уйлаки он словно оцепенел и вдруг устыдился себя самого. Пробормотал еще о чем-то, к делу не относящемся, затем, ни словом не коснувшись предыдущей темы, встал и простился. Уйлаки проводил его до дверей шатра и, даже не дождавшись, пока они сядут на коней, крикнул девушке:

— Жужка, пойдем ляжем! Принеси-ка мне себя, милую!

Он стоял у входа в шатер с повисшими руками и в



свете горевших за спиною свечей напоминал тень первобытного человека перед пещерой; он громко и от души смеялся.

В конце сентября у солнца еще было достаточно сил, чтобы подымать над окрестными болотами и лагерем вязкие испарения. Теперь, когда погибшие летом животные гнили в болотах, эти испарения стали еще более ядовитыми, чем несколько месяцев назад. Внезапные ночные холода вслед за дневным теплом тоже подпортили здоровье людей. Воины, правда, были привычны даже к зимней лагерной жизни, но тут все, вместе взятое — ядовитые болота, неожиданное похолодание, питание, постепенно уменьшившееся наполовину, — легко их сломило. Сперва болезнь подняла голову в лагере королевского наместника Хедервари. Воины, правда, приняли ее сначала за случайность и очень по этому поводу потешались. А дело было так, что вдруг напал на одного из них понос, и сколько раз ни пытался он добежать до края болота, где камыш был срезан, каждый раз срамылся... Однако на другой день та же судьба постигла еще десятерых. И поскольку здоровье их не шло на поправку, напротив, больные слабели и уже едва могли двигаться, то все вдруг с ужасом осознали: на них напала холера. К этому времени болезнь уже объявилась и в других лагерях: первый же приступ ее валил солдат десятками. Воеводы еще не пришли в себя от неожиданности, как появились первые покойники. Животный ужас охватил людей, они прятались друг от друга, скуля, словно почувявшие опасность звери. Если бы не строгость воевод, все бы разбежалось куда глаза глядят. И так уже многие сбегали под покровом ночной темноты, но далеко уйти никому не удавалось, крепостные их убивали.

В лагере Хуняди к нашествию заразы приготовились. Воинам было запрещено общаться с воинами из других лагерей, а когда болезнь все же обрушилась на них, ей попытались дать отпор. Тех, кого она одолевала, по приказу бана оттаскивали в болотную топь и предоставляли своей судьбе. Часто по нескольку дней и ночей неслись в лагерь вопли несчастных, душераздирающие мольбы о помощи: больные просили воды, пищи, крики их становились все более буйными, потом замирали, по-

куда в конце концов какой-нибудь бродячий волк не помогал им отдать богу душу.

Суеверный страх овладел людьми, ходили самые невероятные легенды о том, отчего напал на лагерь мор. Одни считали это божьим наказанием за то, что господа никак меж собой не поладят, другие подозревали крестьян из окрестных районов в воровстве — в отместку, мол, за отнятый воинами хлеб, которого и так-то мало уродилось... А вельможи упрямо продолжали совещаться, но теперь больше о том, когда и где вновь собраться, чтобы турецкую опасность обсудить; да еще спорные дела улаживали, которые им на суд представлены были. Однако, когда увидели, что содранная с окрестного березняка и сваренная в огромных котлах береста не помогает и болезнь продолжает распространяться, заторопились и они. О каком-либо серьезном соглашении не могло быть и речи: над всеми властвовал страх, каждый старался спасти лишь собственную шкуру.

Снятие лагеря назначили на двадцатое октября. За день до этого утром прибыл отец Якоб в сопровождении священника Балажа, а немного погодя — и портной Ференц. Он приехал из Калочи, где в епископской резиденции отменили назначенное ему священником Якобом наказание — лишение всего имущества и изгнание из села. Так как был он дворянином, последнее слово принадлежало Государственному собранию.

Инквизитор Якоб прежде всего явился к королю, доложил обо всем, что им проделано, а затем направился в лагерь бана.

— Вот, господин бан, священник, не совсем чистый от гуситской заразы, — представил он Балажа. — Думаю, твоя милость найдет ему дело у себя и пользу из того извлечь сумеет, он же при твоей милости души покой обретет!

Бан, места себе не находивший от того, что все его планы рухнули, строптиво возразил:

— У меня покой? Когда горечь сердце мне рвет? И ты смеешься надо мной, отец Якоб...

— Мне неведома твоя печаль, но знаю твердо: душа у тебя незамутненная. А что бурлит немного поверху, — так и это порой надобно...

— Ты говорил, отец Якоб, когда мы в последний раз беседовали о душе моей, что погублю я и себя и

страну, ежели гуситской ереси поддамся. Я поверил тогда словам твоим.

— А ныне не поверил бы, славный господин бан?

— Может, и нет! Душа моя, подлинно, обрела покой и укрепилась в вере Христовой, но что мне с того, ежели иное меня беспокоит? Со мной ли те, ради кого посылал я воинов своих на орду Антала Надя? Нет, они против меня поднялись, чтобы сразить меня. И ведь как! В недостойной борьбе погубить задумали, туркам выдать! Да только вместе со мной погубят они и заботу о судьбе страны родной. Не грешно ли было смерти предавать гуситов Антала Надя? Не стоило ли на их сторону податься и...

Он впервые попытался облечь в слова давно искушавшие его мысли. Еще никогда он последовательно не доходил до конца этой цепочки мыслей: они возникали у него в часы раздумий и сомнений, но он сразу обрывал их, гнал прочь, едва добирался до неприятных вопросов... Он чувствовал, что тут нужны не расплывчатые внутренние колебания, а высказанные вслух слова, законченные фразы: вот им-то уже можно было бы смотреть в лицо, их уже нельзя было бы обходить стороной. Но они так и не рождались, эти слова и фразы. Вот и теперь они споткнулись у самого трудного препятствия, хотя их подгонял пыл глубокой страсти, и бан, скрипнув зубами, воскликнул:

— И кто-то у меня найти пытается уверенность и покой?!

В шатер вдруг донеслись вопли заболевших холерой воинов: их гнали мимо шатра к болотам.

— Милости!

— Господа баны, Иисус спаситель!.. Смилуйтесь!

— Сжальтесь, испить хоть дайте!

— Матушка родимая, где же ты!

Ужасны были эти жалобные крики, но ни в ком не пробудили они милосердия: больных должно было гнать отсюда, ведь умри они в лагере, холера выйдет из них и переберется в других воинов. А в болоте, если и вылезет, там же и потонет...

Так считали здесь все.

Якоб из Маркии поднял руку, осенил несчастных крестом через откинутую полость шатра, затем обратился к бану:

— Этим уже нельзя помочь, верно?

— Верно...

— Надо ли губить их, чтобы они других не погубили?

— Да, надобно...

— Так что же в тебе, великий бан, вновь милосердие пробудилось к убитым еретикам? Зачем ты травмишь себя раскаянием? Не думай, господин бан, что, став на их сторону, ты совершил бы добро для себя и родной страны. Злом даже против зла нельзя добра достигнуть. Но я, несмотря ни на что, с доверием оставляю у милости твоей брата Балажа!

— Оставляй, оставляй, отец Якоб, — успокоившись, сказал бан и добавил с горькой улыбкой: — Все одно у меня ныне времени хватит, буду в хунядской берлоге буквы выводить да итальянские науки долбить, вот пускай он меня и учит. Ведь надо мной все вечно глумятся, неученый я, говорят!..

Он хотел сказать еще что-то, но в шатер ворвался Янош Витез. Он побежал прямо к Якобу из Маркии, обнял его и облобызал.

— Я лагерь обходил, когда ты у короля был, брат Якоб. Завтра снимается лагерь... Может, поедем на совет, там начали дело портного Ференца слушать?

Все сели на коней и направились к королевскому лагерю. Равнина с обеих сторон дороги походила на расстроенный муравейник: сновали взад и вперед повозки, кое-где начинали снимать шатры. Вверху, под серым от испарений небом, гадко каркая, летали над камышами стаи черных воронов.

— Ну, доблестный господин бан! — Витез пытался говорить весело. — Вот твои любимые птицы. Не пожалуешь ли им какой еды?

— Им смерть достаточно пожаловала! — недовольно пробурчал бан.

Витез и Якоб из Маркии ехали рядом позади всех. Долгое время они молчали, потом священник Якоб заговорил:

— Брат Янош, ты не всю душу вкладываешь в службу при господине бане, как обещал господу богу и мне.

— Я в чем-то ошибся, отец Якоб?

— Не ошибся, но и сам в сторону уклонился.

— А мне казалось, я всегда прямо держусь.

— Брат Янош, если мир со своей истиной соизмерять, то видишь, что все вокруг тебя криво, лишь ты прямо движешься. Но поставь свою истину подле высшей истины! Это прекрасно, что обогащаешь ты душу рифмами и иными почтенными науками, но надобно ли знакомством с ними изнеживать борцов, веру защищающих?

— Но, отец Якоб, красота рифм и наук обогащает душу. Делает ее благороднее, восприимчивее ко всему истинному...

— Ко всяким сомнениям восприимчивее! Чем выше человек взбирается, тем дальше видит, верно, — но и менее ясно видит то, что вокруг него!

— Однако даже его святейшество папа...

— Не продолжай, брат Янош, знаю, что ты сказать хочешь. Не забывай, что мы живем и боремся в стране, всяческой низости полной и ран греховных. Мы не в Риме, не в Милане или Болонье — мире кроткого духа, мы в Гуннии, а здесь то и дело голову поднимает еретическое безбожие, свирепствуют непонимание и злоба. Так можно ли здесь высказывать возникающие у нас мысли, как бы прекрасны они ни были, ежели они не ожесточают сердца в ненависти ко злу, а разнеживают их? Бойцу нужны не красота и наука, а вера, на битву посылающая, либо уж неверие!

У Витеза не осталось времени для ответа, так как они подъехали к шатру, где шел совет, и наместник короля Хедервари тотчас же вызвал священника Якоба для показаний. Портной Ференц неподвижно стоял в стороне и мрачно слушал слова священника. Его уже допросили, и он ожидал приговора: теперь здесь вершили суд в бешеной спешке, словно оставались считанные минуты.

— Не желаешь ли, благородный господин, что-либо сказать нам? — с вежливостью, полагающейся при обращении к дворянину, спросил Ференца королевский наместник, выслушав инквизитора.

— Всемилостивое Государственное собрание, того, что изложил тут отец Якоб, я и не отрицал. С оружием, с саблей в руках я вышел, чтобы освободить булкенского священника отца Балинта, но поступил так не по злобе, а из веры, ибо считаю его праведным человеком!

Священник Балаж стоял позади собравшихся на допрос дворян и во все глаза смотрел на того, вместе с кем

еще недавно служил истинной вере! Как твердо и смело высказывает портной истину, в которую поверил! Он, Балаж, внутренне тоже не отрекся от новой веры, что там ни думает священник Якоб, ибо ничто не смое с души оставшихся на ней следов, но какое это имеет значение? Какое значение имеет то, что творится в нем, если это не побуждающая к действию вера, а всего лишь блудливые раздумья? Как далеко может завести человека одно случайное, неопределенное, нерешительное движение! Ведь он никогда не хотел докатиться до этого!

Сейчас все старания Балажа были направлены лишь на то, чтобы портной Ференц не заметил его.

Наместник короля Хедервари после краткого совещания объявил приговор, согласно которому решение калочайского епископа считалось недействительным, а распоряжение Якоба из Маркии о лишении имущества и изгнании подтверждалось...

Таково было последнее деяние Тительревского Государственного собрания.

Ноябрьский иней побелил крыши, ночами вода застывалась ледяной пленкой, земля и природа парализованно молчали — словом, приближалась зима. Снег сверкал в горах Поляны Руски. В залах крепости, потрепавшая, горели в очагах целые поленья. За время летнего и осеннего строительства госпожа Эржебет привела в порядок и очаги: вернувшись домой, бан нашел чуть ли не новый крепостной замок на месте старого. Однако жена осталась прежней... Она ходила по крепости с холодным достоинством, отдавала приказания, трудилась, хлопотала, — но стать теплее к нему так и не могла. Даже ночами, в постели, когда бан прижимался к ней, горя вожделением и неутолимой страстью, она только терпела его объятия и поцелуи, но никогда их не возвращала.

— Такая уж у нее натура! — успокаивал себя бан.

В эти дни вынужденного безделья единственной его радостью были занятия с детьми. Лацко уже стал степенным, большим пареньком — ему вскоре исполнялось десять лет; от каждого встречного требовал он сказок. Они с матерью прекрасно понимали друг друга: в рано наступавших сумерках часами могли шептаться в углу у очага... Матько еще только учился ходить и разговари-

вать, хотя и ему уже минуло пять лет. Он родился немного недоразвитым и хилым: и не мудрено, ведь появился-то он на свет семимесячным... Когда речь заходила о слабости ребенка, бан всегда утешал жену, повторяя, что и он в детстве долго был таким же.

— Мне год минул, а мать меня даже от кошки охраняла, чтобы не унесла, — смеясь, рассказывал он. — Зато годам к шести начал я быстро расти. Но у нас был и другой Янко, мне-то с ним приходилось состязаться, — добавлял он лукаво.

Однако госпожа Эржебет не желала понимать намека, слушала молча, с неподвижным лицом.

День клонился к вечеру, все четверо сидели в гостиной. Лацко шептался с матерью, Матько гарцевал на отцовской спине. Бан ползал по полу на четвереньках, а мальчуган колотил его короткими ножонками по бокам и тянул за длинные волосы, ухватив их, как поводья. Оба очень веселились, малыш хохотал чуть не до икоты.

Бан, легонько подкидывая задом, пытался напугать сынишку, притворяясь, будто хочет его сбросить, когда в комнату вошел священник Балаж, держа в руках письмо, запечатанное многими печатями.

— От воеводы Уйлаки, — сказал он, остановившись у двери.

Бан так и подскочил от неожиданности, и вправду чуть не сбросив с себя Матько. Быстро сняв ребенка со спины, он поднялся, выхватил из рук священника письмо, поспешно сорвал с него печати и подошел к окну. Он глядел, пожирая глазами непонятные ему закорючки, в некоторых, казалось, узнавал знакомые буквы, выученные с грехом пополам под руководством священника Балажа, но письмо в целом ничего ему не говорило. Быть может, никогда в жизни он не чувствовал себя таким жалким и униженным, как в ту минуту, когда, притихший, пристыженный, он вернул письмо Балажу, чтобы тот прочел его.

— «Милостивый господин бан, с опечаленным сердцем сообщаю тебе, что по дороге домой, в Несмейе, король Альбрехт умер от холеры. В моих ушах звучат слова твоей милости, сказанные в тительревском лагере, и я надеюсь, что, встретившись на совете, когда будем выбирать короля, мы поговорим еще с тобой об этом».

Сжалось сердце бана при известии о смерти неизменно доброго к нему короля, но сквозь печаль буйно, с

первозданною силой, прорвалась радость, вызванная предложением Уйлаки.

— Знал я, что придешь ты еще ко мне! — вскричал он и разразился торжествующим смехом. Госпожа Эржебет некоторое время смотрела на него, а потом — быть может, впервые за все время их брака — засмеялась с ним вместе...

7

В Будайской крепости царила великая суета, целое войско оруженосцев и слуг, подгонявших друг друга, наводило при дворе порядок к приезду королевы Барбары. Прошло немало лет с тех пор, как они не ощущали на себе ее строгости, но воспоминание о ней жило, и весть о том, что после полудня она прибудет ко двору, смущала их ленивое спокойствие более, нежели присутствие новой вдовы — Елизаветы. Ехидно, хотя и украдкой, чтобы не дошло до ушей непосвященных, они судачили о том, что покойный король Сигизмунд поступил очень мудро, спровадив супругу в Варад, но и покойный король Альбрехт сделал не хуже, приказав своей теще-королеве там остаться... Шепотом, хихикая и посмеиваясь, они вспомнили все сплетни о ней, совсем было позабытые за годы ее отсутствия, а ныне снова ожившие. Любопытно, где пребывает ее разлюбезный рыцарь, рыжий Валер? Правда ли, что после смерти господина Сигизмунда она вызвала Валера к себе, в свое варадское одиночество, чтобы усладить пустые дни? И верно ли, что теперь они вместе приедут в Буду? Конечно, поверить трудно: как бы много неподобающих поступков ни совершала Барбара, такого и она не посмеет сделать. Не из чувства стыда — она недаром из рода Цилли: так высоко себя ставит, что стыд ей нипочем, — но хотя бы для приличия. Очень уж много благородных дворян собралось сейчас здесь на совет страны, а королева Барбара не так глупа, чтобы восстанавливать их против себя. И потом, вовсе не обязательно, что рыжий рыцарь все еще у нее в милости. Натура у старшей королевы весьма беспокойная, вряд ли она годами станет хранить верность одному избраннику.

— Старовата стала пчелка, чтобы разные-то цветы перебирать, — ухмыляясь беззубым ртом, съязвил дря-

хлый Берти, конюший, давным-давно занесенный сюда каким-то ветром из Бранденбургского графства, но прочие тотчас осадили его:

— Не из той личинки эта пчелка вывелась!

— Эта порода летает, куда крылья держат!..

— И в шестьдесят годков такой же будет, не только в сорок пять!..

Они весело чесали языками, вдруг кто-то зашикал, чтобы замолчали. Старый башмачник Вендель Прентель, известный своей преданностью королеве Барбаре, вышел из помещения для слуг и еще издали принялся кричать на них:

— Кто убрал сафьяновую кожу? Сей же момент подать ее мне!

В его дрожащем, несуразном каком-то голосе плескались торжество и гордая радость. Остальные тотчас начали поддразнивать его, намекая на причину этой радости.

— Ну, старый Вендель! Снова твое ремесло понадобится!

— Королева босая напрямик к тебе явится...

— Небось еще в Вараде бочкоры скинет...

Старик погладил длинную, опускающуюся до середины груди бороду, которой когда-то сам Сигизмунд завидовал, и чванливо откликнулся:

— Будет мне ныне истинный почет! А вы гогочите себе, глупые гусаки!

И старик заковылял прочь, молодежато и торопливо подтягивая хроющую ногу; слуги же, то и дело прерывая работу, продолжали судить да рядить, близко сдвигая головы. Но сейчас им было отчего волноваться и помимо сплетен. Тревога, вызванная внезапным известием о прибытии королевы Барбары, усугублялась иными слухами, упорно носившимися последние дни по городу, и приезд королевы лишь подкреплял их достоверность. Доля истины в них, видно, есть, иначе зачем было мчаться сюда сломя голову Барбаре? И о чем уже третий день подряд совещаются здесь двое Цилли с епископом Сечи? Утром кто-то из дворцовых слуг обронил, будто ждут и Гарай... За крепостью же, на Ракошском поле, продолжал расти табор дворянских шатров, и даже жестокий декабрьский мороз не разогнал дворян по домам; королева Елизавета даже пригласила самых знатных из них в крепость — найдется место, мол, и для гос-

под, и для коней их, — однако приглашенные велели передать, что благодарят, но они отлично чувствуют себя все вместе... А тут Дунай начал замерзать; если мороз продержится, после рождества целая армия может по льду перейти...

Особенно большое волнение царило среди бранденбуржцев и приехавших вместе с Альбрехтом австрийцев. Первые по памяти, вторые по слухам отлично помнили те кровавые дни, когда доведенные до отчаяния будайские венгры несколько лет тому назад поднялись против немцев. А сейчас времена еще более тяжкие, может, и следа от них, пришельцев, не останется, — нет ведь ныне Сигизмунда, верного заступника своих земляков. Не на Цилли же им надеяться, в их присутствии здесь храбрость черпать!

Растревоженная и испуганная сновала, суетилась по замку дворцовая челядь; будущее у всех них было неопределенным, немцев же отягощал еще особый страх, и, как более тяжелое вещество во взбалтываемой жидкости, они вновь и вновь отделялись от прочих и сходились советовать, ужасаться и плакаться на судьбу.

— И какая нелегкая занесла меня в эту безбожную страну! — в двадцатый раз повторял дряхлый Берти. — Жил бы себе спокойно на старости лет в Анслебене...

Вероятно, и у других возникла та же мысль, но они ее не высказывали; когда же старик, продолжая сетовать, простонал: «Я ведь и бежать-то не смогу, ежели прогонят!» — в них пробудилась вдруг храбрость, и кто-то прикрикнул на конюшего:

— Да перестань ты бляеть, старый козел! Чтобы спастись, не убежать надобно, а обороняться!

Одноногий придворный Пал Бигере, покалеченный гуситскими топорами, часто навевывался во двор и громко кричал на людей, разгоняя всех по местам. Пока он находился среди них, слуги суетились с подобающим усердием, но стоило ему уйти, как снова собирались вместе. И хотя никто не приносил новых вестей, в теплице волнений зарождались и быстро росли все новые и новые слухи. Говорили, будто королевы Елизаветы нет уже в крепости, она сбежала ночью, тайком, потому что дворяне замыслили сгубить дитя ее, как только оно появится на свет... Говорили также, будто она хотела сбежать, да не смогла — дороги-то все охраняются! — и Барбара вряд ли прибудет, ее на пути перехватили...

Быстро вечерело, гнетущие зимние сумерки сгущались, а вместе с ними сгущались и страхи. Из уст в уста передавали весть о том, будто ночью являлся дух короля Альбрехта, — шаги его гулко отдались во всех коридорах, и он трижды воскликнул у дверей супружеской спальни: «Спасайся, королева, супруга моя!» Нашлись люди, которые видели, как дух крался по коридору, другие слышали его крики.

День, быстро тонувший в колодце вечера, наполнился ужасными тенями с Ракошского поля, и когда от венских ворот вместе с воем ветра донесся рев трубы, последняя надежда покинула обитателей королевского двора. Лишь услышав крик вестника, на бешеном галопе влетевшего во двор с возгласом: «Прибыла королева Барбара!» — они повеселели.

Вскоре за тем прибыла и королевская карета, запряженная четверкой лошадей, и остановилась прямо у входа в королевские покои; сидящая в карете королева Барбара очень удивилась, услышав, что ее приветствуют столь громкими кликами. Тут же появились факельщики, и когда королева Елизавета, Фридрих Цилли, его сын Ульрих и эстергомский епископ Денеш Сечи, узнавшие о прибытии гостыи, вышли ее встретить, то шли они до самой дверцы кареты сквозь строй пылающих факелов. Елизавету вели под руки оба Цилли: она была бледна, ступала неуверенно, и под складками платья угадывалась благостная ее ноша.

Когда они были уже на последней ступеньке, дверца кареты распахнулась, и перед ними предстала Барбара, закутанная в меха, во всем блеске женской красоты, проглядывавшей даже сквозь усталость и утомление. Неподвижное лицо ее было бледно, белизна его, казалось, заставляла блекнуть рыжий свет факелов. Елизавета зарыдала и упала матери на грудь. Некоторое время та стояла молча, чуть ли не враждебно, потом и у нее из глаз потекли слезы. Свита окружила их и повела вверх по лестнице, чтобы поскорей укрыть от любопытных взоров глазееющей дворни.

Ужин окончился, и они остались за столом вдвоем, Барбара и ее старший брат Фридрих Цилли, — все прочие удалились, словно по молчаливому стовору. Епископ Сечи отправился служить вечерню, Елизавета прилегла



отдохнуть у себя в спальне. А граф Ульрих сказал, что должен взглянуть на своих воинов. Брат с сестрой сидели молча, разделенные горевшими между ними свечами, и старательно избегали взгляда друг друга. Граф Фридрих налегал на вино, будто с каждым глотком принимал порцию храбрости. Он наполнил и другой серебряный кубок и подвинул Барбаре:

— Пей, сестрица! Согреешься...

Барбара бросила на него медленный взгляд из-под длинных ресниц и отодвинула от себя кубок:

— У меня в этом нет нужды. Да и холода я не чувствую.

— Да ведь намерзлась, верно, по дороге из Варада. Путь-то неблизкий, да еще зимой, в повозке...

И так как Барбара ничего не ответила, снова спросил:

— Никакой зверь дорогой не докучал? Волки...

— Нет.

— А звери в человечесьем облике?

— Не докучали.

Мрачная холодность Барбары вновь оборвала беседу, и граф Фридрих не мог придумать ничего лучшего, как продолжать пить. Он с шумом поднимал и ставил кубок, всячески стараясь нарушить воцарившуюся между ними неловкую тишину, и после каждого глотка удовлетворенно покрывал и откашливался. Приободрить себя вином ему, видимо, удалось, ибо, когда он снова заговорил, голос его звучал свободнее:

— Далекий край, дикий край этот Варад, не так ли? И весточки не получишь от того, кто сослан туда... Мы и не знали толком, жива ли ты.

— Как видите, выжила! — с прорвавшимся злобным упорством сказала Барбара. Затем повторила, повысив голос: — Выжила, как видите изволите, ваша милость, дорогой братец!

— Весьма этому рад, сестрица Барбара.

— А вы сердце-то свое раскройте, ваша милость, да покажите мне эту радость, — может быть, я и поверю!

И Барбара рассмеялась так, что брат ее почувствовал себя очень худо. Не успел он возмутиться или оправдаться, как на голову ему обрушились враждебные слова:

— Вы уж скажите, ваша милость, что гонцов моих, к вам посланных, волки съели, в болоте они утонули,

глубокая трясина их поглотила или иной позорный конец настиг. Скажите же, что не от палачей вашей милости они все смерть приняли. И ни один к вашей милости не прибыл — потому-то у вас от меня и вестей никаких не было. Ведь куда как далек город Варад!..

Граф Фридрих оторопело моргал под ливнем слов и только втягивал голову в плечи, а когда Барбара, задыхнувшись, умолкла, попрекнул, только чтобы унять ее:

— Ты криками-то своими весь замок всполошишь!

— Я слишком долго ждала минуты, когда смогу высказать правду. Меня теперь никто и ничто не остановит!

— Да нет же правды в словах твоих, сестрица-королева! Я не говорю, будто не получал от тебя вестей, но, право, что я мог поделывать?

— И Сигизмунд и Альбрехт слушались вашей милости. Только и требовалось от вас — сказать им! Либо с войском пойти за мною в Варад, мне какое дело! Теперь, оказывается, несправедливо, ежели я о том кричу громко, что ради своей сестры родной — которой ваше графское сиятельство столь многим обязано, — вы и пальцем не пошевелили!

— Да, несправедливо! — расхрабрился граф Фридрих и прямо взглянул на сестру. — Несправедливо, потому что ты сама искала своей гибели. Стала королевой, но высокого звания сего была недостойна. Кто грешит, тот достоин кары, не забывай!

— Вы ли говорите мне это, ваша милость? — с каким-то клекотом, вскочив, выкрикнула Барбара. — Вы ли, кто обрек на гибель собственную жену?

Тут и Фридрих вскочил и так ударил по столу, что вино выплеснулось из кубков.

— О том не поминай, а не то глотку тебе заткну!

С глазами, искрящимися ненавистью, они стояли друг против друга по обе стороны длинного стола: Барбара — вызывающе красивая, откинув назад голову, Фридрих — наклонившись вперед, словно бык, готовый боднуть. Будто и не брат с сестрой. Граф первым пришел в себя, сел на место, ладонью смахнул со стола пролитое вино, потом залпом осушил кубок и, успокоившись, сказал:

— Нечего зря словами бросаться, о прошлом толкуя, — разве мало у нас ныне бед, которые обсудить следует? Может, прежде об этом договоримся?

— Ни о чем не стану я с вашей милостью договариваться! Меня и так-то все использовали в своих целях, а вот своей жизнью жить никогда не разрешали. Но теперь я буду делать, что сама нужным найду, туда пойду, куда пожелаю.

— К рыжему Валеру, да? — язвительно спросил Фридрих.

Барбара опешила на мгновение, но потом еще тверже ответила:

— Куда найду нужным! Или ваша милость меня удержать хочет?

— О нет, Барбара, удерживать тебя не хочу, — совсем стихнув, сказал брат. — И я не позволил себя сдерживать, когда сердечная тоска меня охватила... Ради нее на все пошел. Но на отца — он осудил на гибель Веронику — все ж руку не поднял, ибо признал, что для блага семьи обрек он ее на жертву.

Барбара тоже смягчилась от тихих, горестных слов брата, она села, но тут же вскочила, задохнувшись от испуга, и крикнула ему в лицо:

— Неужто с ним?!

— Нет! — успокоительно перебил ее Фридрих. — С рыжим Валером ничего не случилось. Я даже не знаю, где его искать, и тебя о том не спрашиваю. Но молю, ради собственных твоих интересов, интересов дочери твоей и будущего внука, ради всех нас — не встречайся с ним, более того, избегай его. Завистники наши весьма враждебно к нам настроены. Те, у кого не хватило ловкости и упорства, чтобы выбраться из бедности, ныне нас хотят в нее вернуть, желая над нами встать и нас утопить. Нового короля хотят провозгласить, против нас идут...

— А как же Елизавета? — испуганно спросила Барбара.

— С ней и считаться не желают. Некоторые даже до родов ждать не хотят, чтобы узнать: сын родится, престола наследник, или дочь. Сейчас нельзя тебе злобу их растравлять. Жертва эта ради страны нашей, ради нас всех. И ради тебя самой, не забывай.

Барбара хотела ответить, но в дверях показался епископ Сечи. Мелкими, семенящими шажками он поднес свое округлое тело к столу; на губах его играла сладкая, вкрадчивая улыбка, будто и тут он готовился обращаться к язычникам.

— Я молился за мир в стране, за мир для всех нас.

Просил господу убедить противников наших и послать нам в новорожденном доброго короля. Верую, что внемлет он мольбе моей!

— Хоть бы он отложил совет сословий, покуда новорожденный на свет не появился, — сказал Фридрих Цилли. — Хотя бы до этого времени. Послал бы грозу хорошую, чтобы помешала сборам!

— После молитвы я получил известие, что ни Уйлаки, ни Хуняди, ни Перени, ни Розгони не стали еще лагерем в Ракоше.

— Да, но и к нам не прибыл покуда господин Ласло Гараи... Будет весьма досадно, ежели он вместо Буды в Ракош завернет.

— Ах, нет, нет, он-то не завернет туда нипочем! Я его и ребенком помню. Знаю, не станет он якшаться со всяким сбродом. Слишком горд. Да и разум не к нам ли его тянет — еще больше, чем сердце?

— Уйлаки тоже следовало бы с нами держаться, однако же он туда свои стопы направил...

— Его честолюбие туда увлекло. Первым быть желает! Иначе разве стал бы он шатер свой разбивать подле Янко Хуняди, которого не выносит!

— А Янко-то Хуняди как пыжится, глядишь, и вовсе лопнет.

— Он человек не злой, — снисходительно улыбнулся епископ. — Не злонамеренный человек, вот только разум у него не очень отшлифован. Интересов страны соизмерить не может.

— Слыхала я, в южных районах и возле Варада мелкие дворяне очень к нему тяготеют, — вмешалась Барбара.

Она снова была прежней твердой и властной женщиной и сидела на своем месте, будто на троне: ни следа недавней борьбы нельзя было заметить на ее лице. Граф Фридрих посмотрел на ее с удовлетворением, почти с благодарностью.

Отворилась дверь, и вошла Елизавета об руку с графом Ульрихом. Она села рядом с матерью и внимательно всех оглядела, будто ожидая от них ободрения или обещания, что все уладится.

— Челядь дворцовая совсем сбесилась, — сказал Ульрих. — Мой стремянный говорит, будто нападения

боятся. Вот и видно, что никогда в бою не были. А я так скажу: не повредил бы им добрый пляс с оружием в руках!

— Брось, Ульрих! Глупостей-то здесь не болтай! — прервал его отец, глазами показав на Елизавету.

Молодая вдовствующая королева сидела бледная, похожая на больного воробья; немного погодя она заговорила жалобным, тоненьким голоском:

— Всегда-то вы о худом речь заводите, господа! Сказали бы что-нибудь сердцу любезное.

— Выдадим тебя замуж, сестрица-королева! — сказал Фридрих с деланной веселостью. — Это любезно твоему сердцу?

— Один жених уже имеется, — продолжил шутку епископ Сечи. — Поляк Владислав. Вот уж про кого не скажешь, будто староват он...

— Глупости какие! — вздохнула Елизавета, совсем поникнув. — Он мне разве что в сыновья годится...

— Вот и будет кому играть с новорожденным! — рассмеялся Ульрих.

— Но сумасбродные дворяне его королем выбрать желают...

— Это Уйлаки могут. Купить себе короля хотят.

— Я больше не выдержу! — воскликнула вдруг Елизавета. — Нет больше мочи сидеть тут, время терять. А ночью к тому же мне сон худой снился.

— Это дитя тревожило тебя, — успокоительно проговорила ее мать.

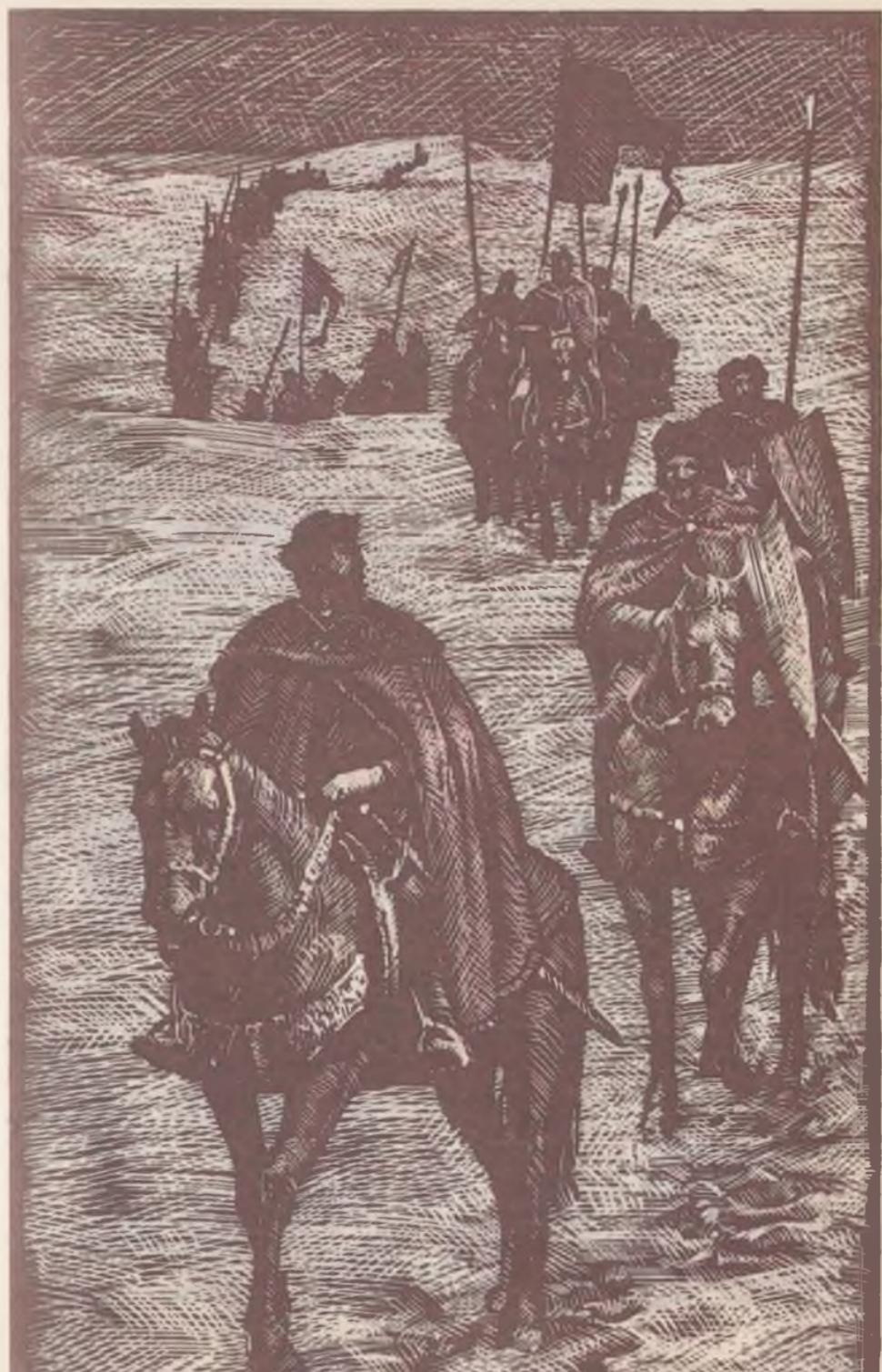
— Уеду я отсюда.

— Куда ж ты поедешь в твоём-то положении?

— Все равно мне, все равно, лишь бы уехать. Если останусь, уroda рожу, знаю. Только и дела, что на ваши милости любоваться да речи всякие слушать. Погубить меня хотят. Все тут мне недруги!

Губы ее побелели, слова вырывались с хрипом. Потом она ослабела и заплакала. Мать обняла ее за плечи, успокаивая, гладила по спине, мужчины беспомощно переглядывались.

— Не плачь, государыня! — произнес епископ Сечи с испуганной улыбкой. — Только не плачь, милостивая королева! Мой дворец в Эстергоме — место спокойное. Утром можно и в путь тронуться...



День клонился уже к вечеру, будайские горы еще не были видны, а Хуняди и слышать не желал о том, чтобы остановиться на ночлег в ближайшем селе, как ни уговаривали его Янку и Михай Силади.

— Край нам знакомый, Ракош уже недалеко. А что гор не видно, так то их туманом скрыло.

— Полночь минет, покуда дотащимся. А утром бы, отдохнувши, и прибыли.

— Нынче непременно прибыть должны! — упорствовал Хуняди. — Я писал воеводе, что к новому году приеду. Хоть на самую малость, а надо раньше поспеть. Пускай никто сказать не посмеет, что я слова не держу! А вы лучше б себя да солдат подгоняли, чем меня сердить!

Повсюду, куда хватал глаз, земля прикрыта была белым одеялом, на девственной белизне выделялись лишь сами путники да стаи черных ворон, с неистовым карканьем следовавших за ними целый день в надежде полакомиться лошадиными трупами.

Бела была и дорога, по которой они ехали, она сливалась с лежавшими по обе ее стороны полями, так что трудно было не сбиться с пути, к тому же под снегом совсем не видно было рытвин и ухабов. Несчастные, загнанные лошади, хрипя и шарахаясь, с трудом одолевали путь, но колени, сжимавшие их ребра, не давали им пощады. На спокойном фоне зимнего поля весьма странно выглядела эта тревожная гонка.

Хуняди обернулся и посмотрел на длинную, темную колонну воинов, змеившуюся на этой белизне, словно выписывая на ней его заветные чаяния. Зрелище воспламенило его сердце, разрывая зимнюю тишину, он гикнул низким голосом, напоминавшим крик выпи, и припустил коня вскачь.

— Видала б это твоя сестра! — яростно и как бы свысока бросил он Михаю Силади. — Только разок бы увидела, Михай! Я тебе говорю, в ладонь бы мне сердце свое положила.

— Может и душу, дурной! — фыркнув, рассмеялся Янку.

— Клянусь, и душу тоже!

Большими глотками он пил чистый, холодный воздух, и испытываемое наслаждение как бы выпустило на свободу обычно скрытые в глубине его души чувства, — Хуняди заговорил хвастливым тоном:

— Вот увидите, новый год нашим годом будет! Таких чудес понаделаем со страную этой, что достославные вельможи все только диву дадутся — конечно, ежели мы позволим им удивиться. Многие еще — те, что ныне знать обо мне не желают, — узнают, кто такой Янко Хуняди. Эй, магистр Балаж! — крикнул он, оборачиваясь.

Священник Балаж подскакал к нему.

— Записал ты пророчества той старухи из Сегеда?

— Да, господин бан.

— Так вот, с середины нынешней ночи, с начала нового года, следи, как они по очереди исполняться будут. О нечаянностях и всем, чего нет в пророчествах, тоже записывай. Чтобы ничего не потерялось — у меня два сына растут, пусть по записям этим разуму набираются.

— Но-но, брат! — сказал Янку. — Могут и такие записи случиться, что ты не дашь их с чистым сердцем сыновьям в руки...

— Ты только не каркай! А впредь, если станешь худое пророчить, ступай к воронам, да и судьбу их с ними раздели.

— Тогда лучше помолчу.

— И умно сделаешь. А ты, магистр Балаж, понял мои слова?

— Да, господин бан.

— А как у тебя с гуситской заразой, добрый пастьрь? Давненько я тебя не исповедовал, а ведь отец Якоб передал тебя мне под присмотр. Очистился от заблуждений-то?

— Стараюсь истину в душе воцарить, господин бан.

— Вон как ты хитро ответил мне! — рассмеялся Хуняди. — А о том, какова истина, которую воцарить хочешь, и умолчал!

— Правой веры истина, покой дающая.

— Ладно, ладно, и это не многим больше того, что ты раньше сказал. Ну, борись, борись, не стану тебя смущать. Все равно от своей судьбы никому не уйти. Напомнить только хочу, конечно, священник Якоб говорил тебе про это, однако не повредит, ежели и я повторю: не то истина, что истиной кажется, а то, что на деле добрые плоды приносит.

Балажа задел небрежный, поучительный тон, и он обрадовался, когда бан отпустил его с миром. За время

короткой службы у Хуняди он полюбил этого простого, но искреннего сердцем воеводу, однако теперь, когда бан с такой неуместной легкостью отнесся к его душевным терзаниям, Балаж крепко обиделся. Все можно сказать с шуткою и на одном дыхании, но станет ли от этого яснее, что же такое добро, которое утвердиться должно делами истинными? Ведь именно об этом он, Балаж, и по-сейчас сам с собою договориться не может... Хорошо бы спросить у бана: сам-то он на чем с собою поладил? Может, так порешил: то и есть добро, что его, бана, все выше подымает, на всю страну возвеличивает?.. Но польза-то кому от такого добра?!

Местность в этом краю, хоть и более пересеченная, выглядела однообразной: малые и большие холмы то и дело скрывали горизонт и растянувшееся войско, подымавшееся вверх по холмам или рысью спускавшееся в долины, напомидало змею, извивающуюся меж комьями земли. Вот они опять сошли в долину, и перед ними возникла маленькая деревенька. Сверху они еще видели, как во дворах поили скот и занимались иной работой, но, пока прискакали туда, деревня словно вымерла, как будто холера погубила все живое. Дворы были пусты, крытые камышом и бурьяном лачуги мрачно молчали, даже лая собачьего не доносилось, будто и псам рты позавязывали. Деревенька походила на ежа, свернувшегося и замершего перед могущественным врагом.

Бан разгневался и грозно сыпал проклятиями:

— Неужто мы грабители, что от нас прячутся? Ежели бы не спешное дело, я бы поучил их храбрости во славу старого года! Запомнили бы у меня уходящий год!

Едва миновали деревню, среди войска неожиданно поднялась суматоха, и хвост колонны оторвался, отстал от прочих: у двоих воинов сразу кони сломали ноги. Пока целились им в сердце копьями, чтобы долго не мучились, пока пригнали из арьергарда двух запасных коней, голова войска ушла далеко вперед. Пришлось припустить коней, чтобы догнать ее. Многие воины ворчали, роптали на бесчеловечную гонку, но осмеливались делать это лишь тишком и только среди своих, скорее ради собственного удовлетворения, чем в надежде на реальные результаты, — ибо там, где речь заходила о неповиновении, господин Янош шуток не признавал. Под Середом он приказал подвесить на ночь двух солдат за то,

что стали жаловаться, будто отдыха мало дают. Вот и дали им отдых!

— Ежели я терплю — тот, кто платит вам, — то уж вы-то, от меня плату получающие, терпеть обязаны! Для солдата повиновение, дисциплина — прежде всего, без этого нет войска! — кричал он.

И все понимали, что он прав, даже наказанные, слезно, но безуспешно молившие о пощаде: до утра их так и не отвязали.

Пример этот жил в памяти воинов, никто не желал оказаться новым страдальцем, поэтому все спешили из последних сил.

Быстро спускался вечер, окутывая их все более темным покрывалом, звезды не светили на небе, не видно было и луны, только поблескивал слегка снег. Вокруг все выглядело безжизненным, навевало тоску, — необходимо было хоть какое-то утешение в этот потонувший в мучительной гонке предновогодний вечер, и вдруг где-то в середине войска раздалась песня:

Куда едешь, куда скачешь, солдатик?
Что так бледен, чуть не плачешь, касатик?
Оттого солдат наемный так бледен,
Что до милой не доскачет, не доедет...

Две последние строки они повторили, а потом запели дальше:

Ох, до милой не доскачет, не доедет —
То-то он, солдат наемный, так бледен.
А еще он оттого чуть не плачет,
Что солдата смерть в дороге обскачет...

Они снова повторили последние строки, а потом грянули последнюю строфу:

Ох, солдата смерть в дороге обскачет —
То-то он, солдат наемный, чуть не плачет.
Смерть ему последний талер заплатит! —
То-то бледен так наемный солдатик...¹

Конечно, не слова песни, а скорее разудалый напев ее веселил сердце, — ведь песня, она и есть песня, а человеческая печаль, звучащая в ней, все ж не такая злая,

¹ Перевод В. Корчагина

какую навевал этот сгнувшийся в зиме край, — и окочевевшие души немного оттаяли. Однако и петь долго не пришлось: бан, ехавший впереди, пустил коня рысью, и воины должны были последовать его примеру, если не хотели отстать; дорога же была скверная, и трясло так, что звуки песни срывались с губ вразнобой, как бы отталкивая друг друга. Люди вновь умолкли, сосредоточенно глядя на дорогу.

Давно уже наступила ночь, когда, вынырнув из-за очередного холма, они увидели наконец на раскинувшейся впереди равнине красные маки лагерных костров: то была окраина Ракоша. Еще один захватывающий дыханием бросок, и отряд Хуняди подскочил к кострам.

Бан тотчас же отдал приказ разбить лагерь, а сам, узнав, где расположился воевода Уйлаки, в сопровождении Янку и Михая поскакал туда. Как обычно, у шатра Уйлаки стояли на страже алебардисты, но сейчас их вид не раздражал Хуняди: он испытывал теплое, доброжелательное чувство к воеводе. Оставив коней стражам, они вошли в шатер. Их встретили громкими веселыми восклицаниями:

— Бан прибыл!

— Виват Янко Хуняди!

— Сдержал слово, все же к новому году приехал!

Помимо воеводы, в шатре находились Петер Перени, Шимон Розгони, Понграц Семиклоши и еще несколько человек, Хуняди незнакомых; с неизменными кубками они возлежали на шкурах, а посередине шатра в котле подогревалось вино. Уйлаки, лениво лежавший на шкуре, поднялся навстречу вошедшим:

— А ты слово держишь, достойный бан!

К сердцу Хуняди прихлынула радость, когда он остановился перед крепким красавцем Уйлаки. А Уйлаки, гордый, надменный Уйлаки, обнял бана.

— Налей господам, да поскорее! — приказал он своему оруженосцу, а затем и сам взял кубок в руки и громко выкрикнул:

— Виват польскому князю Владиславу! Виват венгерскому королю Уласло!

— Виват Владиславу! Виват Уласло!

Все выпили. Виваты следовали один за другим: в честь нового года, потом в честь Уйлаки, бана и всех по очереди. И за каждого пили вино. У Хуняди с обеда, с полудня, куска во рту не было, да и вообще он плохо

умел пить, вино сразу ударяло ему в ноги и голову. В иное время, выпив, он становился печален, ему хотелось плакать, однако теперь хмель быстро развеселил его: он смеялся всему, смеялся громко, хохотал во весь рот. А когда появился цитрист и господа затянули лихую быструю песню, он вспомнил старину и пустился в такой бешеный пляс, что чуть шатер не обрушил. Господа пели, хлопали в такт ладонями оземь и восторженно выкрикивали:

— Вот подлинно рыцарская удаль!

— От самого Хуняда на коне прискакать и плясать еще!

— Этак и молодой не каждый сумеет!

— Редкостный муж этот Янко Хуняди!

Похвалы приятно щекотали самолюбие, и Хуняди плясал с еще бóльшим усердием. Сначала отбросил в угол полушубок, затем бекешу, рубаху и, почти оголясь до пояса, лихо выделывал колена одно за другим. Волосы, вырывавшиеся из-под гребней, так и летели вокруг головы, били его по глазам, по щекам.

Наконец, тяжело дыша и мокрый как мышь, бан рухнул на шкуры. Уйлаки подтянул его к себе и, положив руку ему на плечо, дыша винным перегаром прямо в лицо, запинаясь, проговорил:

— Ты славный парень, Янко Хуняди! Никогда не забуду, как ты отвесил мне оплеуху, но зла на тебя больше не держу.

— Неужто все еще помнишь, господин воевода? — Хуняди рассмеялся.

— Можно ли это забыть? Ничтожный, мелкий дворянчик — и кому? Мне! Но не беда! Ныне ты уже не мелкий, ничтожный дворянин. Я же — великий воевода Уйлаки. И если мы сольем воедино нашу волю и прокричим: «Виват Владиславу!» — то будет это уже: «Виват Уласло!»

С пьяной спесью он громко выкрикивал:

— Никто не посмеет призвать меня к ответу за то, что с румыном Янко якшаюсь! Я воевода Уйлаки, все остальные — ничтожества. Стране немецкое засилье грозит. Как ты говорил тогда в Тительреве? Сокрушим их? Так сокрушим же их, Янко Хуняди, довольно смотреть, как глумятся они над страной нашей!

Мало-помалу все осовели и стали собираться домой. Сели на коней и Хуняди с Янку и Михаем. От скачки на

свежем, холодном воздухе бан быстро протрезвел; когда же в проясненном его сознании замелькали картины ночного веселья, он ощутил горький привкус во рту. Бан чувствовал себя так, словно он в течение долгих недель, даже месяцев, готовился к большой радости, а когда она пришла, увидел себя обманутым и устыдился своих прежних чаяний. Хуняди в самом деле испытывал стыд и досаду: не так представлял он себе эту встречу. Было стыдно и перед Янку с Михаем.

Бан ехал в угрюмом молчании. Виват Владислав! Виват Уласло! Конечно, виват, но потому только, что так сказал Уйлаки? Нашел себе дурачка и хочет использовать?..

Хуняди молча вошел в готовый шатер, но перед тем как лечь спать, приказал юному Цираки позвать священника Балажа. А когда тот предстал перед ним, очень серьезно спросил:

— Ты еще помнишь мои слова? Готов записывать?

— Готов, господин бан.

— Как я сказал об истине?

— Не то истина, что истиной кажется, а то, что на деле добрые плоды приносит...

— Вот это и поставь перед писаниями твоими, магистр Балаж!

8

Черная летняя ночь объяла все вокруг, свет множества звезд сливался на небосводе в единое молочно-белое сияние. Повсюду царил глубокий покой, лишь изредка слышался вой заблудившегося камышового волка, или из болотистых плавней Рабы доносился похотливый рев выпи, подыскивающей себе пару. Однако чистая тишина летней ночи даже эти звуки переделывала на свой лад, вплетая их в торжественную мелодию извечного древнего гимна. Крепостные, сидевшие вокруг лагерного костра, глубоко ощущали душу ночи, которая была им вечной нянькой, — не всегда, конечно, она мирно их баюкала, как сейчас, бывала иной раз сварлива, доводила до слез, но они чувствовали изливавшуюся на них благодать, и если роняли два-три слова, то делали это так, чтобы не потревожить ее чистый разлив. В рыжих отсветах пламени костра их было не более двадцати человек,

главным образом молодых парней. Остальных заманила ночь, которая, словно и не прерываясь светом дня, тянулась уже долгие недели. Одна группа ушла совсем недавно. Это им вослед неслись теперь тихие, добрые напутствия:

— Двое суток, и они дома...

— Ежели и ночью будут идти...

— Теперь ночью-то еще сподручней идти, нежели днем...

— Что-то дома их ждет?

— А мы когда же двинем? — задал долговязый парень искушавший их всех вопрос, но ответа и ждать не стал, поднялся и подбросил охапку сухих веток в затухавший костер. Так никто и не ответил ему, все сидели, уставившись на костер, смотрели, как трещит охваченная пламенем охапка хвороста.

— Пора бы уж маленько хунядцев потревожить, — сказал один, нарушая сосредоточенное молчание. — Сколько ночей минуло, а мы их и не беспокоим...

Но в словах его не было подстрекательства; они прозвучали скорее как подначка — так дома, в селе, парни подбивают друг друга нарушить ночной сон какой-нибудь девицы. Никто и не заворчал на него, не отчитал за его слова. Распрямленные косы валялись рядом в траве, словно и косы едва могли дожидаться, пока их снова согнут, направят, и будут они смущать покой лишь трав да посевов... Все сейчас выглядело так, словно ночь эта была не перерывом в кровавых сражениях, а безостановочным продолжением спокойно катящегося бытия.

За кругом света, отбрасываемого костром, в светлой ночи стояло на страже многое множество шатров, рядом с ними, хрупая травой, тихонько двигались спутанные кони. Воины — не считая выставленных часовых и сидевших у костра крепостных — спали.

Это было войско Цилли, которое с середины весны, медленно обороняясь, оттягивалось к Дунаю от Верхней Дравы и, подобно обложенному со всех сторон, загнанному волку, иногда злобно огрызалось, нападало на врага, уничтожая и его, и мирное население. Особенно лютовали примкнувшие к армии крепостные, взявшиеся за косы и мотыги. Они не получали никакого жалованья от господина Цилли — платою было то, что они сумеют захватить, но служить их заставляли на совесть. Они даже

чувствовали себя словно в долгу пред графом, который согласился их принять в свое войско: ведь они все равно погибли бы между двумя сражающимися армиями — как зверье в пору лесного пожара, — если не стали бы на ту либо иную сторону. А так, по крайней мере, их гибель имела хоть какой-то смысл. Им предоставлялась свобода грабить все оставляемые войском замки, села, к тому же они могли, помимо добычи, дать выход накопившейся горечи за потревоженную свою жизнь. Кое-кто из них хорошо знал этот край, каждую скрытую дорогу, каждую тропинку меж холмами и спускающимися к Задунайщине горами, — и по ночам они частенько нападали на стоявших лагерем воинов Хуняди. И если кого настигали, пощады не было. В хунядцах они видели врагов, ибо от них приходилось спасаться. А граф Ульрих еще специально натравливал их, распространяя через своих людей слухи о том, что Хуняди участвовал в разгроме Антала Надя Будаи... Имя этого вожака крепостных долетело и сюда таинственными путями легенд и людской молвы, а выраженные в них мечты и надежды чудесно возвеличивали образ героя в глазах бедноты.

Несколько месяцев, не прекращаясь, шла беспощадная война между двумя войсками, но развязки не предвиделось, так как войско Цилли в открытый бой не вступало, а беспокоило врага лишь мелкими стычками. План графа Ульриха заключался в том, чтобы, измотав противника и истребив все продовольствие, заманить его к Комарому, куда к началу сентября Искра сулился прислать несколько тысяч воинов, а там оттеснить в район, где все продовольствие уже уничтожено, и разгромить воинов Хуняди. Все старания Ульриха сводились к тому, чтобы отступление не было слишком быстрым, дабы не попасть к Комарому раньше времени, — ведь если не придет помощь, этот бешеный Янко прижмет его вместе с войском к Дунаю. Оно, конечно, если сдать... но об этом Ульрих и думать не желал. Уж лучше прямо в Дунай, чем сдать неотесанному выскочке да крикуну!.. Но подходило к концу лето, близилась осень, положение армии Ульриха все ухудшалось: Хуняди сильно теснил его, и Дунай был совсем недалек. Крепостные начали разбегаться. Тоска по оставленным, брошенным на произвол судьбы семьям, а потом и лихорадочный зов страдного лета околдовали их: по ночам группами, теперь уже не беспокоя воинов Хуняди, а избегая их, ухо-

дили они по тайным дорогам и тропинкам в оставшиеся позади районы, откуда бежали сами. В конце концов разбежались почти все, кроме вот этой горстки молодых парней, сидевших вокруг костра: их не терзали заботы о семье, разве что грызла тоска по какой-нибудь девушке.

Они сидели, глядя на искры, вылетающие из костра, в котором потрескивали ветки.

— Пора уж коноплю теревить, — медленно проговорил один.

— Корень у ней еще крепкий, не рвется.

— В эдакую жару да чтоб не рвался?

— Грубая конопля будет! Тонкой кудели не даст, только толстую паклю.

— У девок, как прясть станут, прялки поломаются...

То один, то другой на корточках, неловко, будто двухдневный утенок, подбирался ближе к костру или отодвигался подальше. Большинство отодвигалось, ибо ночь была теплой и спины не зябли, только Мишка Рока сунул голые подошвы чуть ли не в самый огонь — казалось даже, что запахло паленой кожей. Прешлой зимой, когда он на барщине камыш косил, лед под ним обломился, бочкоры пропитались водой, а иных, чтобы переобуться, у него не было, так и примерзли бочкоры к ногам. С тех пор даже в самую жару у него ноги стынют.

— Ты, дурной! Огонь-то, почитай, колени сейчас прихватит! — подтрунивая, говорили ему. — Того и гляди, пламя зад начнет лизать!

— Может, накормить нас хочешь жареным лисьим бедрышком, Рока¹?

— Да, тебя бы ни на каком дознании колдуном не признали, испытание огнем выдержал бы.

— Эдакую бы натуру да Антала Надя товарищам, которых на угольях поджаривали...

— Худая это натура! — горько проговорил Рока. — Вечно зябнуть не лучше, чем единожды сгореть...

Последние его слова означали, видно, больше, нежели простую жалобу на то, что зябнут ноги, ибо все оставили шутки; каким-то беспокойством повеяло на них из ночи. Долговязый парень, который раньше слов-

¹ Р о к а (rôka) — лиса (венг.)

но нехотя и со вздохом предлагал сделать вылазку на Хуняди, теперь повторил твердо, словно приказ отдал:

— Пошли на Хуняди!

Остальные и сейчас ничего ему не ответили, но поднялись от костра, взяли в руки косы и, пригнувшись, гуськом, неслышно пошли к камышам Рабы. Мишка Рока быстро натянул бочкору, завязал их и, хромая и потряхивая ногами, будто наступившая на угли кошка, отправился за ними вслед. Брошенный костер задремал, вскоре угли и жар, что оставался от мигом угасшего хвоста, скрылись под тусклым покровом пепла.

Граф Ульрих сидел на шкуре, расстеленной на земле у шатра, и слушал дивную, звонкую тишину ночи. Все вокруг спали, даже его оруженосец посапывал, растянувшись на пороге шатра. Граф любил ночные бдения наедине с самим собой: в такую пору он всегда без помех находил самые ясные и убедительные ответы на обступавшие его вопросы. Еще недавно, всего лишь несколько недель назад, он даже не ложился почивать до тех пор, пока не услышит устрашающий рев крепостных, напавших на хунядцев, и ответный рев потревоженных врагов. В такие минуты на сердце его нисходил приятный покой, ощущение, что он не совсем одинок, и в глубине души возникало никогда им не испытанное теплое чувство к крепостным, которые воевали, вкладывая в борьбу все сердце, всю ненависть, как и он сам... Все сердце и всю ненависть — не так, как наемники, которые ворчали и роптали из-за того, что он остался им должен за несколько недель, говорили, что не станут воевать, не получив своего... Да и другие хороши — бросили его в беде. Барбара и Елизавета все бегают, пороги обивают: и к императору Фридриху обращались, и к Искре, — но крупных сумм, разумеется, достать не могут. А войска — подавно, если только обещание Искры не окажется все-таки правдой. Отец Ульриха укрылся в скалах Карста, в крепости Лика, все Гараи на сторону Уласло перешли, будто вернее их и не было. Епископу Сечи папа приказал, правда, вернуться к Елизавете, но тот даже для виду не помогает, только что Уласло прямо не поддерживает.

При таких обстоятельствах для его ушей и подлинно не могло быть музыки более прекрасной и усыпляю-

щей, чем испуганный рев воинов Хуняди, поднятых ото сна нападшими на них крепостными.

Но в последнее время музыка эта звучала все реже...

Из тихой задумчивости Ульриха вывел скользящий шорох. Встрепенувшись, он со страхом вскинул глаза, но тотчас успокоился: пред ним стоял, словно черный камень, обрамленный мерцанием ночи, военачальник Витовец.

— Вести из Комарома? — спросил граф, и от волнения в горле у него пересохло.

— Вестей нет, господин граф. Просто сон бежит от моих глаз, вот я и решил немного пройтись по лагерю. Проверил стражей, их-то не одолел ли сон...

— Да, да, и моих глаз бежит сон...

— А поспать надобно, господин граф. Думаю, завтра у нас будет тяжелый день.

— Хуняди готовится?

— Да, они крепко готовятся. Стада согнали из дальних даже мест, будто до самого Комарома останавливаться не хотят.

— А надо, чтоб они остановились, и не раз. Во всяком случае, нам это нужно, Витовец! — Ульрих вскочил и положил руку воеводе на плечо. — Скажи по совести, можем мы продержаться до конца месяца?

Предводитель наемников немного помолчал и тихо ответил:

— Спроси об этом завтра, господин граф. Завтра в это время. — А потом добавил: — Если бы утром, до восхода солнца, я смог раздать талеры, то был бы больше уверен...

— Откуда мне взять талеры, ежели их нет? — взревел граф Ульрих, будто его по лицу хлестнули. Потом, слегка понизив тон, повторил вопрос: — Откуда мне взять талеры? Пусть еще немного потерпят, император Фридрих обещал за переданную ему корону... А когда разобьем Уласло, получите и прибавку!

— А коли так, надо их покуда вольней держать, позволить брать побольше добычи. Дух у них и поднимется...

— Да у них и так воли этой вдоволь было, — измученно сказал Ульрих. — Все подбирали, что на глаза попадалось.

Внезапно со стороны плавней долины Рабы донесся в ночи устрашающий рев, и тотчас поднялась мешанина

нестройных криков, но столь грозных, что от них кровь стыла в жилах.

— Слышишь, Витовец? — Ульрих схватил военачальника за руку, и в голосе его звучало возбуждение и радость. — Крепостные! Я было думал, что их у нас уже вовсе нет. Видишь, вот кто настоящие воины! Не просят платы, идут ночью и бьют врагов...

— А однажды сожрут и тебя, господин граф, — сказал Витовец чуть насмешливым тоном, но с такой убежденностью, что граф Ульрих не нашелся, что ответить. Некоторое время они прислушивались к шуму ночной схватки, стонам и хрипам, а когда все начало стихать, и сами отправились на покой.

— За нами дело не станет, — сказал на прощанье Витовец. — Если завтра до вечера мы все еще удержимся здесь, наверху, в Дёрской крепости, то будем защищать ее до последнего...

Августовское солнце взошло в странном, беспокойном тумане: небо накаленное, молочно-белое; солнечного диска, словно заслоненного парами, что струятся перед полыхающим ядром огня, не было видно. На всем лежала торжественная тишина, как будто мир готовился к церемонии великого судилища. Солнце еще едва поднялось над горизонтом, но уже стояла столь душная и влажная жара, что при каждом движении люди покрывались потом. Раба внизу и крепостные рвы кругом казались бездонно глубокими, а их грязное, замутненное зеркало в самых жутких красках отражало бледный небосвод.

Поврежденные и полуразрушенные стены и башни сиротливо вздымались к небу, осененные вместо знамен тишиной, но внутри, на широких площадках крепостного двора, казалось, готовились к ярмарке: множество людей, коней, повозок шумно суетилось, давя и толкая друг друга. Сзади, прижатые к стенам, расположились солдаты Цилли, а перед ними широкой, неприступной на вид преградой выстроились в строгом порядке всадники войска Хуняди. Обе армии разделяло шагов сто, не более, но — словно невидимая рука провела меж ними черту, которую никто не переступал, — воины лишь в словесной перепалке отводили душу.

— Ну что, вкусен графский хлеб, подлые вы души?

— Все лучше падали, сыны воронов!



- Зубы обломаете об эту падаль, лисьи дети!
- Еще почувствуете укусы обломанных-то зубов!
- Все повыбиваем, с корнями!

Так они развлекались, перебрасываясь словами, но как бы ни была оскорбительна брань, изливаемая друг на друга, серьезного озлобления не возникло. Будто играли в какую-то игру по заранее установленным правилам, — от каждой армии выходило вперед по одному солдату, и начиналась перебранка.

— Переходите к нам, все одно жалованья вам не видать. Ни Фридрих не даст, ни подлый гусит!

— Может, вам жалованье платят? Уж не батогами ли? Хороший это обычай у Хуняди...

— Батогов вы и от нас получите. Да еще трепку покрепче, коли долго будете горло драть.

— У палки-то два конца!

— Верно, два. Один — у нас в руках, другой на ваших задах! Или мало вас еще колотили?

— Еще поглядим, кто из нас победит...

Когда запас слов иссякал, солдаты попросту отходили в сторонку, возвращаясь к своим делам, а их место занимали двое других. Все прочие, не обращая внимания на поглощенную перебранкой пару, как ни в чем не бывало продолжали свои дела: ели, кормили коней, чинили сбрую, чистили оружие. Но, расслабленные жарой, будто ленивые, мечтающие лишь о болоте буйволы, они делали все медленно, вяло, да и враждебной грызней занимались скорее по обязанности. Воины Хуняди были сыты победами, солдаты Цилли — поражениями, и тем и другим надоела драка, особенно теперь, когда небо над ними словно стусилось, предвещая несчастья и беды.

— Сегодня, видно, затопит сусличьи норы. А может, и деревья выполет с корнем, на то знаки указывают, — сказал Понграц Сентмиклоши сидевшему рядом с ним Андорашу Сентелеки. — Скорее бы уже баны совет кончали. Можно было бы хоть какой-никакой приют поискать. Нынешний день еще покажет нам, почем фунт лиха.

— Навряд ли они быстро кончат. Граф Ульрих будто начинен словами. Да и бан, знаю, не станет нынче только слушать.

— Не надобно и слушать, слова на него терять, обратит его вместе с войском в бегство, чтобы до самой Штирии не останавливался! А станет огрызаться, так

поддать ему по лодыжкам, по косолапым немецким лодыжкам!

— Ты бы с этим отменно справился, господин Понграц!

— И всегда-то я слов не жаловал. Дела ведь лучше! Оттого мы и с рыжим Ульрихом повздорили. За помощь против Фридриха обещал он мне на словах Саколчан, а отдать не отдал, новый совет захотел со мной держать. Ну уж, говорю, нет, уволь! Слово не плата! Сел я на коня и сам взял свою плату за Дравой... А ему это не по нраву пришлось!

У Андроша Сентелеки силы да богатства было еще меньше, чем у Понграца, поэтому он слушал рассказ молча, не хуля и не одобряя. А перед войском, сменяя друг друга, сыпали бранью и угрозами враждующие воины:

— Вам бы посовеститься, что тягу задали, а не горло драть!

— Сами стыдитесь, грабители, сыны воронов!

— А вы, католики неверные, с еретиками-гуситами побратались!

— Хайла свои поганые заткните! — прикрикнул на них Понграц Сентмиклоши. — Слова из-за вас не услышишь. Ежели так сцепиться охота, острием сабли орудуйте, а не языками!

А когда воины и впрямь немного угомонились, снова обратился к Андорашу Сентелеки:

— Я, видишь ли, никогда себя сказками не убаюкиваю. Всегда знаю, что возможно, а что — нет. Я так скажу твоей милости: ныне можно было бы разбить графа Ульриха. Но совет с ним держать не дело: кто с ним совет держит, только проиграть может! Уж я эту рыжую лису знаю...

— Король Уласло мира хочет...

— Больно он молод еще да неопытен. Однако и ему знать должно, что немец Ульрих лишь тогда мирным станет, когда в сердце ему кинжал всадят по самую рукоятку...

А пока внизу, под белесым, предвещавшим бурю небом, людей с самого утра одолевали вереницы мелких хлопот и затаенных мыслей, вверху, в оружейном зале крепости, мрачно и сосредоточенно держали совет. Здесь

не обращали внимания на грозные предупреждения природы: прохладный воздух оружейной был куда удушливее, чем самый знойный день лета. Между тем лишь самые простые, вежливые, почти дружеские фразы летали сейчас от стены к стене.

Граф Ульрих сидел у окна на покрытом медвежьей шкурой чурбаке, спиной прислонясь к стене и откинув назад голову. Бледный свет, пробивавшийся сквозь круглый проем окна, расплывался на его узком лице со впалыми щеками, рыжеватых волосах, бороде и редких усах; он казался очень больным, и лишь прятанная в углах рта странная усмешка нарушала это впечатление. Полуприкрыв глаза, с непривычной даже для него настроженностью, он следил из-под длинных ресниц за тем, кто сидел напротив него, у задней стены. Слова сейчас почти не интересовали его, они служили лишь прикрытием, позволявшим разглядеть каждую черточку, малейшую тень на лице или жест его недруга. Он вглядывался в его голову, видел бодливый широкий бычий лоб, спадающие на шею жирно поблескивающие завитки волос, видел дубленое, с твердыми чертами лицо, густые, нависшие надо ртом усы, лежавшие на коленях руки с широкими, тупыми пальцами, короткие, кривые ноги — даже сейчас, когда Хуняди сидел на чурбаке, они, казалось, обвивали бочкообразное брюхо коня. Ульрих разглядел все, потом единым взглядом схватил целиком это грузное, пожалуй, даже неуклюжее тело, услышал и голос, запинаящийся, спотыкающийся на гладкой равнине слов, — и натянутая, подозрительная усмешка в углах рта выразилась яснее.

Стоящей меж колен саблей он постучал по полу, прося слова, и, не дождавшись, пока Хуняди закончит негромкую, кое-как слепленную фразу, перебил, сразу повысив голос:

— Что, господин бан, видно, боишься меня? Потому и привел с собой стражей? — Кивком он указал на Янку и Михая Силади, стоявших с саблями наголо по обе стороны от Хуняди. — Да если б я и захотел напасть на тебя, силушки-то у твоей милости побольше. Но только у меня и в мыслях нет подобного коварства.

— Братья свидетели будут словам, которые ты скажешь, милостивый господин граф. Я не нуждаюсь в защите! — заносчиво произнес Хуняди.

Однако Цилли с самым естественным видом принял

эти заносчивые слова и тут же вкрадчиво, но серьезно сказал:

— Моим словам и твоя милость достаточный свидетель, господин бан. Король во всем тебе верит. Зачем другим нас слушать?

На этот раз Хуняди приказал Янку и Силади:

— Обождите снаружи конца совета!

Оба, словно опасаясь злобной каверзы, даже не шевельнулись. Янку смотрел на Михая, Михай на Янку, ожидая, чтобы другой сделал первый шаг; увидев, что ни тот, ни другой не собираются сдвинуться с места, бан повторил тверже:

— Я сказал, обождите снаружи конца совета!

Они двинулись к дверям, меряя графа грозными взглядами, словно предупреждали: тебе же лучше воздержаться от коварства! Однако Цилли внимания не обратил на предостережение, сделанное языком взглядов, притворился, будто ничего не заметил, и, не дожидаясь, пока за ними захлопнется дверь, заговорил:

— Ты сказал, господин бан, что я выступил против короля словом и делом? Можешь говорить, благородный бан, ведь ты — победитель. Мои же слова — лишь слова побежденного, того, кто попал в кольцо вместе со своим войском. Но и побежденный, скажу: это твоя милость словом и делом восстал против короля. Мыслимо ли в этой стране двух королей иметь? Ведь нет же! А если нет, то не Ласло ли истинный король наш? Он сын прежнего короля и его оставшейся вдовою супруги. Не ему ли принадлежит трон по праву, а не прибывшему невесть откуда чужаку Уласло?

— Король — тот, кого назвали королем сословия!

— Кроме воли сословий, необходимо иметь и корону. Не Ласло ли пристала корона?

— Краденая корона, господин граф!

— Истинная королевская корона, господин бан!

— Истинность не в золоте, а в воле, которая возлагает корону на голову. Уж не по доброй ли воле сословий выкрала служанка Елена королевскую корону из Вышеграда?

— Елена Коттанер не крада, а действовала по воле королевы, господин бан!

— А кто королеве сей добрый совет подал? — спросил Хуняди с насмешливой улыбкой. — Думается мне, что твоя милость, господин граф. Как и на

коронации ты присягал вместо Ласло... И дальше все бы говорил вместо него, то громко, как присягу, то тихонько, как при краже короны...

Слова его звучали сурово, почти грубо, а договорив, бан и вовсе разгневался, даже с места вскочил. Расставив ноги, наклонясь вперед и набычившись, он стоял у стены, словно окаменев, как будто своей физической силой хотел поддержать шаткие обвинения и окончательно раздавить этого человека, всюду встававшего у него на пути. Коренастый, широкий, с напряженными, короткими, кривыми ногами, с широкими ладонями, сжимавшими рукоять сабли, Хуняди весь подобрался, готовый к прыжку, — это был враг, способный напасть и убить, и если он вступил в переговоры, то лишь затем, чтобы еще больше распалить себя...

Граф Ульрих притворился, будто не замечает его грозной враждебности. Правда, в свете, падавшем из окна, было заметно, что лицо его стало еще бледнее, но голос, когда он заговорил, звучал спокойно, высокомерно, с уверенной властью:

— К чему столь высокие слова, господин бан? Слова должны отвечать истине. Верно, я присягнул вместо младенца Ласло, а ваш ставленник Уласло произнес присягу сам, но по вашей подсказке... Так в чем же тут отличие?

— Отличие в том, чему присягают!

— Но чему же, господин бан? В Фейерваре присяга дана по слову Цилли, а в Буде — по слову ваших милостей. Отличие лишь в том, что ваше слово громче, но лишь потому, что вас больше!

— Ошибаешься, господин граф. Я не за свою правду, за правду страны родной стою. С королем Уласло придет и помощь великой Польши против турок, а они ныне главные наши враги. Молод он, говоришь, подсказывать ему надобно и присягу, и иные слова? Верно. Но он-то хоть понимает, что слово истины слышит, и говорить способен, слово это повторить. Он ведь не грудной младенец, вместо которого и ложную клятву дать можно и ложный закон принять.

Сильно жестикулируя, Хуняди говорил с ненавистью, совсем позабыв о том, что было договорено с королем и прочими вельможами и что сам он почитал за наилучшее — вынудить к миру могущественного вельможу: это лицо с ехидной усмешкой, эти гладкие, скользкие

речи пробудили в нем вдруг память о прежних обидах, и он не совладал с собой. И даже добавил к прозвучавшим уже суровым фразам:

— Может, я не слишком учен. Может, не умею слова нанизывать так, чтоб ушам приятно было. Но никто не властен отнять у меня то, что свершить хочу: честно служить родной стране во благо...

Граф Ульрих недвижно, внимательно слушал эту бурную речь. Он не дал себя увлечь ее потоку, не показал обиды и заговорил по-прежнему тихо и бесстрастно:

— Служить родной стране во благо, сказал ты, господин бан? Можно и так назвать жажду власти. Как назвать, это не важно. Напрасно стали бы называть тебя Ульрихом Цилли и тщетно звали бы меня Яношем Хуняди — иными, чем есть, мы не стали бы. И уж не думаешь ли ты, господин бан, что я не усердствую ради родной страны?! Есть во мне усердие к делам ее, потому и жажду я власти, чтобы стране послужить.

— Затем и с недругами ее сговаривался, господин граф? С австрийским Фридрихом да еретиком-гуситом Искрой...

— Может, поляк Уласло христианином был?..

И так как Хуняди не сумел ему сразу ответить, неожиданно изменил тон и вместо тихой насмешки продолжал искренне, словно исповедуясь:

— Тебе известна история семьи нашей, милостивый господин бан. И моя история известна. Власть у нас была, ничего не скажу, но счастья и покоя никогда мы не знали. Какая-то порча сидит в нас, оттого и не можем мы быть счастливы. Супружество Барбары было не лучше ада. Двух моих матерей убили. Маленькая дочка моя — увядший цветок, да и другой бутон распусться не хочет... Что случилось бы с нами, если на лестнице власти нам принадлежала бы низшая ступень? Приходится карабкаться, господин бан, карабкаться, если не желаем мы бессмысленной жизни, имя которой смерть.

Последние фразы он выговорил, задыхаясь, затравленно, словно и впрямь из последних сил карабкался вверх от преследующей его бессмысленности... Никогда не слышал от него Хуняди таких речей... Только что владевшая им дикая ярость обратилась вдруг в безотчетное, неясное сожаление, и оно вот-вот прорвалось бы у него, но тут граф Ульрих взглянул на него так, будто только

что пробудился и понял, кто стоит перед ним, — во всяком случае, он неожиданно заговорил прежним тоном:

— Мы и есть родная страна, господин бан, мы, высшее дворянство. Укрепляя свою власть, мы усиливаем могущество страны. Куда ведет наш путь, туда и путь страны ведет. Противоречие лишь в том, что одни видят истинный путь здесь, другие там. Для вас он — с Уласло, для меня — с Ласло. И пусть я сейчас один остался, а весь сброд перебежал к вам, даже те, кто недавно со мною был, все же мой путь — истинный путь! Ты победил, господин бан. Ты можешь заставить меня идти с вами, но я пойду сзади и, как только представится возможность, поверну вспять. И со мною повернет весь ваш сброд, однако я, который шел сзади, тогда буду первым!

— Мы приглядим, чтобы ты не смог повернуть вспять, господин граф! — угрожающе произнес бан.

Возникшее было желание все позабыть исчезло. Бан сел на место, будто для него переговоры были закончены, однако гнев его притаился, словно рысь: Хуняди ждал, что ответит ему граф. Но Ульрих сидел, откинувшись к стене и прикрыв глаза. Хуняди взбесило это высокомерное пренебрежение к нему, и он сказал графу — будто стрелу выпустил для устрашения:

— Не прикидывайся, будто спишь, господин граф! Мы все равно не перестанем следить за тобой!

Цилли приоткрыл глаза и, чуть усмехаясь, сказал:

— За нами всегда надо следить, господин бан! У нас вовек не узнаешь, когда мы спим, когда нет...

— Янку! Михал! — крикнул Хуняди ожидавшим у двери родичам, а когда те вошли, приказал:

— Господин граф Цилли со своими солдатами пойдет с нами, чтобы служить королю Уласло. Ваше дело отнестись к нему с подобающим вниманием...

Минул январь, шла вторая половина февраля, а зима все еще не желала сдаваться. Правда, солнце часто выглядывало из-за тяжелых, серых облаков, рассыпая чуть теплые лучи, сулившие приближение весны, но вслед за этим из-за снежных вершин Ретезата в долину снова налетали ледяные бури, словно норovia застать

враспloch людей, околдованных ласковыми поцелуями солнца. Свирепые порывы ветра пробирались в щели дверей, проникали в окна лачуг, из которых выбрали уже мох, чуть не сносили их в Черну. Люди, уstraшенные яростью то и дело возвращавшейся зимы, вновь законопачивали окна, загоняли обратно в свои лачуги дышащих теплом животных, а через несколько дней опять распахивали двери в надежде, что весна все ж приближается... Конечно, весна снова их обманывала, но испытания эти были тут древним законом: каждый раз приметы считались наивернейшими, покуда в них не разуверивались, чтобы затем принять за верные другие приметы... Так играли друг с другом в этих краях природа и люди — то была свирепая, смертельная игра.

Черна вскрылась, льдины ломали, крушили друг друга и уносились вниз по течению.

В селе жизнь шла неизменным порядком, состоя из постоянного повторения незначительных событий, — и люди с убийственной серьезностью вновь и вновь брались за свои пустячные дела, ибо для них эти мелочи и были самым огромным, что им дано: существованием. Когда кто-то умирал, его оплакивали, хоронили, но затуманенные глаза сквозь слезы уже вглядывались в будущее. Если они хотели видеть, следовало как можно скорее стереть с них признаки грусти...

Вечерами крепостные собирались у кого-нибудь в лачуге и обстоятельно, подробно обсуждали дела, возникшие с приближением весны: они делили меж собой труд, и все их мечты витали вокруг ожидаемых урожаев. Они соизмеряли свои чаяния, и, если кто-то заносился слишком высоко, выше других, тотчас же возникала ссора.

В этот грозивший стужею февральский вечер несколько державшихся вместе крепостных семей с причерненского конца села сошлись в домишке Вакаров. Предлог для сборища был — старый Мойса Вакар несколько дней назад надорвался на сплаве леса, и теперь они собрались у его смертного ложа. Стены бревенчатой избушки, казалось, распирало, столько набилось в нее мужчин, женщин, детей. Все они теснились поближе к лежавшему на тряпье в углу старому Мойсе — каждому хотелось, если уж помочь нельзя, хоть попричитать над ним вволю. Но как ни стремились все в круг, поближе к ложу, кое-кому из ребятишек досталось место лишь в

огороженном для животных углу. Они и не возражали, отлично поладив с усталыми животными, устроившимися на ночной отдых. Под покровом темноты и пользуясь невниманием старших, детишки развлекались тем, что высасывали молоко из сосцов разбухшего козьего вымени. Чтоб забраться под козу, они не ленились измышлять самые затейливые хитрости, которые снова и снова заставляли подниматься на ноги жаждавшее покоя бородатое животное. Один из ребятишек ковырнул попавшей ему в руки острой хворостиной под хвостом у козы, а другой, когда старая коза, несмотря на подобное поощрение, не пожелала подпустить их к вымени, схватил ее за бороду и стащил с соломенной подстилки.

С балки свисала глиняная плоская тарелка с салом, однако в воздухе, загустевшем от людского пота и вони животных, огонек ее едва теплился — она лишь мигала, шипела и еще подбавляла вони. На бревенчатых стенах, будто отражения огромных допотопных животных, двигались тени наклонившихся людей. Все, даже самое существование, подчинялось здесь какому-то однообразному ритму: люди одинаково гудели, приглушенно причитая; мерно стонал и старый Мойса, мечась на своем ложе, если же порой, пронизанный более острой болью, он испускал стон погромче, то и это случалось в равные промежутки времени и одинаково громко; а скорчившаяся у его изголовья старуха жена вот уже несколько дней напролет плакала, причитая все тем же гнусавым, пискливым голосом... Остальные члены семьи — сыновья, дочери, невестки, зятья — и набежавшие гости прихлебывали варево из сладкого папоротникова корня, разлитое в долбленные деревянные кружки, и, сделав глоток, обращались к старику с приличествующими случаю словами:

— Теперь твоей милости знатно будет, старый дядька Мойса...

— Небесные ангелы станут тебе прислуживать...

— Встретишься там с Иисусом...

— Приготовь и для нас подходящее местечко...

— Скажи там моей матушке, коли встретишь ее, чтоб спокойно ждала меня, не тревожилась...

— Скажи молодому супругу моему, чтобы ночами покой мне давал, а я схожу летом в Придеве, помолюсь за него...

— Поищи за меня вшей у сыночка моего...

— Расчеши за меня волосы доченьке моей...



Никто и не подумал о том, что старик, быть может, вовсе не хочет умирать: без колебаний и сомнений передавали они весточки туда, за пределы их жизни, даже его старуха жена, не сомневаясь в непреложности приговора, причитала о своем:

— O dumnezeule! ¹ Когда же и я пойду вслед за вашей милостью?

Снаружи выл ветер; до прижатых к земле домишек и людей доносился вой голодных волков с другого берега Черны. Молодой Мойса Вакар поднялся с корточек от ложа отца и воздел руки к небу, чуть не доставая ими балки, словно священник, благословляющий паству и молящий пощады у неба. Он поднял вверх и лицо и громяющим голосом, перекрывая шум ветра и вой волков, возглашал:

— O drac al vânturilor! ² Дьявол зимы, дьявол бури, возьми безгрешную душу отца моего и принеси взамен легкую весну!.. Овцы наши, козы наши просят травы. Дай им ее!

В Хунядской крепости весну ожидали с великим нетерпением. Господин Янош, в каком бы зале крепости ни находился, много раз на дню гулками шагами подбегал к окнам, высматривая погоду. Особенно усердно и часто он делал это после обеда, устроившись с отцом Балажем в оружейной для изучения волнующей науки начертания букв. Правда, мир молчаливого оружия и ржавчины, с адской медлительностью поедавшей его, был не самым подходящим местом для занятий, ибо тут не было даже очага, чтобы, сунув в него пару поленьев, хоть немного согреть воздух, поэтому руки, водившие заостренным гусиным пером, коченели, в особенности же у господина Яноша: его руки сводило и без мороза, ибо он так сжимал перо, так мучительно напрягал силы, выписывая буквы, словно день за днем крушил ряды вражеской армии. Священник Балаж уговаривал его заниматься наукою наверху, в гостиной, где можно было избежать хоть бы мук холода, но Янош всякий раз сердился и говорил, что не зябнет... Доля правды в этом,

¹ О господи! (румын.)

² О дьявол бури! (румын.)

конечно, была — его просто пот прошибал, когда он начинал вырисовывать свое имя, и, покуда добирался до последней буквы, теплая бекеша сама слетала с него. А что руки коченеют — не беда: немного подышишь на них, и можно снова браться за письменные принадлежности. Ну, а если уж совсем умаешься от учения, отличным предлогом избавиться от него было наблюдение за погодой... И тут Хуняди усердствовал вовсю, даже слишком прилежен бывал...

В крепости никто не знал, с каким старанием он занимается каждый день после обеда в оружейной. По крайней мере, он думал, что кроме отца Балажа, истина никому не известна. Сам он никогда ни с кем не говорил об этом, лишь поначалу, когда Янку или Михай стали допытываться, сказал, будто запирается подремать после обеда. Они, конечно, могли спросить, для чего ему священник во время послеобеденного сна, но, видя, как он раздражается, подшучивать перестали. И всем строго-настрого запретили мешать ему спать... Эржебет тоже наказывала детям не беспокоить в это время отца, хотя сама никогда у него не спрашивала, почему на послеобеденный отдых он уходит не в спальню, если уж так нуждается теперь в дневном сне... И бан был очень благодарен жене за ее такт. Свою великую жертву Хуняди приносил только ради этой молчаливой женщины с легкой поступью, ибо сам потребности в буквенной науке никогда не испытывал, но он почувствовал бы себя весьма скверно, если бы хоть раз между ними зашла речь о его занятиях... Он и сам понимал нелепость своего поведения, и в душе стыдился, однако хотел сохранить хоть веру в то, что он один знает о собственных потугах, но вера его тотчас была бы убита вслух произнесенными словами... Если же наступал иной раз момент, когда он мысленно отчитывался перед собой, бан быстро разделялся с назойливыми вопросами, успокаиваясь на том, что намерен увидеть себя еще выше вознесенным судьбой, а для этого необходимо уметь писать хотя бы собственное имя... Но тогда возникал еще вопрос: ради кого он жаждет от судьбы возвышения? Почему с такой мучительной болью одолевает его неудовлетворенность собой?

В конце осени, полный гордого самодовольства, он прибыл в Хуняд из победоносного похода против Цилли. Он испытывал великое удовлетворение от сознания, что

смог привести высокомерного графа к королю Уласло и заставить Цилли присягнуть ему. Когда молодой король сошел с трона, чтобы обнять Хуняди, а потом протянул ему грамоту, которая давала бану право распоряжаться королевскими поместьями в комитате Заранд, в зале находились все старые недоброжелатели Хуняди, теперь сразу же оказавшиеся его друзьями: Гараи, Сечи, Мароти... Он едва дождался тогда конца торжеств, ознаменовавших заключение мира, и, даже не отдохнув после праздников, которые измаяли его не меньше, чем многомесячный военный поход, отправился домой, проделав путь меж Будой и Хунядом в более короткий срок, чем год назад, когда он снялся с места по письму Уйлаки, — так гнала его тоска по жене.

Как неоценимое сокровище привез он ей славу, скрепленную грамотой и печатью, и Эржебет никогда еще не принимала его так тепло, как на этот раз. Ночи их были горячи и губительны. Опьянев от них, он чувствовал, что рожден для вечного горения. Но дни проходили, и слабеющая страсть меркла, превращаясь в то, чем была прежде: тихое, почти бессмысленно тихое и бесстрастное совместное житье. Эржебет жила рядом с ним, молчаливая, сияющая женской чистотой, и занималась делами: заботилась о детях, хлопотала по хозяйству, пеклась и о нем. Обо всем и обо всех она заботилась, и о нем — не более, чем о других. Он не понимал эту женщину. Подбирал объяснения, которые, как успокоительная разгадка, накапливались в нем за десять лет их брака, но и они уже не удовлетворяли его. Он хотел не объяснений, а настоящей, живой действительности. Он вспоминал дни и ночи после приезда своего домой в начале зимы и с нетерпением ждал весны, чтобы можно было снова уехать и снова вернуться. Он еще не знал, куда направится, но важно было не это, а то, что потом он сможет опять приехать. Беспомощность и неуверенность в себе одолевали его.

И так как, погруженный в безделье, он очень много раздумывал о личных своих затруднениях и впервые обнаружил живущего в себе человека, его охватило вдруг жадное любопытство и к людям, которые жили вокруг. Однажды днем, когда они со священником Балажем уселись заниматься наукой, бан настоял, чтобы тот рассказал ему по порядку всю жизнь свою, которой он никогда до сего времени не интересовался. Священник говорил, а

Янош, высунув язык и покусывая его, с детским старанием вырисовывал букочки, но затем бросил это занятие и с нескрываемым, все возрастающим интересом слушал рассказ. А когда Балаж закончил, поспешно и нетерпеливо спросил:

— Скажи-ка, отец Балаж, но скажи правду! Ты, кто объездил столько стран, изучал столько наук, ходил по стольким рубежам веры, что ты думаешь о живущем в нас беспокойстве, которое никогда нас не оставляет? Ведь не только в тебе живет беспокойство, оно есть и во мне, хотя иного рода... Но не равны ли они, наши беспокойства, для взгляда, обращенного на нас свыше?.. Дай мне на это правдивый ответ, умный поп.

Балаж, только что безучастно, равнодушно рассказывавший о себе, лишь повинувшись приказу и желанию своего повелителя, вдруг словно раскрылся, услышав этот обжигающий голос, и ринулся отвечать со всею мукой с недавней его жажды:

— Может быть, мы не знаем еще, где наше место, милостивый господин бан! А кому неизвестно его истинное место в земных пределах, кому неизвестно истинное его место на лестнице человеческих степеней и рангов, кому неизвестно его истинное место в чувствах к своим ближним, кому неизвестно его истинное место в доме божьей веры, — тот не может обрести и покоя душевного... Кто может знать, какой изъязвляет и терзает нас? Человек думает одно, в действительности оказывается иное... Человек думает: ни то и ни это, — в действительности же и то и это — все...

— Э, не нужны мне твои затверженные назубок поповские проповеди! — нетерпеливо вскричал бан. — Дай мне правдивый ответ и не тверди пустые слова! Правдивого ответа жажду, ну, хоть вроде того: когда срамящая нас природа заставляет бегать ночью — значит, к человеку холера пристала; если же перхает он да кашляет целые дни напролет, так это уж чахотка глотку ему царапает!

— Мой ответ еще более правдивый, господин бан, ибо если ночью срамящая нас природа заставляет человека бегать, то у него, быть может, просто живот схватило от жирного мяса либо забродившего меду... Перхать да кашлять можно, и воды холодной испивши, ягодой поперхнувшись, вонючей серы нанюхавшись, — да мало ли еще от чего... Но если человек не находит в себе по-

коя и у него хватает смелости до конца разобраться в беде своей, он непременно найдет в себе один из названных изъяснов...

Священник говорил так откровенно и серьезно, что и Хуняди притих немного; в голосе его зазвучал подлинный интерес, когда он спросил:

— Стало быть, ты все еще не нашел своего места в обители истинной веры?

Вместо ответа священник отпустил голову и помолчал; потом тихо сказал:

— Я уж сказал, милостивый господин бан: человек думает — ни то и ни это, в действительности же и то и это — все...

Погруженный в свои мысли, Хуняди молчал, и тогда Балаж горячо высказал свою просьбу:

— Господин бан, отпусти меня обратно в Каменицу! Дозволь вернуться в мой старый приход, к моей прежней пастве! Не жалуюсь я, хорошо мне подле тебя жилось, ни в чем не испытывал я нужды, что для плоти мило и желанно. Но я в душевном покое нуждаюсь. Чую, здесь мне никогда не обрести его, напрасно сулил это отец Якоб...

— Тебя привела сюда ересь твоя, отсюда ты не уйдешь, — решительно отклонил его просьбу Хуняди.

— Милостивый господин бан, не будь столь сурово ко мне, словно к слуге неверному, хоть я, быть может, и дал к тому повод. Вот ты сказал, что не только во мне, и в твоей милости беспокойство живет. А если так это, господин бан, ты сможешь понять, как губительно то, что творится во мне... Будь ко мне милостив!

Лишь теперь, слушая бурную речь священника, Хуняди взглянул ему в лицо. Он содрогнулся, увидев эти лихорадочно пылающие, глубоко запавшие глаза, бледность осунувшегося лица, болезненный румянец на остро выступающих скулах, — с одного взгляда заметил эту сгорающую молодость и вдруг осознал, слушая жаркую торопливую мольбу, как сильно сдал, сник этот человек за год, проведенный у него. И теперь под впечатлением увиденного он отвечал иначе.

— Куда ж ты пошел бы, безумный поп? — кротко и мягко произнес он. — Куда? Пасти прежнюю свою паству в старом приходе, откуда ты убежал, борясь с самим собой? И думаешь найти там покой, и думаешь, что паства твоя будет внимать тебе с доверием? Не забывай,

кто единожды выкажет сомнение, никогда уже не сможет проповедовать твердость, коя скале подобна.

— Тогда я стану смиренным учеником моих прежних прихожан, которых бросил, убежав столь внезапно. И если они не поверят мне, признаю их правоту, ибо я изменил им! Но отпусти меня к ним, милостивый господин бан, чтобы я мог служить им, покуда позволят силы мои. Не приходским священником, а холопом хочу я стать крепостному люду, которого бросил в нужде его.

Священник исступленно бичевал, обвинял себя, суровые слова, перемежаясь лихорадочным дыханием, слетали с его губ, тощее тело дрожало от волнения.

— Безумен ты, поп, видно, завелась в тебе какая-то хворь либо порча, потому и истязает себя. Как может священник стать холопом у крепостных? Да и что поймут крепостные в твоих проповедях о вере? Уж не хочешь ли вернуться к мятежным гуситским заблуждениям, от коих с таким трудом избавился? Возьмись за ум, а не то придется мне разжечь под тобой костер, чтобы помнил! — сказал Хуняди с ободряющим смехом и потрепал священника по хилой спине.

Однако Балаж не принял шутки, он вскочил из-за стола, за которым они занимались письмом, и принялся так кричать, что вся оружейная загудела:

— Сожги меня, милостивый господин бан, сожги! Искуплением то будет за предательство. Сожги меня, могущественный господин, ведь это лучший ответ на истину. Ибо истина в том, что и ты, из бедняков возвысившийся, властелином большей части страны ставший, и ты ничем не лучше прочих господ! Ты с ними грызешься, верно, говоришь — ради блага страны, но ведь все это только ради обогащения твоей милости... А разве не крепостным и прочему бедному люду принадлежит эта страна, тем, кого ты помог разбить у Колошмоноштора?..

В первый момент Хуняди как будто окаменел от столь необычного зрелища, непривычных слов и тупо слушал проникнутые ненавистью речи, но потом вскочил с места и, побагровев от гнева, заорал на взбесившегося священника:

— Прочь с глаз моих, проклятое гуситское отродье, а не то пришибу! Не будь на тебе поповской одежки, не жить бы тебе за гнусные твои слова!

Из глаз священника хлынули слезы, они лились по

лицу его, пока он медленно пятился к дверям оружейной, но даже на пороге он продолжал сыпать проклятиями, словно фанатичный монах:

— Все вы, вельможи, — подлые грабители народа!.. Это против вас защита нужна, не вы страны опорал!..

Хуняди схватил копьё и яростно пустил ему вслед. Однако дверь за священником уже захлопнулась, острый железный наконечник с резким звоном вонзился в твердое дерево, и копьё долго качалось на весу...

К вечеру священник Балаж исчез из крепости и ни на другой день, ни позже не появился. Из-за него обыскали всю крепость, заглядывали даже в подземные коридоры, по которым никто никогда не ходил, в самые потаенные закоулки, но Балажа нигде не нашли. А стража решительно утверждала, что подъемный мост ему не спускали, стало быть, убежать он не мог. Но куда же в таком случае он подевался и как все-таки вышел? У населявшего крепость суеверного люда в два счета родилась легенда, по которой выходило, что священник перелетел через крепостные рвы с помощью ангелов. Поначалу попадались люди, которые слышали лишь шуршание ангельских крыльев, однако впоследствии нашлись свидетели, лицезревшие и самих божьих посланцев.

Прошло несколько дней, и бан приказал еще раз осмотреть все углы в поисках священника, однако про себя радовался, что того вновь не нашли. Трудно было бы ему осудить этого человека, которого за год, проведенный вместе, он все же полюбил. Но и оставить оскорбление безнаказанным он бы не мог, ведь это было бы равносильно признанию...

К тайной его радости прибавлялось и другое, в чем он ни на мгновение не признавался даже самому себе: он неохотно встретился бы еще раз лицом к лицу с человеком, пред которым так раскрылся...

— Мозги у него набекрень, вовсе помешался! — повторял он про себя, вспоминая слова, которые священник кричал ему. Хуняди видел пред собой лихорадочные глаза, залитое слезами, осунувшееся лицо и все твердил: — Мозги у него набекрень! Вотще помешался!

Но временами ловил себя на том, что спорит со священником, приводит доводы против его обвинений.

— Мы и есть родная страна, мы, могущественные вельможи!

Затем он вспоминал, что слова эти говорил ему в Дёрской крепости граф Цилли, великий враг его, и приходил в еще большее замешательство...

Однако несколько дней спустя в жизни Хуняди произошло событие, начисто вычеркнувшее из головы всякие воспоминания о спорах с Балажем. От короля Уласло прибыл гонец. Он привез письмо, запечатанное многократно печатями Уласло с зубрами и орлами, а в письме — королевскую милость, гласящую, что со дня получения этой весты Хуняди, совместно с Миклошем Уйлаки, ставился воеводой эрдейского края!.. За милость же эту вменялось воеводам в обязанность охранять порученную их попечениям территорию от турок, которые спешно готовились напасть на Венгрию, защищать ее, по крайней мере, до той поры, пока король сможет повести в битву объединенные польские и венгерские войска.

С огромным рвением Хуняди приступил к подготовке, чтобы справиться с доверенной ему ролью. Здесь, в раскаленном воздухе Эрдея, среди бурно меняющихся красок юга страны, куда шли и шли непрерывным потоком беженцы, рассказывавшие об ужасах турецкого нашествия, и в его душу незаметно впиталась постоянная тревога измученной бедноты — и крепостных, и мелкого дворянства. Но в то время как они на каждый новый слух, неизменно казавшийся достоверным, на каждый победоносный шаг приближавшихся турок отвечали исконной дрожью животных, бегущих от опасности, в нем все больше укреплялась воля к сопротивлению. Единственной его мыслью стало требование решительного военного похода против турок; не было ни одного совета сословий — с той поры, как на них стал слышен его голос, — где бы он не говорил об этом. Хуняди уже столько раз высказывал свое мнение, что в конце концов даже самые верные его сторонники начали находить странным это непонятное им усердие... Ведь и они, все значительные представители сословий страны, и прочие власть имущие тоже много делали для защиты от турецкой опасности и желали сделать все возможное, но такой уж страшной, чуть ли не единственной угрозой они ее не считали, как этот Янко из Хуняда. Потому они

легко верили всевозможным слухам о том, что он просто боится за свои владения, которые первыми подверглись бы нашествию турок, и хочет защитить их с помощью других...

Враги не раз бросали ему в глаза подобные обвинения, да и слухи, то в запечатанных письмах, то переданные как сплетня, почти все доходили до его ушей. Была в них доля истины, Хуняди и сам не мог бы этого отрицать. Конечно, он боялся, что разграбят поместья, служившие залогом его стремления к могуществу, власти, но это было лишь одной из причин его растущей, все усиливающейся ненависти к туркам. Ведь если бы Хуняди хотел лишь спасти свои владения, он мог бы поступить так же, как валашский воевода Влад Дракул или сербский деспот Георгий Бранкович: не получив помощи против вражеского нашествия, они отдались на милость султана вместе со своими поместьями, скотом и людьми... Как-то в дни самых жарких сражений за Уласло, когда пришло известие о том, что султан Мурад готовится к захвату Нандорфехервара и с уст Янко сорвались слова тревоги за свой дом, Андораш Бебек, чьи владенья лежали на средней Тисе, с присущей ему циничной развязностью сказал:

— Не печалься, Янко! Султан — тот же король и не хуже прочих. Надобно только седло приготовить, что по вкусу ему придется, а уж поскачет он на том коне, на каком мы пожелаем...

Тогда Хуняди ответил ему серьезно и с искренним внутренним жаром:

— Ты, господин Андораш, не жил годами на берегу Черны и у подножья Ретезата... Ты не видал толп беженцев, спасавшихся от язычников-турок... И отец твой вряд ли, дома бывая, каждый вечер молился о сокрушении турок. Вижу я, в сердце твоей милости не столь крепко врезалась присяга в том, что истинный человек никогда не пойдет на предательство, на соглашение с врагом... Даже если это выгоднее...

Так он сказал тогда, но и позднее не мог лучше объяснить, выразить в словах свой внутренний протест против образа действий румынского воеводы и сербского деспота.

А теперь вновь пришли вести, будто султан усиленно готовится к весне. Доходила до Хуняди и иная молва, доверительная, пробуждавшая подозрения и говорившая

лишь полуправду: будто граф Цилли не успокоился и по примеру тестя своего, деспота Бранковича, рассыпается в любезностях перед султаном... Старается завоевать благосклонность султана, чтобы с его помощью, после смерти дряхлого Твртко, занять боснийский трон, а затем, объединив Боснию с Хорватией, заложить основу новой империи... Здесь, в отдалении, Хуняди не мог установить, сколько истины было в этих толках, но их оказалось достаточно, чтобы, вкупе с прочими заботами, они смутили его покой. Так чувствуют себя запертые в сарае животные, которые всеми нервами чуют приближение бушующего пожара, но вырваться на свободу не могут.

Однако королевская милость — пожалование воеводства и темешского губернаторства — сразу освободила его от бессильного беспокойства: теперь в его руках была серьезная власть, он мог действовать. И Хуняди тотчас начал действовать: разослал проживающим на территории воеводства дворянам-помещикам приказ привести в порядок крепости, набрать солдат, подготовить оружие. Начал готовиться и сам: нанял новых солдат, приказал своим военачальникам обучать обращению с оружием неповоротливых и неуклюжих крепостных парней, хлынувших в Хуняд из дальних краев, выписал немецких и итальянских оружейников, и они трудились днем и ночью, ковали наконечники для стрел, копья, острили сабли. Это были дни суровой, самозабвенной и успешной работы.

И внизу, где жили воины, и вверху, в залах крепостного замка, шло веселье. Это был прощальный пир, устраиваемый по обычаю всякий раз, когда господа собирались на войну или на королевскую службу. Теперь они пировали перед военным походом. Главный военачальник султана Мезид-бей вторгся с огромной армией из Хавашалфельда в Эрдей и, производя ужасные опустошения, двинулся вверх, по пойме Мароша. Неделю назад от эрдейского епископа Дердя Лепеша прибыло сообщение о том, что он со своим войском направляется к Дюлафехервару и к середине апреля ждет туда эрдейского воеводу. Хуняди спешно разослал гонцов к дворянам, сзывая их на войну. Те, кто внял его призыву и кому Хуняд был по пути, прибыли к воеводе и предложили

ему свою службу. Их, правда, было немного, и число приведенных ими воинов не превышало нескольких тысяч, но ждать, покуда кто-нибудь еще откликнется на новый призыв, было нельзя, время не позволяло. Отъезд был назначен на следующий день, а накануне вечером шел, как заведено, прощальный пир. Во дворе замка для солдат зажарили на вертелах несколько волов, не было недостатка и в вине. Весенние сумерки едва опустились на землю, а среди воинов уже царило искреннее веселье: они раздирали жилистое мясо, словно то были не волы, а турки, и на словах давно уничтожили весь турецкий род — только красавиц из гаремов и помиловали...

Но господа наверху не отставали в веселье и в развлечениях. Подана была только третья перемена мясных блюд — ели баранину на ребрышках, а краны бочек уже были отвернуты вовсю. Оруженосцы с деревянными ведрами в руках не успевали бегать в подвал и обратно, а другие — наполнять кубки. Составленные рядом длинные столы на козлах напоминали поле опустошительного сражения. Всевозможное мясо, разложенное на деревянных блюдах, обглоданные кости, соусы и подливы всех цветов и оттенков, густо заляпавшие столы, а среди всего этого — беспорядочно стоявшие винные кубки, словно жертвы лютой схватки заклятых врагов... В довершение сходства по залу неслись победные клики, смешиваясь со словами похвалы сидевшей во главе стола госпоже Эржебет:

— На таком пиру мы, может, и не едали...

— Ежели победим, будет в победе и супруги воеводы доля...

— От такого пира силы наши очень приумножатся...

— На всей родной земле нашей никому не приготовить так бараньи ребрышки.

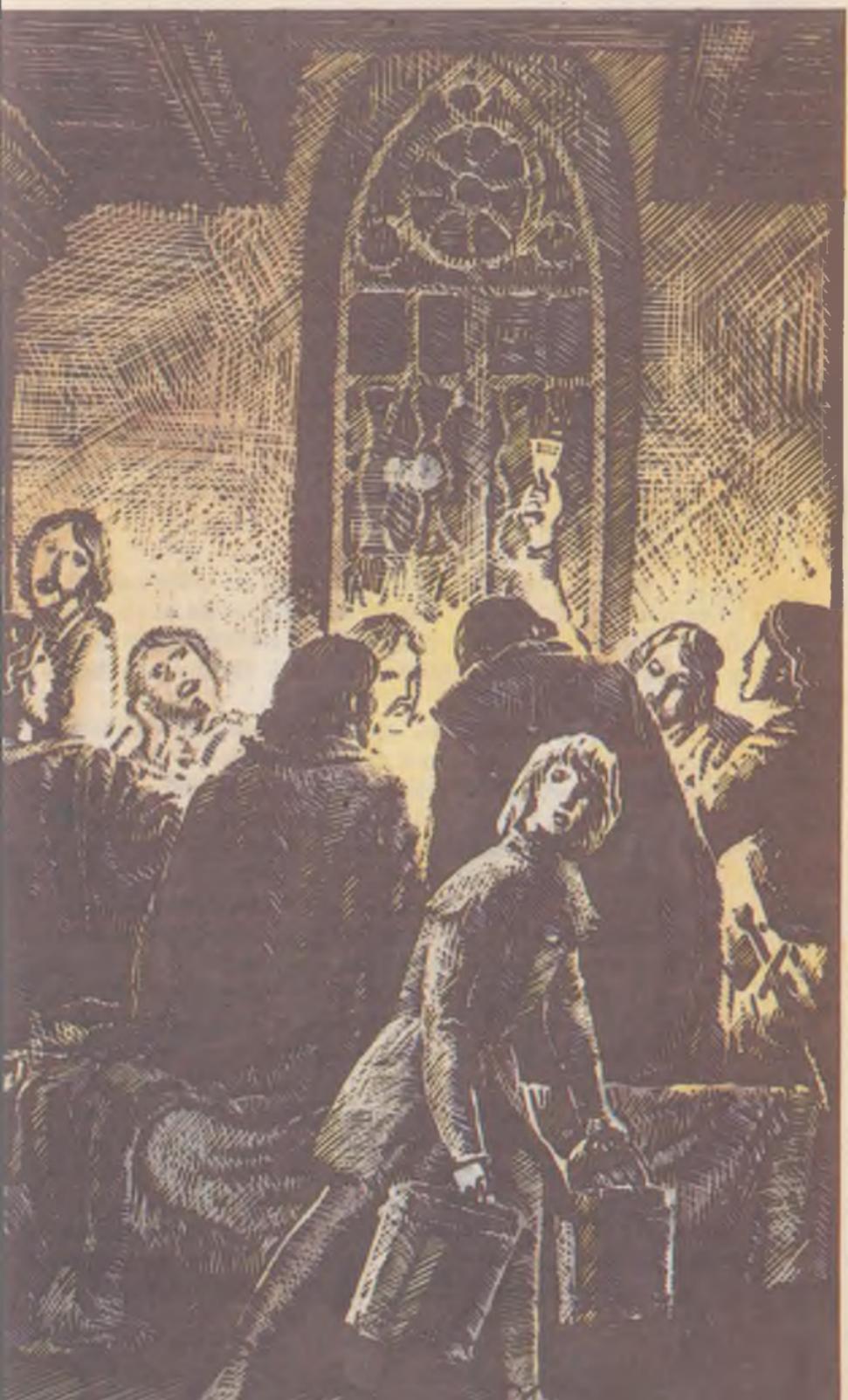
— И луковый соус...

— И подливу имбирную...

— А мой желудок всего более бычьих хвосты с чесноком уважает.

— Ну, ну, медвежьи лапы, салом шпигованные, ничуть не хуже...

Мате Цудар, дворянин из темешских земель, вскочил со скамьи с полным кубком в руке и так гикнул, что чуть глотку на надорвал, а потом провозгласил:



— Виват госпоже Эржебет, красавице жене воеводы!

Возглас Мате был не совсем уместен, ибо еще не пили за короля, но теперь, когда головы и желудки находились в счастливом дурмане, никто даже не заметил этого, и все единодушно поддержали здравицу:

— Виват госпоже Эржебет! Виват красавице жене воеводы!

Эржебет, сидевшая в конце стола в шелковом платье цвета красного вина и в того же цвета уборе на пшеничных волосах, казалась, и в самом деле, прекрасным видением. От шумных похвал и пригубленного вина на белых щеках Эржебет расцвели алые розы, а ее женственная полнота у всех взволновала кровь. Хуняди сидел подле жены и, утопая в блаженстве, глядел на ярко-алые полуоткрытые губы, на которых порхала легкая улыбка. Он был счастлив, потому что давно не видел жену такой веселой и гордой, счастлив, потому что перед любимым здесь мог ею похвастаться. Он тоже встал, когда прозвучал виват в ее честь, выпил вместе с гостями, потом оглядел сидевших за столом дворян, и мелких и покрупнее, — всех этих Хедервари, Апоров, Секеи, Понгоров и прочих, — и, обратившись к Мате Цудару, воскликнул:

— Да уж, красавица так красавица! Впору хоть женой королевского наместника быть!

Сейчас, в хмельном угаре и возбуждении, собравшиеся даже не подумали, что в этой фразе, быть может, скрыто больше, нежели простая похвала женщине, и вновь дружно прокричали виват. А блюда все продолжали вносить. Лишь сейчас последовали в строгой очередности: облегчающий желудок суп, сваренный из воловьих языков с яблоками, зажаренная на вертеле ветчина, запеченные в горячей золе гречишные пышки, от которых их поклонники опять ощутили жажду. Господа ели — уписывали с таким удовольствием, что до ушей и по локти вымазались в жиру. Толстый, с животом, как бочка, и особо отличавшийся в еде Ференц Апор от жадности вместе с мясом проглотил и кость; кость застряла у него в горле, и он начал задыхаться. Тщетно вливали ему в глотку вино — вдруг поможет кости проскочить, тщетно стучали по спине — ничто не помогало: посинев и побледнев, бедный круглый Апор откинулся на скамье, будто готовился умереть, несмотря на все призывы за-

держаться на этом свете. Наконец один из братьев Понгоров припомнил, что Ференц страшно боится щекотки, и, потянувшись к нему, принялся усердно чесать ему под мышками. А тот, словно стрелой ужаленный, вскочил с лавки — смертного своего ложа и так стал смеяться от мучительной щекотки, что кость выскочила у него из горла. Но сейчас даже испуг дворян — что, как задохнется! — не был настоящим испугом; когда же щекотка возымела такой явный успех, настроение веселившихся господ еще больше поднялось.

— Твоей милости турка бы проглотить! — кричали Ференцу Апору. — Мы и его выщекочем из твоей глотки, ежели давиться начнешь.

— Только вот вином не придется запивать, турок-то его не терпит...

— Кто вина не пьет, тот не человек!

— Истинный язычник!

— А я бы ради вина и себя дал проглотить...

— Особенно его милости Апору, из коего потом твою милость выщекотать можно...

Над столами понеслись веселые непристойности. Старый Шимон Хедервари, хвативший лишку или не умевший пить, как положено, совсем разошелся:

— Куда лучше девиц заставить нас глотать. Только надлежащими частями...

Кто-то добавил:

— Девиц-то и пощекотать не доведется, чтобы твою милость вызволить, — на что ты им нужен...

— От твоей милости навряд ли у них что застрянет...

Однако прочие гости, увидев замешательство госпожи Эржебет, приказали бесстыдникам воздерживаться от подобных речей. Не то чтобы они не привыкли говорить скабрзности в женском обществе и не то чтобы женщины так уж неохотно их слушали, хотя и краснея и протестуя, но там, где присутствовала лишь одна дама, вести подобные речи считалось неприличным. Веселье, неутолимое, сдобренное вином веселье так и рвалось наружу, покуда не нашло себе отдушину в песнях, хвастливых рассказах о военных походах и прочих громогласных беседах. Старый Шимон Хедервари после неудачной своей выходки стал рассказывать о том, как однажды, в молодости, сражаясь на стороне Сигизмунда против гуситов, он в пылу атаки вдруг никак, ну никак

не смог вытащить саблю из ножен, потому что накануне забыл вытереть лезвие от крови, и сабля заржавела. Дергал он, дергал — никак, черт побери, не вылезает, а они меж тем уже сошлись с гуситами, и огромный балбес-чех лезет прямо на него. Делать нечего, отцепил он саблю свою вместе с ножнами и саданул гусита по башке. Да так сильно, что сразу пополам чеха и разрубил: одна половина с коня повалилась направо, другая — налево.

— Вот как я в ту пору силен был! — с похвальбой добавил он.

— Может, ты и железо палкой разрубил? — насмешливо спросил Мате Цудар, сомневаясь в достоверности рассказанной истории, а Хедервари разгневанно вскочил с лавки и, показывая иссохшие от старости руки, закричал:

— Погляди сам, как я силен, ежели не веришь. Я и ныне мог бы уложить тебя!..

Их едва удалось примирить.

О предстоящих сраженьях речь почти не заводили, больше говорили о прошлых, о давно минувших, а затем и их оставили в покое и перешли к песням. Появились цитристы, потом волынщики, по очереди игравшие каждому его любимую песню.

Хуняди прежде всего приказал играть любимую песню жены, которая начиналась словами: «На устах моих печать». Эржебет подарила ему за это улыбку, тогда он потребовал веселой музыки и — чего не делал в Хуняде со времен буйной молодости — пустился в пляс. Сначала он танцевал один, чисто, молодецки выделял ногами фигуры, словно ему и не было уже далеко за сорок, потом гикнул и глазами позвал жену. Однако Эржебет сделала вид, будто не замечает языка глаз, и продолжала задумчиво сидеть с легкой улыбкой на губах. Но не в таком был воевода настроении, чтобы просто принять ее отказ. Он покружился еще немного один и повторил приглашение, сказал:

— Пойдем, жена, станцуем!

Приглашение это имело огромный успех у гостей; перебивая друг друга, они поощрительно закричали:

— А ну, поглядим, как воевода с супругой отплясывают!

— Пройдитесь в танце, хозяева дорогие, уважьте!

— Перед победой сплясать надобно!

— Покружи, господин воевода, сударыню-супругу! Однако госпожа Эржебет не вняла их просьбам и проговорила тихо, почти умоляюще:

— Утомилась я очень...

Но Хуняди, поощряемый поддержкой гостей, подошел к ней, взял за руку и потянул танцевать. Эржебет вскочила, вырвалась из сжимавших ее рук и поспешила вон из зала. В дверях она повернулась и произнесла:

— Развлекайтесь, веселитесь, ваши милости! А мне надобно сыновьями заняться.

Все это разыгралось в один миг, Хуняди от изумления не успел ничего предпринять — получив отказ, он стоял беспомощно и одиноко, и руки его, казалось, застыли в призывном жесте. Когда дверь за Эржебет захлопнулась, он, покраснев от стыда и гнева, тяжелыми шагами прошел к своему месту, и теперь казалось, что ему много больше пятидесяти. Гости заметили в нем перемену, веселье стихло. Однако Хуняди, желая скрыть свою боль и стыд, сел на место и, взяв в руки кубок, осушил его до дна.

— Веселитесь, господа, у нас еще есть время...

Услышав этот призыв, все опять выпили, и под лучами воскресшего веселья быстро растаял упавший было на них туман дурного настроения. Словно ничего не произошло, они, перекрикивая друг друга, продолжали рассказывать свои истории, и теперь, когда среди них не было женщины, в речах гостей то и дело проскальзывали хлесткие, соленые словечки. Однако Хуняди, будто призывом к веселью исчерпал в себе последние его запасы, не смог снова стать прежним; он сидел помрачневший, тихий, а потом незаметно, чтобы не нарушить общего веселья, выскользнул из зала.

Эржебет он нашел в спальне. Она стояла в длинном ночном одеянии у стального зеркала, отсвечивавшего бледной синевой, и служанка расчесывала ей ниспадавшие до пояса распущенные волосы. Когда она заметила в зеркале стоявшего в дверях мужа, испуганная улыбка дрогнула на ее губах, и она поспешно приказала служанке выйти. Повернувшись к Хуняди, Эржебет ждала, что он скажет, но он продолжал стоять, безмолвно и угрюмо глядя на нее мрачным взглядом. Пламя насаженных на колья свечей испуганно дрожало, будто в воздухе ощущались признаки урагана, и отбрасывало на стены странные тени. Так же испуганно трепетало пламя ожи-

дания в Эржебет, когда она взглянула на суровое, искаженное болью лицо мужа, хотя слова, долетевшие до нее, не были ни грозными, ни злыми, — в них слышалась лишь тихая тоска:

— Ты не захотела сплясать со мной, Эржебет!

— Я так умаялась от дневных забот, — едва слышно выдохнула она.

— Ты всегда устаешь от дневных забот? Ведь ты никогда еще не плясала со мной...

— Лучше я помолюсь за вашу милость, чем станцую. Вот и ныне помолюсь о том, чтобы господь помог вам в военном походе...

— Не увиливай от разговора! — нетерпеливо перебил ее воевода, и голос его стал тверже. — Я хотел сказать, что ни один танец в моей жизни ты не сплясала со мной с истинной радостью. А ежели и подчинялась, когда избежать того не могла, то делала это столь безрадостно, что лучше бы и не делать.

— Не корите меня, ваша милость. Упреки ваши несправедливы. Я всегда была верной и неприхотливой женщиной, во всем вам покорной...

— Женщиной! — вскричал с горечью Хуняди. — Ты и в самом деле была просто женщина, будто я купил тебя за большие деньги себе на утеху. А мне жена нужна для танца жизни! Да, ты была покорна и никогда не говорила «нет». Никогда не говорила «нет», разве что бегством спасалась, когда делом надо было ответить... А мне нужна жена, которая подчас и «нет» скажет. С которой я мог бы обсудить, обдумать танец жизни, но уж когда решимся вместе на какой-то шаг, чтоб и она горела желаньем сделать его вместе со мной.

— Ваша милость очень хорошо обдумывает каждый шаг. Мне остается лишь принимать их с должным признанием...

— Даже теперь ты не хочешь откровенно говорить со мной о нашей жизни! Что бы я ни сказал, ты всегда сыщешь лазейку и ускользнешь. Скажи, Эржебет, но от чистого сердца: почему ты так холодна ко мне? Разве я не стараюсь всегда доставить тебе радость? Разве уводили меня дороги мои к другим женщинам? Может, я не столь учен, сколь тебе хотелось бы. Так ведь я всегда саблю держал в руках, а не книгу. Но ты-то хоть раз наставила меня умным словом?!

Сперва в вопросах его звучала мольба, теперь же в них слышались страстные обвинения; Хуняди говорил все громче. То был крик душевной боли, усиленный выпитым вином и теперь прорывавшийся сквозь привычную скованность. Хуняди уже почти кричал, яростно швыряя жене горькие слова. Эржебет испуганно указала на дверь соседнего покоя:

— Дети!.. Они испугаются!

— Пускай пугаются! Мне и дохнуть нельзя из-за них? Люби ты их за то, что они мои сыновья, у нас была бы истинная жизнь! Но ты меня даже за то не любила, что я отец им. Иль в сердце своем ты другого ласкаешь?

Эржебет, сложив руки, умоляюще взглянула на него:

— Не будьте жестоки, ваша милость!

Однако Хуняди совсем потерял голову от боли, и горькие слова, скопившиеся за долгие годы, подталкивая друг друга, так и рвались с его губ:

— Может, ты не была со мной жестока? Хоть раз подогрела ли ты мою веру в то, что жизнь твоя с моею едина и ни к кому иному не влекут тебя желанья?

Эржебет все так же стояла пред ним, сложив руки, в ниспадавшем до пола ночном одеянии; с распущенными волосами, склоненной в немой мольбе головой, бледным лицом она казалась творящим молитву ангелом. Она смотрела, смотрела на мужа, путавшегося в мучительных, исполненных горечи словах, и из глаз ее медленно покатались слезы.

— Я помолюсь господу, чтобы он помог вашей милости вернуться из военного похода! — тихо выдохнула она и тут же, поспешно отойдя к стоявшему в углу распятию, опустилась на молитвенную скамеечку и принялась усердно молиться. По низко склоненной голове и по дрожи плечей было видно, что она плачет.

Хуняди замер позади нее, будто с ходу остановленный неожиданным препятствием конь. Его губы еще двигались — он хотел сказать что-то, — но звука уже не получалось. Уважение, которое воевода питал к распятию, к вере, побороло в нем даже храбрость, рожденную болью и умноженную вином. Он стоял неподвижно и смотрел на ту, что вечно от него ускользала, смотрел, словно она была не достижимой никогда наградой, от

которой его отделяет непроницаемая решетка, потом повернулся и, медленно, неуклюже ступая искривленными от вечной верховой езды ногами, вышел из спальни.

Река Марош была много больше Черны, но здесь, стремительно петляя среди гор, она почти не оставляла на узком клинышке долины места, где бы могло пройти войско. Теперь же, когда общее число воинов после встречи с армией епископа Дердя Лепеша в Дюлафехерваре возросло до тридцати тысяч, линия войска, продвигавшегося узкими шеренгами, растянулась столь далеко, что и верхом объехать его было бы непросто. Всем хотелось скорее миновать эти места, по крайней мере добраться до Брезенце, где долина Мароша расширяется, — ведь если турки придут туда раньше и прижмут их к реке, немногим удастся спастись. Длинной змеей растянувшееся войско даже защищаться успешно не сможет, и турки изрубят, уничтожат их всех по очереди, ряд за рядом... Между тем опасность эта серьезно им угрожала: они то и дело получали вести о том, что турки продвигаются весьма быстро. Беженцы рассказывали, что теперь турки не сковывают мужчин цепями, как делали ранее, и не угоняют в рабство, а чтобы не терять времени, просто приканчивают их. Спешившие вниз по течению реки беженцы все чаще попадались им навстречу: мелкие дворяне, крепостные, сельские ремесленники, валашские пастухи, пешком или на повозках, иногда верхом на конях либо уцепившись за вислоухих горных ослов, они уходили, спасались, унося с собой убогий свой скарб. Разумеется, нельзя было принимать все их слова на веру — у страха ведь глаза велики, — но все же действительность, которая так могла растревожить этих погруженных в свои мелкие заботы людей, была, должно быть, ужасна. И чем выше поднималось войско по реке, тем больше становилось беженцев, так что их встречный поток начал уже препятствовать продвижению армии. А так как посланные вперед лазутчики доносили, что турки приближаются и очень скоро доберутся до Брезенце, никакой пощады беженцам, задерживающим продвижение, быть не могло. Сначала, правда, пытались на них воздействовать и добрым словом и побоями, вынудить держаться ближе к склону горы, чтобы, по крайней мере, переждали там,

покуда пройдет войско, однако люди словно охмелели от страха и даже под копытами коней не понимали, чего от них хотят. Они не могли тащить с собой в гору, но не желали и бросить или доверить свирепой реке скудные пожитки и испуганных животных, которые были для них поистине членами семьи, а потому ожесточенно сопротивлялись теснившему их войску, зубами и ногтями защищая свое жалкое, но для них означавшее жизнь имущество. В подобных случаях военачальники командовали: «Вперед!» — и сопротивлявшихся беженцев вместе с их женщинами, детьми и скотом затапывали либо оттесняли в реку. Этот последний отрезок пути превратился в настоящий военный поход, солдаты продвигались вперед, сопровождаемые стонами затоптанных, предсмертными воплями тонущих в реку. Главный военачальник Хуняди почти не давал войску отдыха, лишь на самые темные часы ночи разрешая остановиться на бивак. К множеству бед прибавилось еще и то, что, хотя календарь давно пророчил весну, природа не желала с этим считаться и то сильной метелью, то покрывающими все туманами препятствовала продвижению.

Хватало забот и со снабжением войска. Правда, вслед за армией гнали большое стадо волов, ехали огромные, тяжелые повозки, нагруженные съестными припасами и веселящим душу вином, но людей было много, и тащи они вслед за войском провиант для всего похода, и к середине лета не достигли бы Брезенце. Приходилось пополнять запасы в пути. Однако население тех краев, которыми они проходили, принимало их так, словно они-то и были грабители-турки: зерно от них прятали, скот угоняли в горы. Хуняди привычно было недоверие и враждебность населения к войску, однако и он никогда и нигде еще не сталкивался со столь неистовой, молчаливой ненавистью. Он и горевал, и бранился последними словами, оставаясь наедине с епископом Дердем Лепешем, когда вечерами, разбив лагерь, они усаживались обсудить последние донесения и дела, которые предстояло совершить завтра.

— Будто и не их защищать идем, — говорил Хуняди однажды вечером, когда они после дневных забот и хлопот сидели вдвоем в шатре епископа. — Будто мы и есть лютые турки, губители христианского люда.

Епископ Дердь — высокий, широкоплечий человек

с проседью, внешне ничем не напоминавший священнослужителя, — взирал с твердой улыбкой на собранный в морщины лоб и озабоченное лицо воеводы, как бы перечисляя мысленно причины снисходительности своей к неопытности собеседника, потом с коротким смехом ответил:

— Ты, господин воевода, говорил сейчас так, будто тебе вовсе неведома натура мужицкая. Им не защита истинной веры нужна, а поблажки вожделениям плоти их. Ежели язычник-турок им это даст, они с легким сердцем и язычество примут...

— Все же как-то неладно оно! — сомневался Хуняди. — Умным словом учить их надобно...

— Слов тут мало. Это я тебе говорю, пастырь их, много лет за ними присматривающий. Они — словно овцы бешеные, верченые, да они любой посев сожрут, какой им приглянется. И сколько ни указывай им пастырь путь прямой, к спасению ведущий, они себе ту дорогу выберут, которая им больше земной травы даст. Им такая наука надобна, какую и твоя милость им прописал, когда Антала Надя с людишками его учили... С той-то поры пасутся тихо да мирно...

Епископ говорил твердо, почти повелительно, и по тону его чувствовалось, что он глубоко убежден в истинности своих слов. В них не было и следа поповской елейности, их прямой, чистый поток не избегал с помощью мудреных витиеватостей опасных, язвительных искр осуждения, рассчитанного на действие, а прокатывался через них волнами. Рядом с его твердостью скорей несмелые сомнения Хуняди, этого настоящего воина, казались некими поисками корней истины, более приличествующими священнослужителю. Впрочем, слова епископа выражали и мнение Хуняди: когда мысли его нет-нет да забредали в эти пределы, их тоже ждали подобные ответы, заранее подготовленные против любой опасности; однако теперь, услышав их высказанными вслух, воевода ощутил вдруг неприязнь к ним и возразил:

— Все ж истинным христианам более кротость пристала, помощь ближним...

— Твоей милости не было здесь в те безобразные дни. Потому только и говоришь такое. Да знаешь ли ты, что тут творилось? Вышли они из положенного холопам повиновения, отказались платить десятину, нало-



ги. А когда мы хотели забрать силой, восстали. Нет, не с христианской кротостью предавали они попавших им в руки дворян наипозорнейшей смерти! А помощь ближним — повелителям, над ними поставленным, — сколь опасна была! Ведь что делали — глаза выкалывали, языки вырывали, выкручивали руки, всевозможные пытки, убийства вершили. Разве тут помогло бы слово проповедника? Кто может словами пожар погасить или, подув, остановить потоп? Лишь Иисус имел столько силы и смирения...

Однако слова эти он произносил не столь твердо, как прежде, будто предназначались они для убеждения не столько сидевшего против него Хуняди, сколько себя самого... Углы твердо очерченных губ опустились книзу, и он продолжал говорить, объясняя, защищаясь, только что не плача от ярости:

— Кто в ту пору со мной здесь был, помогал закон защищать, порядок восстанавливать, тот скажет — он мне свидетель: я делал лишь то, что мог. Против силы только силу выставить можно. Против разрушения только разрушение. Против жестокости только жестокость. Ежели собственной гибели не желаешь...

Словно не по своей воле, Хуняди спросил:

— А что, как они того же хотели?

Епископ был так поражен, словно наяву дурной сон увидел, — в первый миг даже говорить не мог от удивления, только беззвучно открывал рот, ища слова. Наконец он пришел в себя от первого потрясения и собрался уже ответить, как в шатер неожиданно вошел Янку. Он бросил в угол промокшую от дождя шапку, будто в собственный шатер явился, и, не считаясь с епископским саном, свирепо выругался. Только после того он рассказал наконец и о причине своего гнева:

— Снова люди пропали, которых за хлебом посылал. Я сам ходил с воинами искать их, да так и не нашел нигде. А людишек чего спрашивать, они тебе набрешут с три короба и глазом не моргнут. Взъярился я да и прихватил парочку с собой — посулил в Мароше утопить, ежели правды не откроют!

— Нет у нас времени с ними возиться! — нетерпеливо и недовольно сказал Хуняди. — Пропавшие все одно не сыщутся...

— Ну раз так, я и выпытывать не стану, утоплю, и дело с концом... Все они псы смердящие! Не жаль их!

— Время на них терять жаль! — пылко перебил епископ, и седая голова его затряслась от волнения. — Дай мне сюда одного! Я их языку отменно обучен...

Янку вышел, и вскоре стражи втолкнули в шатер пожилого крепостного в рваной одежонке и разлезавшихся бочкорах.

— Гляди, каверзу какую не учини! — угрожающе напутствовали они его.

— С места не трогайся, не то смерть тебе!

Один из стражей даже хотел остаться в шатре, будто оборванный мужичонка представлял смертельную опасность для вооруженных вельмож, пожелавших с ним беседовать, но епископ Дердь велел воину выйти. Между тем крепостной, вытолкнутый на середину шатра, стоял с животной безучастностью и равнодушием, будто вся эта история вовсе его не касалась. Он стоял неподвижно — сперва окинул коротким взглядом растеленные в шатре шкуры и сидевших на них вельмож, а потом весь жадный интерес к познанию обратил на большой палец собственной ноги, высовывавшийся из дырявого бочкора. Епископ недоуменно смотрел на него. Он совсем смягчился от такого спокойствия и, смирив накопившийся гнев, спросил:

— Как звать тебя?

Услышав голос, мужик поднял взгляд, но лишь на мгновенье; тут же вновь опустив глаза, он молчал.

— Наверно, румын, — сказал епископ и снова спросил: — Cum te tuame?

Однако крепостной на этот раз даже глаз не поднял.

— Да понимает он, только дурачком прикидывается! — Епископ снова вскипел и гневно обрушился на мужика, все повышая голос: — Знаю я твою хитрую породу, змеиное отродье! И ты был у Колошмоноштора!..

Мужик, застывший в упрямом бесстрастном молчании, при этих словах, казалось, чуть дрогнул, и глаза его блеснули странным огнем, однако губы были по-прежнему немые.

— Куда вы подевали людей, посланных за хлебом, вероотступники?.. Ведь и ты из потира пьешь, верно, еретик, а? Все законы божьи попираешь...

Он не ждал ответа — просто давал излиться пролившимся наружу словам. Мужик, стоявший перед ним молчаливо и мрачно, был нужен ему лишь затем, чтобы было к кому обратиться эти зачатые в душевном беспокойстве слова, уже столько раз себе и другим высказанные, но всякий раз их было мало, мало!

— Имущество вам подавай, чужим потом и кровью нажитое, а? От повиновения отказываетесь, самим господом вам предначертанного... Против заповедей восстаете, безжалостно и свирепо кров господ своих разрушаете... Все общим сделать хотите, над заповедью Иисуса, жизнью своей ради вас пожертвовавшего, глумитесь... Сказано ведь: «Воздай богу богово, а кесарю кесарево...» Кому же бог повелел рабом быть, не должен желать себе доли господской! Кто божеские и людские законы попрал, не может ждать пощады!

Хуняди с удивлением, смешанным с ужасом, смотрел на барахтавшегося в омуте слов старика, не умевшего освободиться из-под их гнета, но все больше оттого свирепевшего... а ведь для него этот старик всегда был олицетворением твердости и сурового спокойствия. Он хотел встать, хотел сказать епископу, чтобы тот сдержал себя, но сейчас для этого требовалось храбрости не меньше, чем для того, чтобы выйти навстречу вырвавшимся на свободу коням, а к храбрости еще, по крайней мере, столько же силы в словах, сколько должно быть ее в руках у того, кто пожелает остановить взбесившихся коней. Великан-епископ стоял перед сторбленным маленьким мужичонкой, расставив ноги, засунув руки в карманы сутаны, выпятив грудь, и швырял в него сотрясавшие шатер слова, будто желал уничтожить. Однако в этом могучем неистовстве, да и в тоне его, сквозило отчаяние, что-то, похожее на заклинание:

— Да знаешь ли ты, кто я? Я отец Дердь Лепеш, епископ, который вершил земной суд над вами при Колошмоношторе. И в другой раз я поступлю так же, ежели вы подлых дел своих не оставите. Это я вершил суд над Анталом Надем и прочими бунтовщиками, и я же помиловал тех, кто избежал заслуженной смерти в бою! Но клянусь, более ни единого из вас не помилую! Надо с корнем вырвать плевелы, выросшие в пшенице, а не то они вновь прорастут и семенами своими усеют землю...

Тут мужик поднял вдруг голову и тихо, безжалостно сказал:

— Будь ты проклят за неправый суд твой!..

Пораженный епископ сперва поглядел на него молча, потом закричал:

— Стража! Стража! Увести его, утопить вместе с прочими!

Воины ворвались в шатер, схватили мужика, пинками и толчками оттесняя к выходу, но тот заупрямился и не хотел идти. Теперь — откуда и голос взялся! — он даже с порога, борясь с вооруженными стражами, громко выкрикивал проклятья:

— Будь ты проклят за неправый суд твой! Но скоро и наш бог истинный свершит над тобою суд, готовься же к нему, черная твоя душа!

Епископ стоял у выхода из шатра и слушал проклятья, покуда они не растворились в шуме ночи. Тогда он обернулся и недоуменно, почти с испугом оглядел потрясенного, застывшего Хуняди, словно очнулся от кошмарного сна. Рукавом сутаны епископ отер щеки, лоб и тихо, чуть ли не стыдясь, произнес:

— Так вот и теряешь спокойствие от всех этих богомерзостей!

— Еще и как теряешь! — с глубоким убеждением подтвердил Хуняди.

Оба войска встретились лицом к лицу у Марошсентимре, на раскинувшихся за селом холмах и полях. Турки прибыли туда раньше и заняли лучшие позиции: их военачальники расставили свои огромные полчища, подобно рядам в винограднике, уступами на полого поднимавшихся склонах холмов. Турецкое войско расположилось на холмах, лицом обратясь вниз, а внизу, на ровном поле, стояли венгерские войска. При виде усыпанных турками холмов невольно возникало чувство, что вся эта огромная масса людей, сдвинувшись, покатится вниз неудержимой лавиной и, конечно, сомнет стоящее на равнине войско, которое и числом-то было поменьше. В каждом воине венгерской стороны возникало, по-видимому, такое чувство, ибо в лагере царила необычная нервозность. Дворяне, командовавшие отдельными отрядами, и другие военачальники едва справлялись, успокаивая солдат, охваченных инстинк-

тивным, животным желанием бежать, спастись. Беда заключалась и в том, что среди воинов было много новичков, которые никогда еще не участвовали в сражениях и турок знали лишь понаслышке, слухи же были один страшнее другого, так что теперь, когда встреча с врагом состоялась, у многих душа ушла в пятки. Да и сами благородные дворяне не все были закалены в боях, кое-кто среди них тоже раздумывал о сложившихся обстоятельствах со смущением, которое граничило со страхом. Сам епископ Дердь Лепеш, заметно побледневший, сказал Хуняди, когда, разбив лагерь, они уселись держать военный совет:

— Господин воевода, мало нас по сравнению с этой громадой. Не разумнее ли избежать сраженья и поднабрать еще войска?

— Конечно, святой отец, их тут много больше, нежели крепостных у Колошмоноштора, — ответил Хуняди со смехом, но тут же, чтобы смягчить резкость фразы, добавил: — Но и эти тех не грознее... Может, даже не столь грозны, как те!..

Однако среди дворян нашлось немало сторонников мнения, что сраженье надо отложить. С особым пылом давал советы старый Шимон Хедервари:

— Надо пойти обходным путем вниз, к Которману, а потом заманивать их все глубже, глубже...

— Почему бы твоей милости, господин Шимон, не заманить их эдак до самой Буды? — неодобрительно и насмешливо сказал Мате Цудар.

Старик, на сей раз трезвый, так разобиделся, что хотел даже покинуть совет. Еле его удержали. Больше он не произнес ни слова, но вместо него нашлись другие, которые подхватили его предложение и продолжали высказываться за него, особенно господа, пришедшие с епископом Дердем. Даже и думать нечего одержать победу против этаких полчищ! А в гибели смысла нет никакого — ведь если войско погибнет, не будет силы, которая сможет остановить этот многолюдный поток. В рассуждениях этих было много истины, и все больше дворян к ним прислушивалось. Хуняди боролся отчаянно.

— Но, благороднейшие господа, отход назад равносителен двум поражениям. Отступающая армия в большинстве случаев разбегается. Надобно вдохнуть в вои-

нов воодушевление, а не страх, который сопутствует бегству...

— Воодушевление еще не все. Воодушевление тогда на пользу, когда людей хватает!

— Так где же вы людей наберете? Разве не всем благородным дворянам был послан призыв собраться в лагерь? Или времени мало было подготовиться и присоединиться к нам? Да неужто вы, господа милостивые, думаете, будто бегущее, гибнущее войско пробудит в опоздавших к походу жажду подвига и великую доблесть? Или, может, от крепостных мужиков помощи ждете? Они, если б могли, задушили бы нас не хуже турка. Разве не они прятали от нас припасы?

Хуняди собрал все свое красноречие, чтобы убедить тех, кто был охвачен нерешительностью и страхом. Ведь это был его первый самостоятельный и подлинно большой военный поход. Что скажут враги его, если он, прожужжавший им уши требованием подняться, оказать туркам жестокое сопротивление, теперь, при первой же встрече, убежит от них? Этого произойти не должно, ибо это равносильно смерти, а тогда пусть уж лучше настоящая, славная смерть на поле брани...

— Помните, господа, на нас ныне устремлены взоры не только нашей страны, но и самых отдаленных земель. Христианская вера и судьба отечества в наших руках. Не можем мы трусами себя показать. Ежели хватило у нас смелости и чести выступить, обратно пути нам нет. Не сможем тут остановить язычников-турок — потеряем все...

В конце концов спор решили слова епископа Дердя:

— Если надо, я и один останусь с господином воеводой!

После этого ни у кого не хватило смелости высказаться за отступление, и все тотчас принялись обсуждать военный план. Хуняди рассказал о своем замысле: прежде всего, нельзя дожидаться нападения турок, а завтра же, на рассвете, едва забрезжит заря, атаковать их, ибо, ежели начнут они, остановить натиск будет трудно. Второе: большую часть войска следует разместить на обоих флангах, потому что турки, атакуя в ответ, огромной массой своей сомнут центр, а тогда двумя крыльями можно будет охватить их с флангов.

План Хуняди быстро был принят, оставалось толь-

ко решить, кто и где будет командовать. Хуняди взял себе левый фланг, на правый поставили Мате Цудара, а командовать центральной группой вызвался сам епископ Дердь.

— Ты великий муж, святой отец, — с теплой благодарностью радостно улыбнулся ему Хуняди. — Я дам тебе в помощь своего брата Янку...

На другой день утром они дождались, пока турки начали утреннюю молитву, и, когда под стонущие завывания имамов те бросились на землю, повернув лица к востоку, венгры по звуку трубы, означавшему сигнал к атаке, ринулись к пологим склонам холмов. Несколько пушек, установленных впереди войска, со страшным грохотом рассыпали смертоносные железные ядра, и венгры, воспользовавшись поднявшейся неразберихой, неожиданно очутились у передовой линии языческих войск. Турки не ожидали столь великой дерзости, чтобы namного уступавшая им числом христианская армия, занимавшая к тому же значительно менее выгодную позицию, начала атаку, и теперь они, еще не придя в себя после молитвенной отрешенности, беспорядочно заметались в неопишемом смятении и замешательстве. На устах имамов замерла мирная, заунывная утренняя молитва, вместо нее послышались крики ужаса и яростные, дикие призывы к бою. Военачальники с саблями в руках гонялись за бегущими в панике солдатами, подкрепляя боевые завывания имамов витиеватыми турецкими ругательствами. Сам Мезид-бей, старый бородастый турок, стоял в дверях шатра, рвал на себе волосы и бороду и, воздевая кулаки к небу, сыпал проклятьями, а потом не побрезговал, схватил саблю и вместе со своими военачальниками, словно пастух стадо, принялся сгонять воинов в чалмах.

Когда турки кое-как навели в войске порядок и построили его к бою, венгры добрались уже до шатров военачальников. Центральная армия под водительством епископа Дердя и Янку продвигалась вперед, в то время как оба фланга оставались далеко позади и старались растянуться как можно шире. Правда, епископ Дердь, изумленный и воодушевленный успехом первых минут, одного за другим посылал к Хуняди и Мате Цудару конных гонцов, призывая:

— Бросайте сюда все силы! Турок бежит!

Однако те придерживались задуманного плана и до поры до времени не вмешивались в сражение, а продолжали растягивать крылья-фланги, словно птица, готовящаяся к полету...

Успех войска епископа был не долговечен: обрушившиеся на головы турок сабельные удары, ружейные выстрелы, ливень копий и стрел, а также брань и понукания военачальников заставили их вспомнить о том, что спасение — в обороне; за телами павших под первыми ударами они неожиданно построились в боевые порядки и одним махом остановили рвущихся на холм венгров. Некоторое время борьба велась на одном месте; казалось, набегавшие навстречу друг другу волны сталкиваются с равной силой, не могут побороть друг друга и расходятся, чтобы вновь схватиться... Епископ Лепеш и Янку сражались в первых рядах; на белоснежном своем коне епископ в черной сутане, с развевающейся белой бородой, со сверкающей саблей был похож на херувима-мстителя. Турки не могли устоять перед его саблей и все же неудержимо рвались к нему, — Мезид-бей натравливал на него лучших бойцов и даже собственных телохранителей... А епископ истреблял их одного за другим. Мало-помалу вокруг него вырос настоящий холм из смертельно раненных солдат и лошадей со свернутыми шеями, проколотыми и сломанными ногами; его собственный конь едва перескочил через этот холм, когда епископ кинулся останавливать обратившийся в бегство отряд.

— Не бегите, стойте, мать вашу так! — в бешенстве орал он. — Не бегите, а не то зады вам порублю!..

Потом епископ начал молиться, но так грозно и с неистовством, будто проклинал.

— Помогите нам, господи Иисусе, единый святой боже! — взывал он неустанно, но турки, которые не понимали слов и могли судить лишь по тону, вероятно, думали, что он бранит либо своих бегущих солдат за трусость, либо их.

И Янку прекрасно показал себя в бою. Он не кричал, правда, как епископ Дердь, а сражался, сжав зубы и ощерившись, будто злобный пес, но на удары не скупился. Нельзя было пожаловаться и на его воинов, хотя большинство из них знало турок лишь понаслышке и сначала чуть ли не со страхом кололо их копьями и ру-

было саблями, словно считая, что дело это напрасное и никакое оружие нехристей не возьмет; однако, увидев показавшуюся из-под кафтанов кровь и покотившиеся головы в чалмах, они совсем осмелели. Наемные солдаты сражались храбрее всех и с величайшим спокойствием, особенно лучники и стрелки. Они вставали на колени подле своих коней, метрах в ста от какого-нибудь кипящего клубка людей, и, будто соревнуясь, целились в турок.

— Я во-он того, большебрюхого, сниму...

— А я того, что на черном коне и в красном тюрбане...

— Уважу турка, который со знаменем...

Они заранее говорили, в кого целятся, а если действительно попадали, коротким гиканьем возвещали о событии, словно упражнялись дома, на крепостном дворе; только тон выкриков был более волнующий, словно окрашенный висевшей над ним смертельной опасностью. Для них это было не пустое бахвальство, а необходимое при их профессии доказательство своего умения, ибо каждый лист лавра означал более высокую плату.

Долгое время бой шел на одном месте, первоначальный подъем христианского войска все еще успешно уравновешивал натиск турок. Однако за турецкими отрядами, уже вступившими в бой, из лагеря подходили все новые отряды; построившись, они бросались на сражавшихся с неослабевающей силой христиан. Когда одну шеренгу турок вынуждали к отступлению, на смену ей становилась другая, третья, и постепенно образовалась настоящая плотная стена, о которую разбивались любая отвага и воодушевление; потом стена эта двинулась вниз по склону, поначалу медленно, потом все быстрее, словно то был горный обвал, и венгерское войско дрогнуло, начало отступать. Сперва туго, шаг за шагом, защищая каждый клочок земли, потом — когда двинувшаяся по склону человеческая лавина покатила все быстрее, — спасаясь чуть не бегством!

Правда, епископ Лепеш все еще бранил своих солдат:

— Не бегите, мать вашу так! — И тут же свирепые ругательства перемежал мольбою: — Помогите нам, господи Иисусе, святой и единый боже!

Но даже он не мог теперь устоять перед турками.

В пылу кровавой битвы он начисто позабыл обо всем, что решили вчера, в нем жило лишь желание выстоять, успешно сопротивляясь, и он все посылал гонцов к Хуняди:

— Бросайте сюда все силы!

Однако воевода, будто на глазах его шел пустячный рыцарский турнир, не обращал внимания на гонцов, подлетавших к нему на покрытых пеной конях. С каменным лицом он выслушивал просьбы, требования о помощи, которые — даже в передаче гонцов — так и обжигали волнением, а если и ронял слово, то обращено оно было к военачальникам подчиненных ему отрядов:

— Теперь возьмем немного правее. Лучников и стрелков поставьте в первые ряды! А как скамандую атаку, ты, господин Захони, туркам в тыл заходи, чтоб отрезать их от лагеря!.. А ты, господин Секей, атакуешь тех, что в лагере застряли!..

Сейчас, когда он стоял в самом центре великой битвы, происходившей в нескольких сотнях шагов от него, шумы, хрипы, треск и стоны, достигавшие его ушей, благотворно подействовали на его взволнованные нервы, смирили смешанное со страхом нетерпение, — он вдруг совершенно успокоился. Каждым нервом он ощущал надежность своего плана, вымеренного, точно построенного в мыслях, — так слепец, зная дорогу, ногами осязает цель и смысл каждого шага. Его непоколебимое спокойствие не нарушилось и тогда, когда центральная часть войска, которой командовал епископ и Янку, начала отступать все быстрее, а потом побежала, — почти бесстрастным голосом он продолжал отдавать распоряжения:

— Как дойдут они до склона того холма, так мы на них и ударим! Но уж тогда — все вместе!

С этим он отправил конного гонца и к Мате Цудару, а своему войску повелел под прикрытием кустов приблизиться к туркам с фланга. Находившиеся при нем дворяне, видя отступление отрядов епископа, все более пылко уговаривали Хуняди поскорей идти на помощь. Однако Хуняди сидел на коне, нахохлившись, упрямо сжав рот; он наблюдал сгрудившихся в смертельной схватке воинов и ничего не отвечал на призывы поспешить, только вновь, еще раз более твердо повторил:

— Как дойдут до склона того холма, так мы на них и ударим! Но уж тогда — все вместе!

А турки продолжали атаковать центральную армию. Налезая друг на друга, воины в тюрбанах стремились к епископу. Правда, воины-христиане, заметив опасность, угрожающую их вожаку, окружили его защитным кольцом, но непрерывно прибывавшие человеческие волны захлестывали и смывали их. Наконец чья-то стрела попала в лошадь епископа, с болезненным ржаньем конь рухнул под всадником. Обезумевший людской поток сомкнулся над упавшим бойцом, затем снова откатился, но лишь на мгновение, чтобы вновь сомкнуться, — епископ так и не появлялся более на его поверхности. Быть может, его закололи копьем, может, кривая турецкая сабля срубила ему голову, может, затоптали озверевшие кони...

Часть войска, которая видела гибель одного из своих военачальников, в панике бросилась врассыпную, и лишь натиск тех, кто, находясь в задних рядах, рвался вперед, помешал их позорному бегству. А турки, воодушевленные удачей, атаковали с еще большей силой и неистовостью. Вслед за епископом им захотелось лишиться венгров и другого вожака, и те, кто только что затоптал отца Дердя, теперь всем скопом устремились к Янку. А он, молчаливый и мрачный, продолжал колоть, рубить, сокрушать их. Но против столь огромного численного превосходства, против этого гигантского войска, которое могло смять христиан одним своим весом, мало было одной отваги, даже если за ней стояли умножавшие силы иступление страсти и страх за свою жизнь. Вскоре Янку постигла участь епископа Дердя Лепеша...

Изрядно поредевшее войско, потеряв обоих военачальников, сразу прекратило сопротивление и ударилось в беспорядочное бегство. В этом стремительном сумбурном отступлении не оставалось уже ничего от хорошо продуманного военного плана, не оставалось даже ожидания, надежды на отряды, которые придут на помощь, — это было лишь паническое бегство ради спасения жизни. А ведь едва они достигли склона холма, как густые, росшие по обе стороны поляны кусты ожили, и на турок, одурманенных лихорадкой победоносного преследования, обрушились две новые христианские армии, внося по меньшей мере столько же смятения, как и

первый неожиданный натиск головного отряда. Турки, увлеченные преследованием, не могли сразу сдержать свой порыв, а те отряды, которые не принимали участия в погоне за христианами, не сумели тотчас же плотной широкой стеною преградить дорогу врагам. Те же внезапной атакой прорвались между их рядами, разделили их, оторвали друг от друга и произвели ужасающие опустошения.

Неожиданная атака и вызванная ею растерянность, вероятно, решили бы судьбу сражения, если бы спасавшееся бегством центральное войско теперь вдруг повернуло назад и, воспользовавшись великой паникой, бросилось на турок, тем более что с тыла на них обрушился Захони. Однако вожака, который отдал бы воодушевляющий приказ, уже не было, тут властвовал лишь безудержный страх. А турки, правда, ценою многих потерь, понемногу опомнились, развернули свои ряды против наступавшего с трех сторон врага и, так как недостатка в людях у них не было, снова противопоставили венграм несломленные силы. Казалось, опять повторится прежний поворот и турки снова возьмут верх, если смогут отдышаться...

Хуняди потерял прежнее твердое и холодное спокойствие и неистово бранил и проклинал епископа и Янку за трусость... В сражении он почти не принимал участия, держался позади бросавшихся в атаку шеренги, напряженно вглядываясь, ждал, когда же бегущие повернут обратно...

Наконец, не сдержав губительного нетерпения, он саблей проложил себе путь в первые ряды, где отличался Андораш Бебек.

— Веди войско! — заорал Хуняди ему в ухо. — Если даже никому не придется спастись, все равно — не смей отступить!

Больше он ничего не сказал, повернул коня, вышиб из седла налетевшего на него турка и поскакал вдогонку за беглецами. Он догнал их уже далеко за холмом. Взгляд его повсюду искал Янку или епископа Дердя, но ни того, ни другого нигде не было. На мгновенье сердце его пронзила боль, чувство подлинного страдания, но это продолжалось лишь один миг, и он ринулся в самую гущу своего разбегавшегося воинства.

— Господин Готхаллоци!.. Господин Хедери!.. Господин Понграц!.. — кричал он, завидев в толпе не-

сколько военачальников, которые и во время бегства не проявляли лени. — Ваши милости, не бегите! Поворачивайте обратно! Язычников мы побьем, но только с вашей помощью!

С большим трудом Хуняди удалось остановить и привести в чувство поддававшееся панике войско, и теперь он стал во главе его. Воодушевленные воины устремились обратно. И вовремя, ибо теснимые с трех сторон язычники успешно выстояли атаку и теперь начали забирать верх. Однако нападение с четвертой стороны совершенно их ошеломило, словно появление новой армии вызвано было какой-нибудь таинственной колдовской силой: они вдруг прекратили битву и, ища спасения, ударились в отчаянное бегство.

После того как судьба сражения была решена и турки откатились столь далеко, что уже не приходилось бояться их возвращения, Хуняди обошел поле битвы, осматривая подряд труп за трупом, которыми были сплошь усеяны склоны холмов. Он искал Янку и епископа Дердя. Задумчиво останавливался над трупами с разрубленными черепами, над мертвецами, с которых сорвано было даже платье, и мучительно вглядывался, пытаясь по тому, что осталось, отыскать знакомые черты...

Епископа Лепеша он так и не нашел, но Янку, наконец, увидел. Брат лежал под мертвым турком, быть может, именно тем, который убил его; он так и застыл в позе борца — зубы его были стиснуты в неутолимой ненависти, он сжимал мертвого врага, словно и сейчас вел с ним бой. Хуняди стоял над ним, смотрел на искаженное, смертельно бледное лицо, каждая черта которого врезалась в его душу за долгие десятилетия, смотрел на повернутые вверх белки глаз и понимал: того, кого считал он безначальным и вечным, о гибели кого никогда, никогда не думал, больше не существует... Вот перед ним лежит Янку, его младший брат, к самому сердцу прикипевший, вот он пред ним, почти целехонький, лишь на лице написана боль, будто ему снится кошмарный сон... но как ни буди, как ни тряси его теперь, он никогда больше не проснется, как ни зови, никогда не ответит... Хуняди смотрел на росток одной с ним ветви, сломанный внезапной, нежданной бурей, смотрел и не мог поверить, что это случилось... И вдруг, словно его ударили по затылку, рухнул рядом с Янку на



колени. Он целовал похолодевший, разгладившийся лоб, ледяные щеки, потом оглядел покинутое после доброй работы поле боя — и вдруг одновременно и заплакал и засмеялся.

Ракошская ярмарка затихала, подходила к концу. Стада пригнанного сюда откормленного скота и прочей домашней твари поменяли хозяев, а если и нет, все равно уже не имело смысла тратить на животных привезенный на телегах дорогой корм, так как серьезные покупатели все разъехались. Ленивые и бранчливые гуртовщики гнали стада по широким безлюдным дорогам, а на истоптанном и утрамбованном животными ярмарочном поле уже выростали один за другим шатры представителей сословий, собиравшихся для выборов правителя страны... Несколько дней продолжался наплыв посланцев дворян в повозках или более парадных каретах; те, что прибывали с дальних концов страны, из Эрдея или с юго-западной Задунайщины, выехали за несколько недель, чтобы не опоздать. Многие везли с собой жен — не так уж часто в жизни мелкого дворянина выпадает случай увидеть Пешт и королевский дворец в Буде, построенный Сигизмундом. Это ради них задержались здесь после ярмарки торговцы безделушками, шелками, бархатом и прочими милыми женскому сердцу товарами. И расчеты не обманули торговых людей, ибо дворяне не жалели привезенных с собою талеров.

Были здесь и посланцы городских ремесленников. Впервые за долгие годы появились они на Государственном собрании и чувствовали себя довольно стесненно. Они разбили свои шатры на берегу речушки Ракош, чуть поодаль от лагеря дворян, тем самым как бы молчаливо признавая, что их слова и выкрики звучат потише дворянских. Про себя, однако, они так не считали и даже гордились своей силою, сделавшей их голос столь значительным для страны, что и дворянское сословие хочет его услышать. Обособились они скорее потому, что среди своих им было посвободнее: прибыв из разных городов страны, но с одинаковыми планами, заботами, связанные общими интересами, они лучше

чувствовали себя друг с другом, нежели в обществе громкоголосых дворян. Сойдись в шатрах, они тихонько обсуждали общие проблемы — кому отдать голоса и что себе выпросить, какие поблажки выторговать в обмен на услугу. Вне шатров они держались очень тихо, очень скромно и даже порядочных кутежей не затевали. Дворяне их сторонились, словно то была какая-то странная порода, и между собой отпускали порой издевательские шуточки в адрес «башмачного сословия», но, так как хлопот с ремесленниками не было, оставляли их в покое.

Могущественные вельможи на сей раз остановились не в Ракоше, а наверху, в Буде, но очень часто навещали собиравшиеся сословия, вербуя сторонников. Они обходили все шатры, не пренебрегали и посланцами городов, пели хвалу своим кандидатам, — стараясь, главным образом, убедить в том, как много выиграют дворяне и ремесленники, если выберут их человека. Вербовка сторонников шла пока лишь потихоньку, доверительным шепотком, но наиболее вероятные имена все более выделялись из общей мешанины.

Двое «иноземцев» — Цилли и Искра — не могли присутствовать на выборах: Цилли еще в прошлом году, когда Хуняди одержал над ним новую победу в столкновениях при Драве, уехал в Вену вести переговоры с императором Фридрихом о венгерских делах, Искра же отсиживался на севере, в крепости Лева, подстерегая, будто голодный паук, когда в его сети вновь попадет какая-нибудь славная добыча. Но как ни далеко они были, волю свою умели дать почувствовать и оттуда. Все знали, что Гараи, в согласии с ними, любой ценой хотят избрания правителем деспота Бранковича и что родственники Гараи Сечи получили серьезные посулы в обмен на поддержку... Была партия и у воеводы Уйлаки, правда, не очень многочисленная и могущественная, состоявшая из его ближайшего, самого узкого окружения, но и она не скупилась на обещания. К ним принадлежал и вошедший в силу Понграц Сентмиклоши, который все еще не примирился с Цилли, да и с Искрой вел постоянную борьбу из-за поместий вокруг Тренчена и Нитры, но Яношу Хуняди он тоже не мог забыть полученного от него в прошлом году урока... Две эти партии во всем резко расходились и только в одном всегда были согласны без всяких споров: в том, что нельзя

позволить Янко Хуняди стать правителем... Ведь имя Хуняди было здесь третьим, и называли его чаще и громче других. Королевский наместник Хедервари, Перени, Бебеки, Цудары, родичи его Силади и целая армия крупных дворян стояли за него, но добьются ли они успеха, пока было неясно.

Во всяком случае, хотя открытие Государственного собрания задерживалось на несколько недель, мелкие стычки и борьба за влияние на прибывающих представителей сословий были в разгаре. Вновь прибывший не успевал еще раскинуть шатер, как на него накидывались вербовщики либо одной, либо другой партии с тем, чтобы несчастный в первую очередь услышал их речи. Разумеется, он всех доброжелательно выслушивал, всем давал заверения, но все же истинные и окончательные мнения складывались во время бесед, происходивших в глубине шатров среди своих. Каждый привозил с собою груды жалоб и пожеланий, как собственных, так и доверенных ему оставшимся дома многочисленным кланом дворян, и теперь, во время непрерывных советов, взвешивал, примеривал, на стороне какого кандидата можно получить успокоительный ответ. У всех кандидатов имелись сторонники, безудержно восхвалявшие своего ставленника, но у других было по меньшей мере столько же возражений и обвинений в его адрес. Однако почти все без исключения сходились на том, что затея с выборами правителя не самое удачное решение: надо было бы положить конец затянувшемуся вот уже на два года неопределенному положению, — стране нужен был король, ибо приказывать желали все, а подчиняться никто не хотел. Но кому быть королем? Многие с полной убежденностью утверждали, что Уласло жив, он не погиб в закончившейся поражением битве под Варной, а томится в турецком плену... Иные, напротив, знали с полнейшей достоверностью, что в плену его нет, а отправился он на родину, в Польшу, и слышать более не желает о венграх... Ну, если не желает, так и бог с ним, пусть живет, где ему угодно! Есть ведь еще совсем молодой Ласло, родившийся уже после смерти отца, но его не хочет выдавать император Фридрих, покуда не получит серьезной роли в делах управления страной.

— Граф Цилли пойдет императору навстречу! — подогревали страсти сторонники Хуняди. — Он и сам вместе с императором хочет сесть нам на шею!.. А еже-

ли с Фридрихом не заладится, так с помощью деспота Бранковича...

— Хуняди сломал себе шею, с императором торгуясь, — отражали нападки люди Бранковича. — Ему наместничество надобно, на что ему король...

— Для того и Уласло дал погибнуть у Варны, чтобы самому вместо него власть захватить!..

Так перечисляли они наперекор друг другу действительные и мнимые ошибки и грехи ставленников враждебной партии, да с таким великим усердием, что иной раз чуть люшны с телег не выворачивали и с их помощью не решали дело по справедливости. Парируя козни противников, каждая сторона не ленилась распускать слухи, чтобы, ссылаясь на них, окончательно поколебать стрелку весов в свою пользу. Невозможно было выяснить, откуда исходят подобные толки, ибо и самый первый распространитель слуха передал его якобы со слов наипочтеннейших особ, поэтому на нем уже как бы стояла печать того духа, коим формировалось и контролировалось общество...

Так в последние дни разнесся невесть откуда взявшийся слух о том, что в Хуняди, собственно говоря, течет королевская кровь, он подлинное дитя Сигизмунда, дитя его истинной любви... Находились даже люди, которым был известен не только самый факт, но и все обстоятельства, ему предшествовавшие. Будто бы король, в память о любовном свидании, подарил прекрасной девушке дворянке перстень, чтобы, если родится ребенок, явилась она с этим перстнем ко двору. А подрастающее дитя, словно угадывая чудесное значение перстня, очень любило играть с ним. Однажды, когда ребенок играл так во дворе, черный ворон внезапно кинулся на перстень, привлекая его своим блеском, схватил в клюв и взлетел. Однако ребенок, который до сих пор проводил время лишь в играх, возясь в грязи, пыли и камнях среди двора, и оружие видел только издали, но никогда его не касался, бросился за луком, натянул его, пустил стрелу и сразил ворона-грабителя... Ему удалось вернуть перстень, и, когда через долгие годы он явился с ним ко двору Сигизмунда, король сразу принял его к себе на службу...

История эта звучала столь красиво, что сторонники Бранковича попытались лишь превзойти ее, утверждая,

будто деспот — сын султана Мехмеда, захватившего Никополь...

Слухи эти, как ни верили в них сторонники и как ни стремились их опровергнуть противники, были, разумеется, лишь легкими схватками и поддерживали позицию самое большее в качестве внешних, отнюдь не решающих, доказательств. Ибо даже самые упорные сторонники Бранковича задумывались, когда, например, приверженцы Хуняди спрашивали у них: не думают ли они, что именно из-за своего султанского происхождения деспот любит порой беспокоить владения и крепости прочих господ?.. Наравне с турецкой опасностью вопрос об опустошавших страну вельможах тревожил здесь каждого, и дворяне прежде всего на них искали хоть какой-нибудь управы. С приближением дня выборов съезжалось все больше посланцев дворян, они то и дело сдвигали головы, собираясь в шатрах, и на этих предварительных советах все чаще звучало имя Хуняди.

— Без его удали быть бы нам ныне под турком...

— Да и этих господ только он сумеет приструнить...

— Как Цилли, которого он дважды подмял...

— Или как черного Понграца Сентмиклоши...

Так говорили они, и этих одобрительных, воодушевленных голосов становилось все больше. Вечерами, когда дворяне собирались то в одном, то в другом шатре отведать вина, привезенного из разных концов страны, все чаще звучали виваты в честь Янко из Хуняда. Затем некоторые из них подымались и шли в лагерь посланцев городов, выспросить, что там думают о подобных виватах, — те же, в свою очередь, сдвигали головы и тихонько перешептывались, совсем как старухи, а затем и сами скромно и чинно выкрикивали:

— Виват Янко из Хуняда!

Наконец настал день выборов. Хуняди в Буде ожидал известий о ходе Государственного собрания: его доверенные люди безостановочно сновали между Будой и Ракошем. Сейчас в его покоях сошлись Шимон Розгни, Петер Перени, Андораш Бебек, Мате Цудар, Михай Силади, еще несколько крупных вельмож — родичей Силади и Янош Витез. В великом волнении они сидели вокруг стола, но кто-нибудь один непременно стоял у

окна, высматривая прибывающих с самыми свежими новостями гонцов. Все полученные до сих пор вести были благоприятными: королевский наместник Хедервари еще не открывал Государственного собрания, еще не задал вопроса, кого хотят сословия правителем, а виваты в честь Хуняди уже гремели вовсю. Но толпу ведь никогда до конца не поймешь: быть может, в следующий момент, услышав иные виваты, которые прозвучат громче, люди отдадут свои голоса другому.

Чтобы скоротать тягостное, почти остановившееся время ожидания и как-то смыть, растворить накопившееся волнение, господа пили, и от вина голоса их вскоре окрепли.

— Господин Уйлаки мечется по Буде, как неприкаянный!..

— А господин Цилли в Вене места себе не сыщет!..

— А чех Искра — в Леве!..

— Не везет им, сам господь от них отвернулся!

— Он ныне за нас стоит!..

Хуняди с тихой улыбкой молча сидел в конце стола, слушая речи, в которых таилась окольная похвала ему. Он оглядывал сидевших вокруг стола, всматривался в усатые, бородатые лица. Каковы истинные мысли и намерения, что скрываются за растянутыми в улыбку ртами, за словами восхваления? Чего ждут от него эти люди взамен отданных ему голосов?

— Твоя милость, говорят, латыни не знает, — обратился к нему Шимон Розгони. — Сторонники Уйлаки беснуются: дескать, может ли стать правителем тот, кто латыни не знает, да и читать-писать лишь кое-как умеет! А я тогда сказал им: не беда, коль он и не знает по-латыни, зато туркам да вам сумеет на зады разборчивую печать поставит и предупреждение написать, чтоб покой страны не смущали!

Господа встретили его слова громким хохотом. Сам Хуняди улыбнулся, хотя укол был ему весьма неприятен. Так и раздавил бы сейчас кубок, который сжимал в руке! Но времени переживать обиду не было — прибыл новый гонец. Гонец встал посреди зала и громкогласно объявил:

— Милостивый господин Хедервари сообщает, что правителем теперь уж наверняка станет главный военачальник господин Янош Хуняди!

Вельможи повскакали из-за стола, и уже в который

раз за этот день зазвучали виваты. Хуняди чувствовал, твердо знал, что должен выиграть это сражение, он и не допускал возможности проигрыша, но все же известие приятной, теплой волной прокатилось по его сердцу, сразу смыв недавнее огорчение и тревогу. Он тотчас наполнил кубок и залпом осушил его.

— Ведомо ли вам, господа, — громко вскричал он, — какой закон я издам прежде всего? О снесении каждой крепости, которая делу защиты страны не служит. А мои — все для ее защиты!..

Он откинулся на стуле и впервые за долгое время засмеялся с торжеством и облегчением; от грозного этого веселья даже разгулявшиеся вельможи притихли.

Крепость Хуняд выглядела так, будто давно находилась в осаде, и вот сейчас наступили редкие минуты затишья, когда все уцелевшие и невредимые ее защитники стараются поскорее заткнуть бреши, заделать разрушения, причиненные пушками и метательными машинами: повсюду строили, сверлили, тесали. Из-за лесов, возведенных для ремонта старых и строительства новых башен, стен, вышек, из-за камней, нагроможденных в ожидании каменотесов, из-за известковых ям, ведер с известью, из-за множества суевившихся людей по крепости едва можно было передвигаться. И будто здесь строилась настоящая Вавилонская башня, сквозь адский шум пил, стук молотков, грохот наковален пробивалась отчаянная мешанина языков: миланские зодчие, флорентийские камнерезы, немецкие медники, чешские стекольщики, венгерские обжигальщики извести, румынские резчики по дереву и носильщики камней пытались убедить друг друга в своей правоте. Со строгими лицами произносили лестные слова одобрения, улыбаясь, сыпали отборными ругательствами, но все это было совершенно неважно, даже если бы случайно двое встретившихся понимали язык друг друга: в страшном грохоте они все равно не уловили бы ни единого осмысленного слова. Тот, кто видел в эти дни Хуняд, вправе был усомниться, что из этой полуразрушенной, беспорядочно перекопанной, расковырянной груды камней когда-либо возродится крепость... Сам Хуняди — впрочем с величайшим увлечением принимавший участие в планировке строительства, в совещаниях с мастера-



ми — теперь не слишком верил в успех и, когда мог, прятался от шума и грохота, которые сводили его с ума. Но спрятаться было делом нелегким, так как строители не забывали даже о самых отдаленных закоулках крепости, везде находили то, что требовало перестройки, — то, без чего крепость не будет похожа на италийскую либо иную западную рыцарскую крепость... А госпожа Эржебет, взявшая на себя роль полководца и возглавившая преобразовательные работы, не отклоняла ни одного разумного на вид предложения; однажды во главе победоносного войска стекольщиков она вторглась в спальню, где господин Янош занимался государственными делами, и оттеснила его в гостиную, а на следующий день, предводительствуя медниками, выжила и оттуда — и так до тех пор, пока он наконец не разбил постоянный лагерь в оружейной... Правда, прибывшие из баварского герцогства стенописцы и здесь не хотели оставить его в покое, но тут уж он окончательно разгневался и не пустил их к себе, как ни молила его госпожа Эржебет, чем только не прельщала.

Да, госпожа Эржебет была полководцем, к ней все обращались за советом, шли к ней с жалобами и с просьбами. Она везде успевала, распорядилась весело и увлеченно, будто с разрушением старой крепости рушилось и ее прежнее, в бессмысленной тишине протекавшее существование, будто вместе с новыми благородными линиями заново возведенных и украшенных стен отстраивалась, полнясь содержанием, и ее жизнь. Лишь теперь выяснилось, какой тонкий у нее вкус, как велико понимание искусства и всего прекрасного: по любому поводу она могла высказаться, сразу же разрешала все возникавшие вопросы, и, если выбирала какую-нибудь отделку, убранство, они непременно были самыми красивыми, самыми оригинальными. Господин Янош мог спокойно скрываться в оружейной под предлогом срочных государственных дел, во всем мог ей довериться. Ничто не ускользало от ее внимания, и даже красть и обманывать на глазах хозяйки крепости вряд ли было возможно.

Ее и повстречал первой епископ Янош Витез, в одно прекрасное весеннее утро въехав в крепость верхом в сопровождении многочисленной свиты. Спрыгнув с коня, он с тихим удивлением оглядел изуродованный лесами двор, загроможденный грудами камней, ведрами с

известью, обломками мрамора, окинул взглядом полуразрушенную-полуотстроенную крепость, когда же за всем этим увидел руководившую работами Эржебет, то так и застыл от изумления.

— Никак ты зодчим стать собралась, сударыня-сестрица? — смеясь, спросил он, звучно облобызав ее в обе щеки. — Никак зодчим собралась стать, ежели занялась столь не женским делом?

Эржебет покраснелась от его поцелуев, словно приняла их не как родственные или отеческие. Да и смущение, вызванное неожиданным приездом епископа, прошло не сразу, — в замешательстве, чуть не заикаясь, она отозвалась:

— Зодчим стать не собираюсь, но крепость хочу уютным гнездом сделать.

— Это не внешними украшениями дается, сударыня-сестрица. А тем, таится ли внутри мягкость да уют. Или тебе то неведомо?

— Ведомо, отец епископ, право же, ведомо. Но если внутри мягкости недостает, можно восполнить ее хоть внешними украшениями, я так думаю... Согласен ли ты, отец Янош?

Епископ не пожелал заметить обращенный к нему намек и перевел разговор:

— Все же во внешнем убранстве, пожалуй, лучше разбираются мастера, этому обученные.

Однако при всем том его очень интересовало, что и как делается в замке, что и почему одобрила Эржебет, и вскоре они уже с увлечением ходили среди развороченных камней, постоянно угрожавших рухнуть лесов, осматривая все подряд: кладку стен, мельчайшую резьбу, всяческое убранство.

— Очень красивы формой своей, — заметил епископ, указывая на башни, наполовину уже возведенные; когда же Эржебет разложила перед ним пергамент миланского зодчего с планом крепости, чтобы показать, какова она будет в законченном виде, епископ Янош не мог сдержать удивления и восхищенно воскликнул:

— О, да таких я и в Италии не много видывал!

— Так, может, я все же имею склонность к художеству? — с гордым смехом спросила Эржебет. — Ведь и моя доля участия есть в выборе плана.

— В тебе очень сильно развито чувство прекрасно-

го, — сказал Витез, поглядев на нее долгим взглядом, словно желая сказать еще что-то.

Эржебет угадала недосказанное, заметила этот невольный взгляд — и, будто испугавшись, повела епископа дальше, спеша направить его внимание в другую сторону:

— Погляди, отец Янош, как вырезано окно! Тебе нравится такое удлиненное?

— Пожалуй, я сделал бы его чуть уже. Вот как в Болонье видел, в рыцарских замках. Миланские зодчие хорошо умеют и башни возводить и все прочее, но не умеют вырезать окна с должным изяществом. Для этого надобно приглядеться хорошенько к стройным женщинам — таких только в Болонье увидишь. В Милане-то даже красавицы всегда немного нескладны, вот вроде этого окна...

Затем, словно опомнясь, еще раз оглядел Эржебет с головы до ног и потеплевшим голосом произнес:

— Но тебя смело мог взять за образец миланский мастер. Ты все еще стройна, как девушка, будто и не мать двух взрослых сыновей...

— Не льсти мне, отец Янош, а не то зазнаюсь, — сказала госпожа Эржебет, покраснев от удовольствия. — Ты-то хорошо разбираешься в женской красоте. Так говорят...

— Не лесть это, сударыня-сестрица, а чистая правда, я частенько собирался тебе сказать...

Он хотел было продолжить признание, но вдруг, словно что-то вспомнив, оборвал себя и проговорил совсем другим тоном:

— Однако я прибыл сюда не любезности говорить, а государственные дела улаживать. Где найти мне господина правителя Яноша?

— Он в оружейной делами занят. Целый день слова от него не услышишь.

— Мы еще поговорим с тобой о стройности оконных форм! — сказал он Эржебет и, словно жаждая поскорее уладить неотложные дела, взбежал по лестнице, высоко подобрав сутану, — так подбирают юбку женщины, ступая по грязи.

Правителя он и в самом деле нашел в оружейной: полураздетый, без бекеша, как в сильную жару, Янош Хуняди сидел у столика с короткими козьими ножками и, опершись головой на ладони, склонялся над перга-

ментом, исписанным густыми сплетениями линий. Он был так погружен в свое занятие, что не услышал, как открылась дверь, и встрепенулся лишь тогда, когда епископ, неслышными шагами зайдя за спину, неожиданно закрыл ему глаза ладонями.

— Эржебет! — воскликнул Хуняди, чуть не задохнувшись от волнения, и по голосу ясно было, что смятение его вовсе не от испуга. Как и не от того, что испуг прошел, стал оттенком бледнее тон его голоса, когда после долгого ожидания он еще раз попробовал угадать:

— Лацко!

Когда же епископ отнял руки от его глаз и с лукавой улыбкой предстал перед ним, Хуняди проворчал глухо — и в его голосе смешались радость и разочарование:

— Заморочил ты меня совсем. Такие у тебя маленькие да мягкие руки, как у женщины или у юнца, который и саблю-то в руках еще не держал, — оправдывался он. И тут же с искренней радостью приветствовал епископа: — Добро пожаловать к нам!

— Спаси тебя бог! — пробормотал в ответ епископ и одновременно дружески стукнул Хуняди по спине, да так, что тот даже крикнул. — Вылезай-ка из своей берлоги, ретезатский медведь! Сретение давно минуло...

— Похуже мороза всякого то, что у нас снаружи творится.

— Тебе бы следовало за работами смотреть да с планами сверяться, а не слабой женщине!

— Она почище любого мужчины управляется.

— Да, хороша будет у вас крепость, — сказал епископ, сдержав шутливые подкалыванья, и даже головой покачал с глубоким удовлетворением. — Равной ей и в дальних землях не сыщется.

— Пускай никто не посмеет сказать, что избранный сословиями правитель Венгрии в овчарне живет, — сказал Хуняди с гордой похвальбой, но тут же, понизив голос, пожаловался совсем по-детски: — Только бы поскорее уж конец настал стуку этому да грохоту. Нигде ведь покоя нет!

— А с крепостью вместе ты сам изменишься ли, милостивый господин правитель? — спросил Витез, не обращая внимания на жалостные слова.

— Ты всегда дорогой гость у меня в крепости, — очень серьезно ответил Хуняди. — Но если при-

был ты ко мне как посол или с иными тайными умыслами, лучше молчи, не говори ничего.

— Чьим же мне быть послом, ежели не своим собственным? Неужто ты примешь слова мои за чужие и не пожелаешь их выслушать?

— Так ли спешно это? — уклончиво спросил Хуняди. — Еще зад твой от седла не отдохнул, ты еще и куска не проглотил, а желаешь уже делами государственными заниматься? Пойдем-ка сперва перекусим немного. Мед, что осенью собрали, отменно затвердел. Ты, знаю, большой до него охотник...

Вскоре появилась госпожа Эржебет, освободившаяся от работ, и мигом велела слугам устроить гостю пиршество, ради которого епископ охотно отложил совет по поводу дел государственных. Витез ел долго, с наслаждением и за все время не проронил ни слова. Хуняди только дивился, с каким неистощимым аппетитом поглощает гость еду, и даже сам, казалось, чувствовал во рту вкус лакомств, которые уплетал тот, но в конце концов ему это надоело, и он с шутливым неодобрением сказал:

— Послушай, Витез, куда в тебя такая прорва снеди влезает!

— А ты не заметил, что я себе все карманы набил едой?

— Может, оно сутане твоей и больше на пользу, нежели твоим слабым кишкам. Скоро пять лет, как стал ты епископом, а все такой тощий, что это уже бедствие общегосударственное. Епископство я тебе смог расстараться, а уж брюхо да жир, что званию твоему приличествуют, сам наедай. И поскорей, не то попы да прихожане подадут на тебя жалобу и попросят папу наказать тебя, как того папского камерария, о котором сообщал как-то в письме наш общий знакомец Поджио Браччолини.

— Какую же ты мне участь пророчишь, господин правитель? — смеясь, спросил Витез.

— Того камерария прихожане сместить пожела-ли за то, что не нажил достаточно большого брюха, которое отбило б у него охоту от добрых гулянок...

Когда же госпожа Эржебет, покраснев, одернула его, он, смеясь, принялся оправдываться:

— Так я ведь только о пользе славного нашего

епископа варадского пекусь. Что на Италийской земле свершилось, и у нас страстись может!

— Все же лучше я таким останусь, если обо мне речь идет, — улыбнулся и Витез.

Пока они беседовали, в зал вошел юноша лет восемнадцати — двадцати и почтительно поздоровлся с епископом. Тот, отодвинув от себя яства, в восхищении обнял его:

— Лацко! Как давно тебя не видал, даже узнать не могу! А как вытянулся! Может, тебя в Смедереве вверх подтягивали?

— Может, и стали бы подтягивать, ежели б посмели, — заносчиво воскликнул юноша ломающимся, по-отрочески густеющим голосом.

С пушком над губами, каштановыми, вьющимися по плечам волосами, он был вылитый отец, каким тот запомнился Витезу с первой их встречи — добрых тридцать лет назад. Должно быть, и Янош припомнил себя молодым, он долго смотрел на сына, а потом твердо произнес:

— Когда Лацко прибыл к Бранковичу заложником, я сказал деспоту, что оставляю вместо себя сына, но ежели хоть волос упадет с его головы, не только бешеному турку, но и ему самому дорого обойдется Кенермезе!..

И, словно воспоминание разбудило дремавший в душе гнев, Хуняди, все более распаляя себя словами, вскоре уже просто кричал:

— Зря не скажу, Лацко там ничем не обидели, но, увидишь, наплачется еще деспот за Кенермезе! И прочим слезы лить придется! Да и ты, епископ Янош, не сделал того, что следовало! Когда дошла до вас весть, что, спасаясь от турок, я в плен к деспоту угодил, войско за мной послать следовало. Правитель я ваш или нет?

Ошеломленный Витез слушал обвинения, обращенные и к нему, но от неожиданности не мог даже ответить, лишь постанывал невнятно; но, даже придя немного в себя, только и выговорил:

— На это в другое время ответ получишь!

И чтобы разрядить возникшую напряженность, обратился к Эржебет:

— А где Матько в такое время гуляет?

— Верно, науками занят с господином Миколаем Лясоцким.

— Так он усерден?

— Больше прикидывается усердным, — с упрямым презрением и завистью перебил Ласло и скорчил такую гримасу, что все рассмеялись, только мать упрекнула сына:

— Не говори так о брате! Тебе в пример его усердие!

— Этот в отца! — Хуняди притянул к себе надувшегося сына. Больше он ничего не сказал, но явственно ответил жене на ее защиту младшего сына.

Когда Витез покончил, наконец, с трапезой, мужчины вернулись в оружейную. И едва захлопнулась за ними дверь, епископ, будто сошлись они сюда на смертный поединок, повернулся лицом к Хуняди и очень серьезным тоном спросил:

— Почему ты сказал, господин правитель, будто и я не сделал того, что следовало? Разве не я подбивал вельмож потребовать тебя у Бранковича? И разве не я помог тебе вызволить оставленного заложником сына?

Хуняди тоже повернулся к Витезу и с не меньшей серьезностью ответил:

— Не скажу, что ты не делал этого. Но чем измеряется сила действия, как не плодами его? А ежели так, то вижу я только одно: не вельможи вытребовали меня у Бранковича, а сам я себя вытребовал. Отдав в залог сына. И его мне вернули посулы мои да угрозы, а не чужая помощь...

— Мог ли я сделать больше того, что сделал?

— Ты, может, и впрямь не сумел бы сделать больше, но иное ты сумел бы и сейчас еще сумеешь — знаниями своими, всей душой своей рядом со мной стать, а не к тому прилагать старания, чтобы силу мою сломить...

— Разве я не это делаю? Разве не всегда это делал? В чем ты винишь меня?

— Не хочу сказать, что ты мой должник, потому что помог я тебе с епископством, — ведь и ты помогал мне ранее, чем только мог. Властью своей, советом и души возвышением. Но ныне ты этого не делаешь с прежней силою...

— Правду говори, всю как есть, а не пустые слова!

— Правда в том, что и ныне явился ты ко мне поколебать меня. Что не впервые уже делаешь...

— Раньше, когда я остерегал тебя от заблуждений и пытался указать иной путь, ты называл это помощью. А ныне, когда намерения у меня те же, считаешь, будто поколебать тебя хочу. Почему же ты теперь дурным считаешь мое благожелательство?

— Потому что не благо оно, а зло истинное.

— Откуда вдруг в тебе теперь столь великая уверенность?

— Путь, по которому надлежит мне идти, я и в прежние времена знал, только глаза у меня тогда малость подслеповаты были и не был уверен я, что найду этот путь. Для того и нужна была мне твоя помощь. Но ныне я знаю, что стою на верном пути и иду по нему!.. Чую я это, а сейчас и вовсе уверенность обрел. Прочти-ка вот это послание!

Он взял со стола исписанный пергамент, который читал, когда епископ потревожил его неожиданным своим появлением, и отдал Витезу в руки. Витез стоял в нерешительности, словно не понимал, чего от него хотят, потом подошел к окну и начал читать послание.

Это было обычное письмо.

«Великий и милостивый господин правитель! Не держи на меня зла за то, что шлю тебе письмо с опозданием, но я так сильно погружен был в работу, что лишь ныне очередь дошла до ответа. Несколько месяцев меня и дома, во Флоренции, не было, находился же я в далекой Швейцарии, откуда с такою удачей вернулся, что, пожалуй, это и твою милость обрадует. В библиотеке одного монастыря обнаружил я весьма древнее произведение, писание Аммиана Марцеллина, одна глава коего историю гуннов излагает. Очень много прекрасно-го есть в том произведении, много красоты, сердцу говорящей, но тебя, великий и милостивый господин правитель, оно особенно должно заинтересовать, поскольку речь в нем идет о предках твоего народа. Из-за множества дел не мог я еще до конца изучить сей труд, сейчас больше писать тебе об этом не стану, теперь уж в следующем письме, которое — надо надеяться — предстанет пред твои очи после менее долгого ожидания. Да и это все я написал сейчас потому лишь, чтобы ты покуда

душу свою подготовил к принятию всего прекрасного и истинного, что в писании том содержится.

На вопрос твой, могу ли поведать тебе о жизненном пути славного господина моего Козимо Медичи, с удвоенной радостью усердие приложу и в меру скромных моих способностей отвечу. И тебе этим ужогу, да и славный господин мой — пошли ему, боже, жизнь долгую — заслуживает, чтобы во всех странах христианского мира узнали люди о великой славе его, мудрости и доброй склонности ко всем прекрасным наукам... К тому же, насколько знаю я из твоих писем о собственном твоём жизненном пути, много в нём схожего с жизнью славного господина моего Козимо Медичи. И он происходил из семьи, которая не была благословлена большим богатством и властью, зато обладал силою и способностями, чтобы богатство и власть себе добыть. По моему же разумению, это для гордости причина во сто крат ббльшая, нежели обретение богатства и власти в готовом виде, ибо как может быть причиной гордости то, что в действительности и не наше?.. В ту пору Флоренция и Тоскана тяжко страдали от опустошительных набегов знатных и могущественных вельмож друг на друга. И вот господин мой с его богом дарованным талантом поставил целью жизни своей освободить все живущие там народы от набегов вельмож. И поскольку не только благоволение господне ему сопутствовало, но и хвала, любовь и надежды народа, победа не заставила себя ждать: всех могущественных магнатов победил он и установил свою власть над ними. Установил свою власть и ни с кем не договаривался, не торговался — ибо, если договариваться да торговаться о власти, на долю твою в итоге не останется ничего! Кого бог создал повелевать прочими, тот да исполнит волю Божию и не жалеет никого, кто на пути его станет, ибо в противном случае господь покинет его, лишив благоволения своего и помощи!..»

Витез дочитал письмо лишь до этого места, затем скользнул взглядом в конец длинного свитка, где продолговатыми, острыми буквами начертано было имя отправителя: Поджио Браччолини, — еще раз пробежал глазами уже прочитанные строки, затем поднял грустный, задумчивый взор на Хуняди и, ничего не сказав,

медленным шагом подошел к столу и положил письмо туда, откуда его взял правитель. Хуняди с недоумением проследил за молчаливыми его действиями и, тщетно прождав, пока епископ заговорит, не мог сдержать прошившийся на язык вопрос:

— Ты прочел до конца, епископ Янош?

Витез взглянул на него и сказал только:

— Действие, на тебя им оказанное, я и так вижу...

Епископ подошел к окну, выглянул на двор, где, подгоняя друг друга, суетились строители и художники. Он смотрел упорно, будто надеялся оттуда получить помощь или поощрение, а потом повернулся к Хуняди, с любопытством следившему за каждым его движением. Епископ показал на двор.

— Я говорил уже, как хороша твоя крепость, таких я и в Италии не много видывал!..

И так как Хуняди смотрел на него с удивлением, после короткого молчания продолжал:

— Душа моя всегда успокаивается, видя подобную красу, ибо жажда прекрасного во мне не исчезнет вовек. Но выдержат ли эти стройные башни, которые ты возводишь, свирепые бури с Ретезата? А все эти резные украшения выдержат ли осаду турок или иных врагов, которые нападут с другой стороны?

— Ты хочешь сказать, что...

— Я сейчас не хочу сказать ничего иного, кроме того, что у меня на сердце. А на сердце у меня лишь тревога за тебя. Даже если ты и думаешь по-другому...

— Я понял твою притчу, епископ Янош. Но чую я, бог избрал меня, чтоб поставить над разоряющими страну вельможами. Или не прочел ты в письме ученого отца Поджио Браччолини, что, ежели кто не исполнит волю божью, того господь лишит в конце концов своей помощи?

— Да, прочел.

— Вот я это и исповедую!

— Да, прочел, но не забываю того, что Поджио Браччолини живет в Италии. И что Козимо Медичи живет во Флоренции, а не здесь, в Венгрии. Прошу тебя, господин Янош, не забывай этого и ты!

Хуняди немного помолчал, потом тихо спросил:

— Ну, а какое же предложение ты привез мне? Ведь, думаю, не с пустыми руками приехал.

— Я не привез с собой готовых предложений. Я

приехал, чтобы потолковать с тобой. Но не так, как сейчас, не с враждой друг к другу, а с любовью и пониманием.

— Слушаю тебя, епископ Янош.

— Все же оттуда, из Варада, я дальше вижу и больше слышу, нежели ты отсюда, из-за Ретезата. Правда, меня твоим холопом почитают и очень остерегаются говорить при мне истину, но, знаешь ведь, слуге иной раз скажут то, что до ушей хозяина довести хотят, да только шепнуть-то не смеют ему на ухо!

— Я и так много дурных вестей получаю. Есть у меня преданные люди, они долгом своего сердца почитают сообщать мне все.

— Поверь, я тоже предан тебе, господин Янош. Но я не довольствуюсь передачей сообщений, я и свое мнение тебе излагаю. Не довольствуюсь пересказом, что злобствуют на тебя за господина декана Миколая Лясоцкого, которого взял ты к своим сыновьям воспитателем. Говорят, кто поставил рядом с собой учителя покойного Уласло, тот, верно, хочет себя либо сынов своих поставить на место почившего...

— Ну, а ежели хочу? — спесиво вырвалось у Хуняди.

Однако Витез сделал вид, будто не слышал слов его, даже внимания не обратил, и продолжал высказывать то, что было у него на сердце:

— Еще раз скажу, я не довольствуюсь простой передачей наветов этих, и тут же добавляю: отпусти господина Миколая Лясоцкого и договорись поскорее с императором Фридрихом о выдаче Ласло, после смерти короля-отца рожденного...

— Стало быть, самому поставить над собой властителя, другим благоволящего?

— Все лучше, если сам поставишь, нежели другие это сделают. Враги твои. Уж они-то непременно против тебя его настроят, а так ты к себе привлечешь сердце юного Ласло...

— Но и ты ведь знаешь, что я достаточно торговался из-за него с Фридрихом австрийским, — нерешительно произнес Хуняди.

— Торговаться можно и так, чтобы покупатель сразу почуял: тут сделке не бывать...

Хуняди бросил на него злобный взгляд, и епископ поспешил договорить:

— Прочие вельможи, враги твои, слухи распускают, будто ты только вид делаешь, а договориться не желаешь.

И, высказав главное, заговорил просительно, чуть ли не умоляюще:

— Договорись с ним, брат Янош. Ныне они еще боятся твоей власти и с охотой пойдут на мирный сговор. Но что будет, если с одной стороны на тебя турок нападет во всеоружии, а с другой они — с коварством своим, что любого оружия губительнее? Столкнись с ними!..

Хуняди выпрямился, напряжинил короткие, кривые ноги, будто стоял отважно и твердо перед невидимым врагом, и заговорил решительно:

— Не сталкиюсь! Все свои силы против них выставлю, но не пойду на сговор! Какое уж тут согласие между огнем и водой? Ведь ежели я когда и считал себя огнем, они всегда водой становились. И ныне согласие было бы только в том, что вода залила бы огонь. А потом они станут друг друга заливать, но против главного врага, против турка, ни один из них не выступит! Им только своя власть важна, а не служба стране. Подняли они хоть раз саблю против язычников? А я против турок выстою и, ежели придется, против них тоже!

Затем он продолжал, но уже тише:

— Что с тобой приключилось, брат Янош, откуда в тебе столько опаски, что уж со всеми договора ищешь, сторговаться хочешь? Или то старческий страх да слабость говорят в тебе? Или желаешь всесторонне путь себе обеспечить, что вверх ведет?

Епископ Витез вдруг затравленно вскинул голову, будто хотел протестовать, даже рот уж открыл, но сдержал негодование и, обождав немного, тихо сказал:

— Я никогда не забываю, что мы находимся не в Италии, а в родной Венгрии. Здесь невозможен иной путь, только соглашение — либо с низами, либо с верхами!.. И ты так же поступишь.

— Идти на уступки из страха — никогда! Разве что интересы страны потребуют...

Юный Ласло, с тех пор как прибыл из Вены в Буду, чтобы занять королевский престол, впервые серьезно держал совет с вельможами. Это было что-то вроде ма-

лого Государственного совета: никто не получал особого приглашения, но явились все, кто по богатству своему и сопряженной с ним власти играл в стране значительную роль. Собственно говоря, не с королем держали они совет — от этого неизменно молчаливого юноши, всегда вялого и утомленного в перезрелой своей молодости, почти невозможно было добиться хоть слова даже о самых естественных проявлениях жизни. Вот и теперь он сидел на троне так сиротливо и беспомощно, будто собирался заснуть, даже глаза прикрыл, а вельможи, парно разойдясь по углам тронного зала, беседовали тихо, сдерживая привычные к громкой речи голоса почти до шепота, лишь бы не обеспокоить его... В этом отражалось и отношение к королю, которого после долгих проволочек и торга они все же поставили над собой, привезли домой из Вены, чтобы из уважения к высшей власти, впитавшегося им в плоть и кровь, как-то сдерживать себя, не подымать голос друг на друга еще больше, ибо поднимать его еще и еще было уже нельзя, не губя и себя самих, и государство...

По залу разлился совершенно непривычный, почти раздражающий дух миролюбия и преувеличенного стремления ко взаимному пониманию: в тихо произносимых словах даже не проглядывал гнев, самые заклятые враги, беседуя, касались лишь таких тем, по которым могли прийти к какому-либо согласию.

В одном углу беседовали Хуняди и Цилли. Тихо и растроганно говорили об умершей в Хуняде дочери Цилли, маленькой Катице, помолвленной с Матяшем Хуняди. Янош рассказывал отцу о ее последних днях:

— Она все время громко звала твою милость. Словно, не простившись, тяжело ей было в вечный путь отправляться...

Цилли молчал, только часто глотал слюну да подергивал рыжеватые редкие усы, словно хотел выдрать их все по волоску.

— ...Все время звала твою милость, домой рвалась. Мы бы и повезли ее на перекладных, быстренько, но не смели в путь тронуться, — зима-то суровая, мороз. До конца надеялись, может, выживет...

Наступила тишина, однако сейчас в ней не было никакой напряженности — просто оба глубоко погрузились в свои мысли.

— А я уж думал, — немного погодя горько и нере-

шительно проговорил Цилли, — что свяжет нас с тобой ее девичья ласка...

В этой фразе крылось больше, нежели естественная горечь: в ней было крушение попытки достигнуть примирения с помощью семейных уз, и, значит, снова подымала голову пожирающая обоих вражда со всеми ее ухищрениями и насилием... Однако пока эта мучительная страсть еще мирно дремала в них, Хуняди выслушал Цилли и сказал просто:

— И я так думал...

К ним подошел королевский наместник Гараи и с доброй родственной улыбкой обратился к Хуняди:

— Как поживает мой будущий зять Ласло? Пришлось ли ему по вкусу новоиспеченное пожоньское графство?

— Благодарю тебя, добрейший господин наместник, он жив и здоров! А как поживает моя будущая невестка Анна?

— Благодарю, добрейший господин главный военачальник, и она в полном здравии...

Эти любезности они повторяли друг другу чуть ли не каждый день, при любой встрече, и оба принимали их так, словно слышали впервые. Однако они тут же и расходились, так как продолжение беседы потребовало бы иного тона и иных слов. Но видно, на сей раз королевский наместник особенно жаждал единения, ибо не удовольствовался сказанным и продолжал нащупывать путь, по которому мог бы пройти вместе с Хуняди еще хоть несколько шагов.

— А как там турки, господин главный военачальник?

Он спросил так, как спрашивают, заранее зная о чьей-то страсти и любезно давая возможность о ней заранее поговорить. Для Хуняди же борьба против турок действительно была страстью, делом настолько кровным, что он, не обратив внимания на снисходительно-поощрительный тон, тотчас же заговорил:

— Пред тем как отправиться в путь, получил я известие, что новый султан Мехмед угрожает вторгнуться в Венгрию. Говорит, не успокоится, покуда не одолеет нас...

Падение Восточной империи, падение Константинополя произвели неопишное впечатление в Венгрии: все — и те, кто стоял так высоко, что мог заглянуть за

рубежи отчизны, и те, у кого власти было поменьше, так что они могли заниматься лишь внутренней жизнью страны, — все ломали теперь головы над этим проклятьем — нависшей над Венгрией турецкой опасностью. Все усиливавшийся нажим язычников, который собравшиеся на совет владетельные особы, казалось, ощущали уже собственным телом, наконец-то расшевелил их, — по крайней мере, они начали раздумывать и говорить об этом. И сейчас, уловив слова, сказанные чуть более громким тоном, и поняв, о чем идет речь в углу, многие стали подходить ближе, кольцом обступив беседующих.

— Ежели мы сейчас ничего против турка не сделаем, — говорил Хуняди все с большим подъемом, — он, ей-богу, погубит не только меня, но и всех нас. А вместе с нами все христианство. Ныне подходящий момент помощь получить от папы и всех истинно христианских властителей. Только для этого наша единая воля необходима. Ежели соберется совет страны, я предложу новый налог, который пойдет не на что иное, а только на оборону... Что вы скажете на это, господа?

Господа ничего не сказали, они промолчали. Цилли нарушил короткую тишину, заметив:

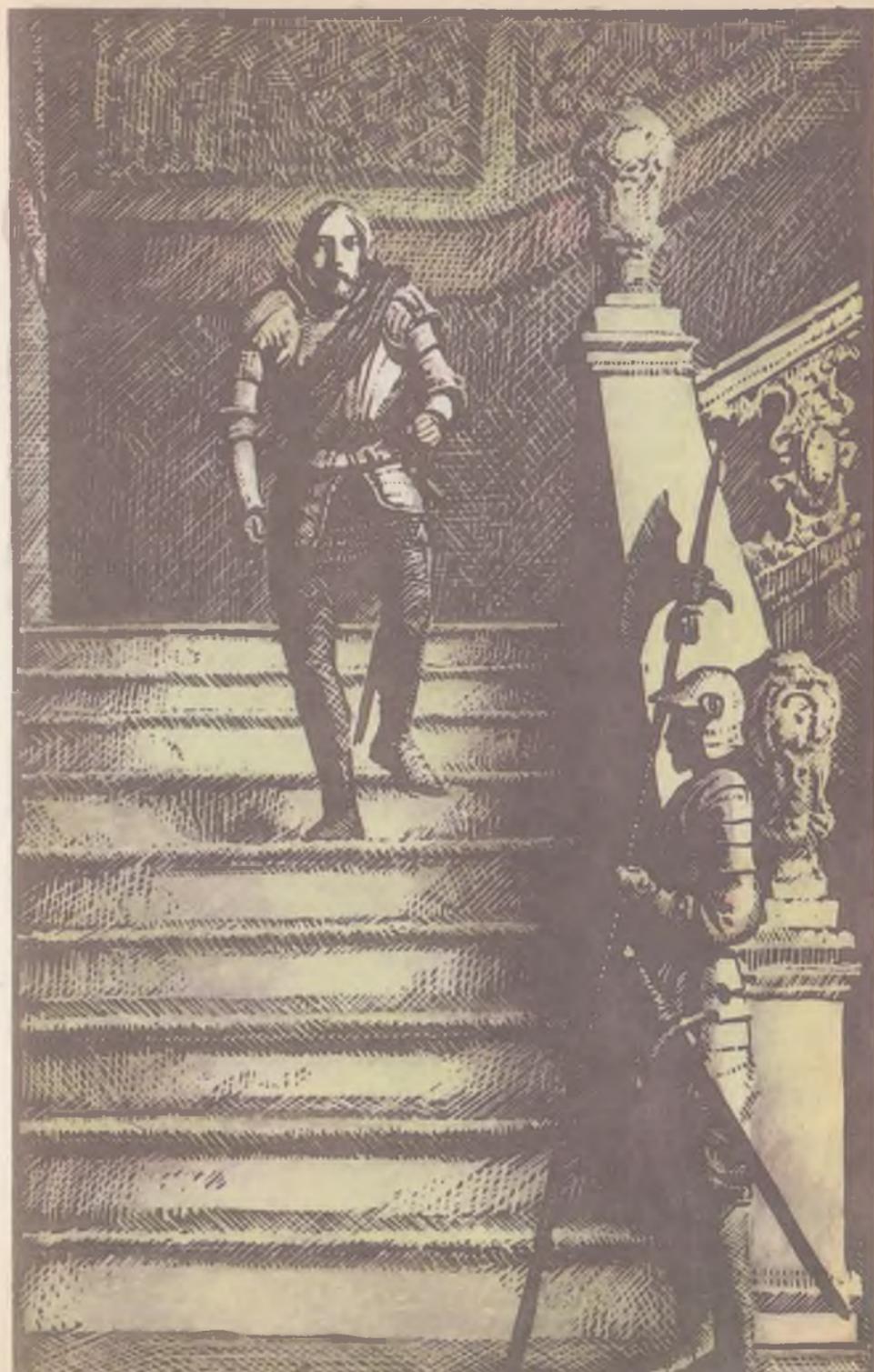
— Христианские властители и талера не пожертвуют нам в помощь. Да и папа не склонен дать что-либо, кроме молитв. Похоже, лишь император Фридрих может нам истинным союзником стать, после нас турок всего ранее до него доберется...

Услышав эти слова, Хуняди повернулся так резко, будто неожиданный укол в бок получил, но все же сдержался и сказал только:

— Император Фридрих легко с султаном Мехмедом договорится, посулив ему Венгрию... Папа же передал мне, что окажет нам любую помощь, какая в его силах будет...

— А не лучше ли венецианскую мудрость испробовать? — вмешался и Уйлаки. — Они и у папы денежную помощь берут, и с турок деньги получают за то, что перевозят их войска на своих кораблях...

— Да что ты, господин воевода! — нетерпеливо прервал его Хуняди. — Мы не Венеция, у нас нет того множества быстроходных кораблей, но мы лакомый кусок у турка в глотке. И он нас проглотит, как только сможет. Не над венецианской мудростью надлежит размышлять нам, господа, а над тем, что предпринять про-



тив турок. Согласие, единение — вот ныне наша мудрость. Все силы надобно против турок направить. И даже крепостных к делу этому привлечь!

— Ты-то уж начал! Слыхал я, ты разрешил им свободно переселяться...

Голос воеводы звучал насмешливо и даже как будто призывал к ответу. Казалось, совещание не кончится миром и снова разгорится вражда, но королевский наместник Гараи сумел все сгладить. Кивком указал на дремлющего на троне молодого короля и перевел разговор в другую, более мирную область:

— А верно ли, господин главный военачальник, что в твоих лесах, в Шарошде, даже зубры водятся?..

По окончании совета Хуняди покинул королевский дворец в мирном, добром расположении духа. Он чувствовал себя как человек, который долгое время брел в потемках, напрягая все нервы и ежеминутно готовый к нападению, и вдруг понял, что он в безопасности. Главный военачальник Венгрии спускался по ступеням дворца, придворные слуги, низко склоняясь, отворяли перед ним двери, а он размышлял о том, что, пожалуй, поступил бы правильно, с самого начала сюда направив свой путь... Он даже сказал ожидавшему его внизу, во дворцовой галерее, Михаю Силади:

— Вот не думал, что Ласло столь любезный король. Я полагал, Цилли больше испортит его.

Силади с удивлением поглядел на Хуняди, пребывавшего в несвойственном ему снисходительном расположении духа, и сказал:

— Один его вид так смягчил твое сердце? Ведь ты, верно, и словом с ним не перемолвился.

— Как бы не так! Я все по порядку рассказал ему, что и как делал в пору своего правления, и он ни разу не сказал, что я делал неладно. Перечислил, какие дела остались еще в моих руках, и он ни разу не сказал, чтобы я перестал ими заниматься. Поведал о государственных затруднениях, о том, что нет согласия меж нами, и он сказал, что надобно договориться...

— А про государственную казну говорили?

Теперь Хуняди поглядел на него с удивлением.

— Я тебе уже сказал, что говорил ему обо всех делах, кои еще в моих руках находятся.

— И он согласился? Сказал, чтобы ты продолжал ведать ими?

— Да...

— Я-то не был в королевской приемной, но краем уха слышал, что вельможи уже совещались о том, как забрать из твоих рук управление казной.

Хуняди остановился, словно конь, получивший удар в грудь, и уже повернулся, чтобы вернуться в тронный зал. Силади, успокаивая, взял его за руку.

— Пойдем, пойдем, господин Янош! Я думаю, ты бы давно без легких остался, если бы каждый раз, как наверху против тебя что-то замыслят, обратно мчался.

— Но ведь король не сказал «нет»! Он сказал «да»!

— А потом сказал «да» вельможам. Слова тут и ныне имеют не больше силы, чем ранее. Сила только за оружием!

Хуняди ничего не ответил, но почувствовал, что какое-то оружие он выронил, потерял.

11

У моста через Рабу и по обе стороны дороги, ведущей в город, огромными толпами стоял любопытный люд. Все держали в руках букеты цветов или охапки цветущих и просто зеленых веток, наломанных с деревьев, чтобы бросить все это под ноги виновнику торжества, когда он дойдет до них. Из города к мосту двигалась целая армия духовных лиц с епископом во главе — одетые в парадное облачение, все они шли пешком, степенным, медленным шагом; за ними следовала группа знатнейших женщин города, тоже пешком и тоже в праздничной одежде, а по обочинам дороги, на конях в нарядной сбруе, медленно, гуськом двигались вельможи, прибывшие на предстоящее Государственное собрание; иногда они останавливались, принаравливаясь к тем, кто шел пешком. Шествие было длинным, хвост его едва выбрался из города, а голова уже доползла почти до моста. Священники и женщины распевали псалмы, словно несли священное тело Иисусово, излучавшее любовь на далекие народы и дальние страны, а вельможи в блестящих латах, на конях с изукрашенными седлами и уздечками, выступали столь важно и торжественно, будто ожидали короля... И волнение выстроившегося по сторонам народа, проявлявшееся сперва в шепоте, а потом во все более громких выкриках, тоже

напоминало о торжественной приподнятости в ожидании королевского прибытия. Но вот из уст в уста прокатился вдруг шепот, тотчас же перешедший в крик:

— Идет... Идет!..

На мосту действительно показалась маленькая группа: впереди шел очень старый высохший монах, одетый в коричневую сутану францисканцев, которая вообще уже потеряла цвет от густо осевшей на ней дорожной пыли. Монах шел босиком с непокрытой, смиренно склоненной головой, а за ним на ослах ехали еще несколько францисканцев. Однако с первого взгляда было ясно, что центр здесь — не те, кто путешествовал с большими удобствами, а шагающий в смиренном одиночестве маленький, высохший старик в свободно болтающейся на нем одежде и с обнаженной головой, также покрытой дорожной пылью чуть не в палец толщиной. Священники в парадном облачении, оказавшись перед ним, преклонили колена и головы, на что он ответил, распластавшись в пыли и погрузившись в долгую молитву. Встав, он подошел к епископу, облобызал его и, не сказав ни единого слова, так же смиренно опустив голову, продолжал путь к городу; за ним двигались монахи на ослах, армия священников, женщины, распевавшие псалмы, а по обе стороны шествия — вельможи верхом на конях. В этом безмолвном смирении, в этой простоте и бедности, выделявшихся среди роскоши и блеска и как бы отвергавших их, в том, как шел он, босой, по дороге, было нечто грандиозное и величественное, что захватило собравшуюся толпу, заставило ее разразиться криками непритворного обожания. Здравницы и виваты звучали в честь маленького старика в сутане все громче, со все большим воодушевлением, к его босым ногам летели под восторженные клики букеты цветов и цветущие ветки. Люди бросались в дорожную пыль, целовали землю, били себя в грудь; паралитики, слепцы и иные калеки валялись на земле, протягивая к нему руки; женщины показывали ему младенцев, счастливо смеялись, и вся толпа в едином порыве кричала: — Милости!.. Милость яви нам!.. Грехи отпусти!..

Волны страстей захлестывали толпу; крики, вырывавшиеся из взопревших в весеннем тепле тел, стоны калек, моливших об исцелении, визг женщин — все сплеталось, перемешивалось, взаимно подстегивая друг друга, тем более что тот, к кому это было обращено,

продолжал идти так же молча, с опущенной головой и сложенными на груди руками. Но вдруг он высоко поднял правую руку и показал толпе крест.

Это был совсем небольшой деревянный крест, даже не оструганный как следует, — такие имелись в доме у каждого, — но сейчас, когда его подняла вверх эта тонкая, костлявая рука, никто не остался стоять, все, как один, рухнули на колени, бились, валялись по земле с нищими и калекками, и с каждой минутой все настоятельней бушевал крик:

— Милости!.. Яви нам милость, отец Янош!.. Грехи отпусти!..

Янош Капистрано и Хуняди сидели друг против друга в низенькой, темной и прохладной монастырской келье. Хуняди все еще был в надетой для встречи одежде из раззолоченной ткани с блестящими украшениями, а монах так и остался босой, простоволосый, даже не смыл с себя дорожной пыли... Они сидели молча, оглядывая один другого с чуть смущенной улыбкой, как люди, давно знающие друг друга по слухам и письмам, мысленно представляющие себе облик друг друга и даже чувствующие, будто и в самом деле виделись, близко знакомы, — но вот они встречаются, и реальный облик оказывается столь чуждым, столь непохожим на воображаемый, что даже с помощью слов едва удастся отыскать дорогу друг к другу...

— Я рад, что ты внял моему призыву и пришел, отец Янош! — прервал наконец тишину Хуняди. — Великая у нас нужда в твоём витийстве.

— Я пришел с радостью, господин Янош, — улыбнулся монах, заметно повеселев от горячих, лестных слов; однако же было видно, что улыбается он не часто: высохшая, натянутая на скулах кожа, казалось, могла лопнуть от непривычного усилия. — Я с радостью прибыл и с радостью отдам свое слово ради дела во имя истинной веры. Но радость моя была бы еще большей, ежели слова обернулись бы уже делом. Год назад в письме, тобою посланном, ты чаял осуществить то самое, что и ныне, да и за год до того... Может, и еще год пройдет в одних упованиях?

— Сделай, отец, чтобы так не было. Здесь всем

вельможам ведома слава твоя великая, к тебе их сердца склонятся!

— Сердца! — улыбнулся снова Капистрано, и, казалось, было слышно, как рвется кожа на его лице. — Они как лоза, туда клонятся, куда ветер дунет... А видывал ты, господин Янош, лозу, что может противостоять ветру, как ее ни умоляй, что ей ни нашептывай?

Хуняди, будто не мог более играть словами, за ними скрываясь, наклонился к монаху, чуть не к самому лицу его, и настойчиво сказал:

— Склони короля, вельмож и всех прочих, чтобы прекратили душить друг дружку!

— И тебя бы перестали душить, а, господин Янош? — неожиданно спросил монах с легкой усмешкой.

Хуняди, оторопев, несколько мгновений пристально глядел на священнослужителя, затем тихо произнес:

— Я стараюсь только ради блага веры нашей, отец Янош!

Но вдруг, словно раскаявшись в тихом этом смирении, вскочил с места и сразу перешел чуть ли не на крик, — стены кельи гулко ему вторили.

— Ну, а ежели и хочу, чтобы меня душить перестали? Неужто я не вправе просить тебя об этом? Да есть ли в просторной этой стране иной вельможа, кто столь близко к сердцу принимает дело веры, как военачальник Хуняди? И ты истинной веры во благо послужишь, ежели за меня встанешь. Ведь папа затем и прислал тебя, чтобы веру укрепить! Все, кто добра и справедливости желает, со мною рядом стать должны, а не с господами этими, завистливыми канальями, что меня же и оговаривают. Рядом со мной стать надобно, будь я даже глупец, лишь к сожжению пригодный, ибо ныне один я здесь защиту веры собой являю!

Слова лились бурным потоком, Хуняди уже почти орал, побагровев и вытянув вперед шею, он бил себя в грудь, так что украшения, цепи и подвески на его наряде испуганно звенели. Казалось, река, долго стиснутая плотинами и запрудами, прорвала вдруг все преграды и разлилась широко и свободно. Капистрано с удивлением, чуть не с испугом глядел на этот внезапный взрыв дикой ярости.

— Остынь, господин Янош! — попытался он успокоить Хуняди.

Однако как разлив, прорвавший плотину, нельзя остановить новым препятствием — все будет тщетно, покуда не иссякнет его сила, — так бесполезно пытаться подавить слова, если их гонит накопившееся за годы внутреннее возмущение. Хуняди и внимания не обратил на слабую попытку его усмирить, а, будто настоящее половодье лишь теперь начиналось, продолжал все крепнущим голосом:

— В глаза все льстят мне, чуть не зад лижут. Что ни скажу — со всем согласны. А стоит отвернуться, чего только не чинят против меня!.. Власти моей завидуют? Но разве не доверие сословий поставило меня столь высоко? Поместьям моим завидуют? Но не прилежанием ли да храбростью заслужил я их? К глотке моей тянутся, заткнуть ее хотят, но я их всех раскидаю, такую трепку задам, что все передохнут!

— И меня, видно, для того позвал, чтобы я последнее напутствие дал им? — с легкой насмешкой спросил Капистрано.

Это тихое бесстрашие сразу привело Хуняди в себя, слова застряли в горле, как застревает непроглоченный кусок. Рука его, только что колотившая грудь, метнулась в воздухе, но застыла на полпути и бессильно упала. Хуняди повернулся, сел на место и, точно пробудившись внезапно от сна, огляделся. А Капистрано молча, сжав тонкие губы, смотрел неотрывно на растревоженное лицо старого воина.

— Очень уж много горечи этой во мне накопилось, — заговорил наконец Хуняди. — Делаешь, что сердце и честь велят, а тебя повсюду только зависть подстерегает да предательство. Надобно было мне душу облегчить. Крик этот столь облегчителен был, будто кровопускание или кровососные пиявки.

— Поосторожнее с подобными облегчениями, господин Янош! Вены перерезать — вся кровь может вытечь, да и пиявки способны всю кровь высосать.

Потом, как бы покончив с этой частью беседы, заговорил совсем иным тоном — быстрым, отрывистым, как человек, привыкший участвовать в переговорах:

— Когда же, господин Янош, ожидаешь ты нападения турок?

— Как раз нынче получил известие: султан Мехмед собирает войско...

— С каким войском он может прийти, если придет?

— Тысяч сто пятьдесят, не меньше. Так лазутчики говорят.

— А ты, господин Янош, сколько можешь выставить против него?

— Не более тридцати тысяч.

— А король?

— Тысяч пятнадцать.

— Цилли?

— Двадцать тысяч.

— А если папа Каликст денег пришлет?

— Тогда все побольше выставят.

— А если мы крестовый поход объявим, да не только в этой стране, но и в иных государствах?

Хуняди, как зачарованный, смотрел на высохшего, ободранного и неряшливого маленького францисканца, всем видом своим являвшего нищенствующего монаха, но стоило ему заговорить, и речь его словно озаряла все вокруг него светом. Голос, тон его, о каких бы простых и обыденных вещах ни шел разговор, захватывали сами по себе. Несколько быстрых вопросов, полученные на них ответы — и с делом было покончено; Капистрано добавил лишь несколько слов, но на этот раз дружелюбно и тепло:

— Я постою за тебя, господин Янош. И обещаю тебе поддержку его святейшества папы, ибо и ему известно, что здесь, в краях язычества, ты единственный надежный щит веры!

Они помолчали; в келье становилось все темнее. На колокольне доминиканского монастыря зазвонили колокола, сзывая монахов к вечерне. Капистрано перекрестился и, сложив руки, стал усердно молиться про себя, закончив же, снова повернулся к Хуняди и заговорил так, как будто они были старые, но давно не видевишиеся знакомые, которые наконец встретились и, обсудив наскоро деловые вопросы, заговорили о своем, личном. Теперь в голосе Капистрано не было ни благолепия священнослужителя, ни твердости привычного к переговорам дипломата, — он говорил как истинный друг:

— Вот ты сказал, господин Янош, что недруги дуют на тебя. Неужто у тебя власти мало против них? Ведь ты самый могущественный вельможа в этой стране, у

тебя самые крупные поместья, у тебя больше всего крепостей, у тебя больше всех солдат и самая лучшая сабля...

— Этого всего достаточно лишь для того, чтобы меня не придушили, только и всего.

— А не думаешь ты, что сам, быть может, тому причиной? Душить можно и когда враги на тебя нападут, и когда ты сам рукам их горло свое подставляешь.

— Ты о чем, отец Янош? — спросил Хуняди неловко и стесненно.

— Мне твоя жизнь известна, господин главный военачальник, знаю, что из низов ты вышел... Но я тебе скажу так: человек и тогда достигнет большего, если, даже в середине пути своего заметив, что дорогу избрал неверную, повернет иную искать, а не просто глаза закроет на заблуждение свое...

— Отец Янош, я не столь учен, чтобы понять смысл твоих речей.

— Вот видишь, ты и сейчас глаза закрываешь. Все понимаешь ты, да только понять не хочешь.

— Может, так понимать, что избрал я неверный путь?

— Ты сам достойный ответ найти должен, господин Янош. Иного тебе не скажу, а вот историю своего пути поведаю. Родители мои очень богаты были, ребенком я воспитывался в большом достатке. Потом вырос и сам пошел по пути, вверх ведущему, к богатству. Но однажды было мне видение, и я повернул вспять: отверг все, что имел, и двинулся в другую сторону. И вот я здесь, бедный босой старец, в единственном своем рубище, но этого босого старца ожидают во всяких странах, этой сутаны страшатся все еретики, язычники и евреи, эту бедную старость призывают богатые вельможи, императоры и князья, и не найдется среди них ни одного, кто прогнал бы меня!.. А куда бы пришел я, если б и дальше по тому, прежнему пути идти продолжал!

Он говорил с подъемом, даже торжеством, и, хотя в келье было совсем темно, за словами его словно угадывались сверкающие молодой похвальбою глаза. Хуняди помолчал, затем тихо произнес:

— Так поддержи меня словом своим, столь звучным и далеко слышным!..

Едва минул праздник троицы, весна и не собиралась еще уступать место лету, но уже установилась такая знойная, чисто летняя жара, какая и в самом безжалостном августе случается редко. Листья деревьев свернулись, начавшие созревать плоды высохли, в колодцах иссякла вода, травы на лугах выгорели, стада коров бродили вдоль сельской околицы голодные и непоенные, а там, где стояли талые воды, белела, поблескивая, соль. Пшеница едва заколосилась, а у нее уж и корень высох... Словом, истинное светопреставление, проклятое лето, какого, быть может, еще никогда и не бывало. Правда, Михай Кома, старейший в селе человек, которому, как полагали, было самое малое сто лет, еще помнил, что в пору его молодости как-то выдалось такое же вот лето. Впрочем, у него на все, что бы ни случалось в селе, находились примеры из времен его молодости, но так как Кому все помнили лишь стариком, то люди и не верили уже, что он вообще когда-то был молодым, и рассказы его были для них вроде хорошей сказки по вечерам. Однако теперь, когда на них обрушилась эта кара божия, старик вдруг вошел в почет: по вечерам любопытные устраивались на порожке, облепляли его двор и выпытывали все подробно, чуть не про каждый день далекой его молодости спрашивали. Как тогда началось? Какая зима была? Луна с венцом ли взошла в страстную пятницу? Пришлось ли и в тот год десятину платить? И чем пробавлялись люди, когда ничего не уродилось?

Растерянно взглядываясь в безрадостное будущее, люди искали примеров в прошлом, надеясь найти в них ободрение.

В этот вечер чуть не вся деревня собралась во дворе старого Комы; люди сидели вокруг его дома, кое-кто даже на обочине дороги расположился. В последнее время здесь проходили все деревенские посиделки; правда, прошлогоднюю коноплю перепряли еще зимой, а новая пока только чахла от жары, даже для одной прялки пучка не нашлось, но люди развлекались тем, чем развлекаются обычно во время посиделок за пряжей: старшие слушали рассказы тех, кто был еще старше, а молодые играли и пели. Их задор и веселье не засушила даже нечеловеческая жара.

Старый Кома и в этот вечер, кто знает, в который

уже раз, снова принялся рассказывать про тот год, что так походил на нынешний.

— В день святого Георгия с дождем лягушки выпали — в кулак величиной, краснопузые, поганые такие лягухи, а убивать их нельзя было, потому, кто их тронет, тому они в глаза мочились — и слеп человек...

Вечер был темный, головокружительно глубокий и синий, луна еще не взошла, лишь мириады звезд лили вниз слабый свет. На все легла душная, недвижимая тишина, тишина без начала и конца, слышался только резкий, одинокий, старческий голос, рассказывавший сказку.

— Но еще в тот же день грянул гром, и первыми убило обходчиков пастбищ...

В гладко, складно вившиеся нити рассказа иногда вплетался щекочущий смех, который доносился от сложенного на дворе стога или еще из какого-нибудь уголка. И тут же на этот смех откликались парни, не принятые в волнующую игру, оставшиеся без пары, — они завистливо, полусмешливо-полусерьезно подтрунивали:

— Помощи там не потребуется?..

— А то покажу, как надобно...

— Может, ты уже побывал там, кривоухий, а?

Это была ночь, будоражившая чувства, полная вождения и сладострастия, насыщенная красками и ароматами: просто не верилось, что спутник ночи — день, с его губительной монотонной жарой, посягает на жизнь всего живого. А рассказ уже шел как раз об этом:

— А со дня святого Георгия ни капли дожда не выпало, только лягушки остались и погрызли все-все корни. Сожрали все и помаленьку разбухли, вроде мышек-полевок стали... Но убить ни одну нельзя было, потому, кто их тронет, тому они в глаза мочились — и слеп человек...

Суеверные речи синими блуждающими огоньками вспыхивали в ночи, потрясая души. Страх перед неведомыми призраками, со страхом смешиваясь перед убогим будущим, наполнял души людей невыносимым ужасом.

И вдруг, словно им тоже переданся этот ужас, в селе долго и жутко заскулили, завыли собаки. На востоке край неба заалел, как перед зарей, хотя солнце недавно зашло.

— Луна восходит в красном! — стуча зубами в суеверном страхе, говорили люди, хотя то была не луна, а

комета. Сначала над горизонтом появилась красная ее голова, затем она вся величественно и медлительно вползла на небосвод, волоча за собой длинный, невероятно широкий хвост.

- Конец света наступает...
- Грядет смертоубийственная война...
- Гибель ждет всех нас...
- Смертоубийственная война.

Так кричали, вопили, причитали люди, объятые смертельным ужасом, и разбегались кто куда. Многие громко молились, били себя в грудь, другие кинулись к бочкам с вином и напились допьяна, кто-то откупоривал сосуды иных радостей, чтобы хоть насладиться перед неминуемой смертью. Воем собак, не спускавших глаз с кометы, молитвами, пьяными выкриками и сладострастными вздохами любовников наполнилась эта страшная ночь.

Несколько дней спустя в село прибыли монахи верхом на ослах, а один из них пришел пешком, босой. Их приняли за нищенствующих братьев. В другое время таких гостей встретили бы нелюбезно, ведь им пришлось бы уделить хоть что-то из скудных и без того запасов, однако теперь, в дни, когда люди инстинктивно тянулись друг к другу, они радовались каждому, от кого надеялись получить слово ободрения, так что не прошло и нескольких минут, как вокруг пришельцев столпилось все село. Монахам несли скромные дары от убогого крестьянского стола — вино, смешанное с водой, испеченные в золе коржи из гречихи и хором просили:

- Обнадежьте, отцы, обнадежьте!
- Отпущение грехов дайте пред погибелью...
- Милости, милости, добрые отцы!

Однако монахи ничего от них не приняли, а тот, босой, что явился пешком, заговорил с ними так:

— Я принес вам милость, бедные венгры, верные крепостные, милость и обещание лучшей жизни. Видали вы на небе сверкающую звезду? Не бойтесь, не гибель несет она вам, а лишь божье ободрение, чтобы поднялись вы и пошли со мной послужить истинной вере. Лютый враг истинной веры Христовой, турок поганый в пути уже, погубить хочет весь христианский мир и разрушить державу возлюбленного Иисуса нашего. Против

них подал бог небесное знамение. Знамение это — свидетельство, что бог с нами и он нас поддержит, а кто с нами пойдет, для вечной жизни восстанет. Так пойдем же со мною, бедный крепостной люд, чтоб сломить силу турка поганого и добыть себе жизнь вечную. В души свои загляните, покайтесь в грехах своих и все, как один, под знак креста становитесь! А за это вам прощены будут все грехи ваши!

И вместе с теми, кто еще в тот же день нашил себе на грудь крест, монахи двинулись на юг, к Нандорфехервару. Впереди, босой, с непокрытой головой, шел старый монах, который обращался к крепостным с призывом, шел пешком, едва притрагиваясь к питью и еде и, как видно, не страдая от летнего зноя.

— Сила божия в нем! — говорили крепостные и шли за ним, тоже босые, с распрямыми косами на плечах.

А старый монах в каждой деревеньке, попадавшей им на пути, говорил, обращаясь к народу:

— Осените себя крестным знамением, возлюбленные крепостные, осените крестным знамением не только грудь свою, но и все орудия, что в руки вы берете. Осените крестом всю худобу свою, ибо знак сей — знак вашего искупления. И залог лучшей жизни вашей.

И крепостные, к которым никогда еще так не обращались, которым еще никто не сулил лучшей жизни и которых никогда не ободряли обещанием небесного и земного блаженства, толпами следовали за звонкогласым монахом. Если он поднимал руку, и они поднимали руки, если он начинал молиться, и они начинали молиться, если он отправлялся в дорогу, и они отправлялись в дорогу с ним вместе...

— Какое нынче число? — спросил Хуняди у своего писца священника Золтана.

— Десятое июля, господин главный военачальник.

Хуняди это знал, вот уже несколько недель он всеми нервами своими встречал и провожал каждый следующий день календаря, почти физически ощущая, как они летят. Сбор войск, выступающих против турок, был назначен на двадцать девятое июня — и вот сегодня, двумя неделями позже, здесь, в Кеви, на левом берегу Дуная, в нескольких милях от Нандорфехервара, он

чуть ли не в одиночестве стоял со своей армией. Где король Ласло, где королевский наместник Гараи, где Уйлаки, Цилли, Розгони, Хедервари и прочие? Где Цудары, Бебеки, Перени, которые еще недавно были его добрыми помощниками и верными сторонниками?

Накануне он получил от папского легата Карваяла весть из Буды, что король выступил оттуда, но направился в Вену, якобы на охоту, — покинул страну, почти как беглец... После этого, разумеется, и остальные вельможи не сдержали данного Капистрано и папе обещания, не прибыли в лагерь. Это был удобный случай, удобный предлог оставить Хуняди, этого выскочку, погибать одного... Да неужто они все еще не видят, что речь тут не о нем, не о его личной судьбе идет, а о судьбе отечества, судьбе христианства? Или ненависть их к нему сильнее любви к родине и к церкви? В чем провинился он, за что его так ненавидят?

Капистрано, неутомимый старик, вернулся вчера из Калочи. Хотел уговорить калочайского епископа Рафаэля Херцега оказать помощь против турок, но и епископ отклонил его просьбу. И это — первосвященник церкви, вокруг паствы которого уже кружат да точат зубы волки!

«В чем же я провинился перед ними?» — спрашивал себя Хуняди по многу раз на день в течение этих двух недель, проведенных в истерзавшем все нервы ожидании. Чем провинился он перед королем Ласло, рожденным после смерти отца своего? В том, что поддержал в свое время не его, грудного младенца, а поляка Уласло? Но ведь с той поры Хуняди многократно искупил эту вину свою, которая была и не вина, а истинный долг его, выполненный в интересах страны... И ежели по-прежнему не может признать этого юный король, если по лживым наветам льстивых своих советчиков все еще считает это виной и грехом его, то мог бы, кажется, и своим умом сообразить, что именно Хуняди был одним из тех, кто вырвал его, вместе с королевской короной, из рук хитрого и вероломного императора Фридриха... А в чем провинился Хуняди перед Уйлаки, бывшим своим союзником, который теперь вдруг повернул против него? Или все еще простить не может, что Хуняди правителем выбрали? Но что ж, если именно ему было оказано доверие сословий, против этого никто не вправе голос подымать... В чем грешен



Хуняди перед Цилли? В том, что путь ему отрезал к боснийскому престолу? Это так, но само стремление Цилли к престолу было направлено против Хуняди, так что, выходит, он не нападал, а защищался. Да и вообще они с той поры примирились... Ну, а перед Гараи в чем повинен? Перед остальными? Они не могут попрекнуть его даже тем, что Хуняди будто бы слишком возгордился своей властью, — ведь, сделавшись правителем, он все старания применил, чтобы жить с ними по-хорошему. Хотел сам предать забвению и их заставить позабыть о вражде, установить единство хотел, чтобы сплотить общие силы для защиты страны. Так в чем же тут дело, за что?..

Бесчисленное множество раз пытался он мысленно разобраться во всем, но дойдя до этого последнего вопроса, застревал неизменно. Так было и теперь.

— Пойду осмотрю лагерь, — сказал он оруженосцу Секеи. — Ежели господа искать меня станут, скажи, что вернусь тотчас.

И, сев на коня, Хуняди поскакал к Дунаю. Не лагерь осматривать он отправился, а прочь от него, как можно дальше. Он погонял, пришпоривал коня, погонял и себя самого, ибо чувствовал, что вопрос, который задал он себе в лагере, преследует его и вот-вот настигнет... Остановясь на берегу реки, он поглядел на Нандорфехервар. Башни расплывчато вырисовывались в молочно-белом утреннем тумане. Хуняди смотрел, смотрел на стены крепости, на ее башни и чувствовал, как его давит безмерное одиночество. Какую судьбу сулят ему эти башни и стены? Он смотрел на них долго и пристально, покуда глаза не наполнились слезами, смотрел с таким ощущением, будто каждый отдельный камень, каждый кирпич крепости — это частица его собственного тела. Да, Нандорфехервар больше, чем простая крепость, это залог его будущего: победа ждет его или поражение...

— Нет, не дам себя растоптать! — вдруг отчаянно взбунтовалась в нем воля. — Я покажу, что Янко Хуняди не так-то просто убрать с дороги. Я искал путь к единству, ради отечества искал его, меня же все бросили! Но я и один выстою!

Однако когда он посмотрел направо, в сторону лагеря, сердце его сжалось. Довольно ли одной воли при столь малом числе людей его? С реки веяло чистой про-

хладой, а он задыхался, ему не хватало воздуха. Неожиданно в ушах зазвучали слова Капистрано: «Человек и тогда достигнет большего, если, даже в середине пути своего заметив, что дорогу избрал неверную, повернет иную искать...»

И потом:

— Один я... Один...

Он не выдержал гнетущего чувства одиночества и пришпорил коня, чтобы поскорее оказаться в лагере: ему хотелось, чтобы вокруг были люди, люди. Хотелось слышать их голоса, видеть лица.

Когда он приблизился к лагерю, его в самое сердце ударила неожиданная радость, так что он даже пошатнулся в седле: вдали, там, где дорога уходила за горизонт, двигалось войско. Хуняди так вонзил шпоры в живот коню, что животное чуть не сбросило его, и поскакал бешеным галопом.

— Значит, все-таки!..

Лишь подскакав ближе, он увидел, что это был Капистрано, который вел к лагерю войско собранных им крестоносцев. Монах шел впереди, босой, с высоко поднятым крестом, а за ним, распевая священные псалмы, выступали босые мужики в сермягах и шапках, с распрямыми косами на плечах.

— Будь благословен, господин Янош, верный рыцарь христианства! — громко провозгласил Капистрано, но Хуняди стоял перед проходившими мимо отрядами крестьян с таким видом, словно из него вынули душу.

Собравшееся войско расположилось у Нандорфхервара: воины Хуняди — на левом берегу Дуная, в Кеви, крестоносцы монаха Капистрано — на правом берегу; но проникнуть в крепость, к своим, они не могли, ибо реку перегораживал турецкий флот. Между тем капитан крепости Силади все слал гонцов, перебежавших под покровом ночной темноты, с настоятельными, отчаянными посланиями, в которых просил действовать, просил солдат, ибо — доносил он — стоявшая лагерем с южной стороны сухопутная армия турок усиленно готовится к штурму, а он со своими несколькими тысячами воинов не продержится против нее и одного дня.

— Надо проникнуть в крепость! — вновь и вновь

повторял Хуняди, получая эти вести. — Надо разбить турецкий флот!

Он твердил это почти с маниакальным упорством, но — что таить — и его жег вопрос, который после всех заверений задавали находившиеся с ним господа Ласло Канижаи, Райнальд Розгои, Янош Короги и прочие. Однако вслух он высказывал не вопрос, а лишь ответ на него, словно никаких сомнений у него даже не возникло:

— Надо разбить турецкий флот!

Со своими людьми он спешно приступил к ремонту и укреплению приведенных с собой судов и срубил несколько новых. Затем предупредил Силади, чтобы и он держал суда наготове, ибо через несколько дней, утром четырнадцатого июля, они атакуют турецкие корабли, и тогда капитан крепости должен будет ударить на них с тыла. Медлить было нельзя — султан Мехмед начал обстреливать крепость с юга, и пушечные ядра так сильно разрушили стены и башни, что в любой момент можно было ожидать решительного штурма. Уведомив Силади, Хуняди послал гонца и к Капистрано, просил его быть наготове со своим войском и еще просил прислать самых храбрых, добровольно вызвавшихся крестоносцев, чтобы посадить их на атакующие суда. Турки заметили приготовления и выстроили свои корабли по всей ширине Дуная от берега к берегу, связав их к тому же крепкими цепями и канатами, чтобы создать единую непроницаемую плотину против готовых ринуться на них галер.

Утром четырнадцатого июля, едва взошло солнце, вниз по реке двинулись христианские корабли с крестоносцами. Вместе с ними по обоим берегам, с одной стороны — под водительством Хуняди, с другой — Капистрано, двинулось войско, чтобы придать храбрости корабельщикам и оказать им помощь в сраженье. Хуняди ехал во главе войска на коне, Капистрано шел босиком, с непокрытой головой, неся в высоко поднятой руке знак борьбы — крест. Он шел впереди крестоносцев и громко молился, взывая к господу о помощи и выкрикивая слова ободрения плывущим на судах крестоносцам.

Маленький христианский флот представлял собой столь жалкое, убогое зрелище, что турки, увидев его в излучине реки, разразились громким хохотом и насмешливыми криками. Однако христиане не обращали вни-

мания на насмешки и прилагали все усилия, чтобы убыстрить ход своих подгоняемых течением судов, направляя их прямо на сцепленные меж собой турецкие корабли. Столкновение было таким сильным, что цепи и канаты, связывавшие корабли, оборвались во многих местах и множество турецких судов было повреждено. Суда противников смешались, увлекаемые течением реки, на них началась ужасная резня. Христиане сражались храбро, презирая смерть, распрявленными косами они сталкивали турок в воду, прирезывали их из милости, а с кем не могли справиться оружием, утаскивали за собой в глубь реки. Отец Янош, стоя на берегу, показывал им крест и громким, слышным и на середине реки голосом ободрял своих воинов, суля отпущение грехов и небесное блаженство. А Янош Хуняди тем временем вторгся с берега на сцепленные турецкие корабли, производя в рядах язычников страшные опустошения. Те защищались отважно и отчаянно, уже казалось, что их сопротивление вот-вот сломит атаку христиан, когда вдруг стоявшие на берегах крестоносцы разразились громкими кликами ликования: в тылу турецкого флота показалась армада кораблей из крепости. Попавшие меж двух огней турки потеряли голову и думали теперь лишь о том, чтобы удрать и спасти оставшиеся в целости суда. Они развязывали цепи, рубили канаты и, доверяясь течению, спешили уйти от верной гибели. Река была полна трупов и тонущих вопящих людей — христиан и язычников. Но путь в крепость был свободен...

Наступило утро, неправдоподобно светлое, молочно-белое, раскаленное июльское утро. С южных башен взгляд беспрепятственно летел далеко, на многие мили, покуда не наткнулся неожиданно на стену взбегающих высь холмов. Обрывистые склоны холмов были зелены, леса чередовались темными и светлыми пятнами, казалось, они истекали красками: зелень всех оттенков, сливаясь, бежала вниз, в распластавшуюся у подножья холмов долину, бежала все дальше по ухабистым просторам и по бугристой низине, прорезанной рвами до самой крепости. Взгляд, скользивший по руслам зеленых потоков, заливавших склоны холмов, вдруг останавливался на потоке иной пестроты и красок: то был огромный лагерь сухопутного турецкого войска, который заполнил

всю низину перед крепостью так, что земли под ним не было видно. Бесчисленное множество шатров блистало всеми цветами радуги: на высоком холме — самый большой и самый пестрый — стоял шатер султана Мехмеда, а вокруг него, словно цыплята вокруг наседки-матери, раскинулись шатры беев, пашей и прочих военачальников. За ними же густо, один к одному, теснились шатры воинов, напоминавшие отсюда, сверху, гигантскую россыпь грибов. И над каждым шатром — а также на беспорядочно оставленных повсюду повозках, на рогах самых красивых буйволов и волов — развевались знамена и штандарты с полумесяцем и конскими хвостами.

Сейчас воины заканчивали утреннюю молитву: пав на колени перед шатрами, они то склонялись до самой земли, то вновь распрямлялись, вознося хвалу своему богу, и над ними лилась песнь имамов, сопровождаемая странными гортанными завываниями. Море коленопреклоненных людей, которые, забыв обо всем, фанатично молились, само по себе было устрашающим зрелищем, подчеркнутое же ритмическими завываниями, это зрелище совершенно подавляло наблюдателя. Но вот молящиеся — десятки тысяч разом — вскочили с колен, будто по команде, и, размахивая саблями, странно и дико запрыгали, причем с такими воплями и воем, что задрожали крепостные стены и башни.

— Видно, к атаке готовятся, — с усилием сказал побледневший Хуняди окружавшим его дворянам. — Пожалуй, и нам пора готовиться к встрече...

Они стояли на южной, сильно поврежденной башне, смотрели на зияющие, в рост человека, бреши и понимали, что башня ежеминутно может рухнуть под ними. Правда, защитники крепости — воины, крестоносцы и местные жители — усердно трудились: отчаянно торопясь и подгоняя друг друга, они с самого вечера всю ночь напролет носили камни, но устранить разрушения и заполнить бреши никак не могли. И неудивительно: турецкие пушки и камнеметные машины работали несколько дней почти без перерыва, и то, что защитники крепости строили за ночь, машины, поистине пожиравшие стены, на другой день разносили вдребезги, еще увеличивая бреши и разрушения. Хуняди смотрел, как, вспотев и задыхаясь, снуют по крепости люди, как поспешно передают из рук в руки камни, укладывают их рядами один над другим и как чуть-чуть поменьше ста-

новится от этого зияющая брешь, затем перевел взгляд на все еще прыгающих и вопящих турок, и в голосе его не слышалось ни капли уверенности в себе, когда он вслух высказал созревшее в душе суждение:

— Овчарня это, а не крепость. Стаи же волков все более ей угрожают...

И стал медленно спускаться во двор крепости; остальные безмолвно следовали за ним, и только Капистрано поднял голос:

— Не будь малOVEROM, господин главный военачальник! С нами бог, и ежели мы одним лишь крестом осеним бреши в стенах и башнях, язычники-турки не смогут преступить их.

Хуняди недовольно, с досадой посмотрел на монаха и буркнул:

— Ты, отец Янош, не с крепостными крестоносцами говоришь. Выбирай слова-то!

Мгновение Капистрано молчал, ошеломленный резким тоном Хуняди, тень обиды заволокла высохшее лицо, но тотчас же на устах у него появилась добрая, всепрощающая улыбка, и с пафосом проповедника, смешанным, однако же, с истинным убеждением, он сказал:

— Сила веры укрепляет любого, не только крепостных. Как желаешь ты одержать победу, господин Янош, ежели сам не веришь в нее?

— Не веры недостает мне, отец Янош, — смягчившись, примирительно сказал Хуняди. — Неужто не ясно тебе это? Остаюсь же я здесь с весьма малой надеждою на победу, хотя, может, здесь и голову сложить придется! Думается мне, это и есть истинная вера.

— Негоже вступать сейчас в пререкания! — воскликнул Короги. — Меж вашими речами непременно турок протиснется, а уж тогда, как ни осеняй его крестом, он победителем будет!

— Пойду за крестоносцами, — сказал Капистрано, уходя. — Один отряд я оставил покуда под Зимонью. Вот они вместо меня и дадут достойный ответ.

Разошлись и прочие господа, чтобы привести в готовность доверенные им отряды. Хуняди вместе с Михаем Силади направился в верхние залы крепости немного перекусить, как по утрам положено, пока не настало время для более суровой трапезы, когда захрустят косточки лядские...

— Не люблю я попа этого, Капистрано, — сказал

Силади, когда они остались одни. — Как ни люб он твоей милости, а мне не по душе.

— Напрасно ты... он праведник, чистой души человек. И нам, и вере отменный помощник. Дряхлый старик, а ведь ночей не спит, воинов собирает — кто бы еще совершил такое? Уж не наши ли попы да епископы? — И он коротко, сухо рассмеялся.

— Не скажу, что не прав ты. Но мне он все же не по душе. Чую, милее ему слава его, нежели вера, ради коей он вроде бы трудится...

— А в ком, скажи, жажды славы нет? Да ежели слава общему делу на пользу, так это не опасно. Жажда славы есть во всех, разве что не каждый ищет ее на том пути, что под ноги ему стелется.

Силади искоса взглянул на него с удивлением, но промолчал.

Весь день турки вели себя спокойно, словно никаких намерений начать вскоре штурм у них не было, даже перестали разрушать стены и башни. Темные жерла их пушек молча, сонно зевая, глядели на защитников крепости, бездействовали и камнеметные машины. Однако к закату, когда тени удлиннились и защитники крепости готовились уже к вечерней молитве, дабы вознести хвалу господу за спокойно прошедший день, гигантская человеческая масса вдруг зашевелилась, поднялась, как один человек, на ноги и медленно, но с грозной неотвратимостью двинулась к крепости, словно желая растоптать ее, смять необъятным телом своим. Впереди шли буйволы, впряженные в телеги, на которые были поставлены пушки и канеметы, а за ними катилось море воинов в чалмах. Шли они бесшумно, в зловещей тишине. В нескольких сотнях шагов от крепости пушки и камнеметы были установлены, за ними длинной, плотной преградой выстроились солдаты. И вот по данному знаку заговорили пушки, пришли в действие камнеметы, на стены, башни и находящиеся за ними защитников крепости обрушились огонь и лавина камней, неся ужасающие опустошения, прижимая людей к земле. Однако даже рев пушек был заглушен истошным воплем, изданным оттоманскими воинами: это, слегка расстроив ряды, но с бешеной силою двинулась на приступ пехота. Защитники крепости еще не оправились от паники, выз-

ванной пушечным обстрелом, а турки уже были у стен, облепили проломленные ядрами бреши; те же, кто не мог найти какой-либо щели, пытались взобраться на стены по длинным лестницам. Началась страшная битва: христианские наемные воины — саблями, копьями, стрелами и пищалями, крепостные — распрявленными косами разили все ожесточеннее штурмовавшего крепость врага, гигантскими людскими волнами то тут, то там захлестывавшего стены.

Хуняди неизменно оказывался там, где грозила наибольшая опасность; обеими руками держа широкий обоюдоострый меч свой, он рубил турок и громовым голосом ободрял воинов:

— Руби их, руби, славные витязи!

Но и Михай Силади, и прочие господа славно бились в сраженье. Янош Капистрано взобрался на одну из самых высоких башен и с хоругвью в руке громко, перекрывая шум боя, молился:

— О господи, господи! Яви нам извечное твое милосердие! Гряди, гряди, гряди нам на помощь! Не мешкай, явись и освободи тех, кого искупил ты бесценной своею кровью! Явись же, не мешкай, дабы не посмел сказать враг: так где же их бог?

Слова громогласной его молитвы подхватывали христианские воины: мучительно задыхаясь, они безумным тысячеустым криком призывали на помощь небеса. А Капистрано уже зывал к крестоносцам:

— Сражайтесь и умрите со славою за возлюбленного Иисуса нашего. Да пребудет на вас божье благословение! Будьте храбры в битве, сражайтесь бесстрашно с древним сим змием, и вы обретете небесное блаженство. Покайтесь в грехах ваших, и святейший папа дарует вам полное отпущение грехов! О сыны мои, возлюбленные венгры, о бедняки праведные, вперед, вперед на правый бой против язычников!

Ни на минуту не умолкая, перемежая слова ободрения исступленными молитвами, он сулил им вечное блаженство, а потом, словно сам не был уверен, что этого достаточно, присовокупил и обещание земных благ:

— Сражайтесь храбро, возлюбленные мои крестоносцы! Ежели победите вы язычников, все, что принесли они сюда, вашим станет!

И крестоносцы отважно, не ведая страха, чуть не отталкивая друг друга, стояли непоколебимо на стенах

и, крепко сжимая косы в руках, вершили жатву смерти. Если храбрость или стойкость какого-либо отряда хоть на мгновенье ослабевала, над ним уже гремели ободряющие слова отца Яноша:

— Да не будет страха в вас, как нет его во мне! Смотрите, о возлюбленные крестоносцы, грудь моя устоит против железа языческого! Кто за Иисуса нашего падет, тот не смерть примет, а обретет вечное царствие небесное!

В лице его и всем облике не видно было признаков усталости или старости: сухощавый, в коричневой монашеской сутане, он стоял, резко выделяясь на темнеющем небе с хоругвью в высоко поднятой руке, и казался небесным посланцем, принесшим на землю слово и ободрение господне. Таким и виделся он крепостным, крестоносцам, всем христианским воинам, которые глядели на него восторженно и отдавали свои жизни с фанатической верою, исполненные нечеловеческого счастья.

Сильно смеркалось, смертельная битва продолжалась уже несколько часов, но ни один турок все еще не проник в крепость, — вновь и вновь неистово набегавшие людские волны скатывались со стен, будто с несокрушимой, незыблемой скалы.

Однако веры и фанатизма у турок было не меньше, нежели у христиан. Если христиане выкрикивали имя Иисуса, прося у него помощи, то турки призывали Аллаха и Магомета — глоток же у них было побольше, так что и крик звучал громче. У турок хватало воинов: стоило сокрушить, отогнать один их ряд, как на его месте уже вырастал другой и со свежими силами, упорно, ожесточенно штурмовал стены. В конце концов усталые защитники крепости не могли уже противостоять все возобновляющимся приступам: они оставили внешнюю линию стен и, обороняясь, отступили к воротам внутренней крепости.

Однако Хуняди снова и снова бросался с горсткой воинов на победоносно наступавших турок, и ему дважды удалось вновь отеснить их за стены.

— Не отступайте, славные воины! — взывал он. — Не бегите, ибо нет в бегстве спасения. Спасение только в бою! Лучше славная смерть, нежели бесславное бегство!

Его меч и латы были залиты кровью, он зарубил

уже великое множество турок, но все еще резво, проворно передвигался на коротких, кривых ногах, словно за плечами у него и не было шестидесяти лет. Рядом с ним с не меньшей храбростью сражались знатные господа — Короги и Канижаи. А вокруг них рассвирепевшие от запаха крови крестьяне острыми косами выпускали кишки туркам.

Однако к полуночи турки бросили в бой новые силы, и перед ними уже не могла устоять никакая отвага: теперь венгры желали лишь одного — отступить через опущенный мост во внутреннюю крепость как можно с меньшими потерями. Вокруг моста поднялась невообразимая суматоха, крестоносцы и воины стремились спастись и, давя друг друга, рвались в крепость, так что туркам также удалось взобраться на мост. Рассыпавшись по внешнему городу, язычники начали штурмовать стены внутренней крепости; одному из них удалось вскарабкаться на стену и водрузить знамя с полумесяцем и конским хвостом. Защитников крепости охватил ужас: они увидели в том небесный знак, свидетельствовавший о победе турок; к тому же отец Янош исчез с башни и некому было вновь ободрить бойцов. Но все же один из защитников внутренних стен — витязь по имени Титус Дугович — вступил в борьбу с водружавшим знамя турком, а когда не смог столкнуть басурмана со стены, то обхватил его вместе со знаменем и увлек за собой в бездну... Это событие на мгновение ошеломило турок, христиане же ощутили новый прилив храбрости, новые надежды, но все же очень скоро ожесточенная борьба завязалась уже на мосту.

Видимо, все было погублено. Михай Силади потерял всякую надежду и теперь в отчаянии носился взад и вперед, вопя, как безумный:

— Спасайтесь! Спасайтесь! Бегите к Дунаю!.. Беги и ты, славный господин Янош, бежим, милостивые господа!.. Турок уже не остановишь!..

Большая группа защитников моста — воинов и крестоносцев — подхватила его слова и, побросав оружие, пустилась бежать, увлекая за собой и тех, кто еще продолжал сопротивляться. А капитан крепости Силади продолжал кричать:

— Спасайтесь!.. Спасайтесь!.. Беги и ты, славный господин Янош!..

И тогда из кружившейся, клубившейся, сцепившей-

ся толпы вынырнул Янош Капистрано. Он подбежал к Силади, сунул чуть ли не в самое лицо ему крест свой и, позабыв о сани, заорал:

— Крестом этим башку тебе раскрою, ежели вопить не перестанешь!

Потом, перепрыгивая через окровавленные трупы, через тела взывавших о помощи раненых, он бросился к Хуняди с криком:

— Не оставляй моста, господин Янош, не оставляй моста! Руби мечом своим, бей и тех, кто убежать попытается, жертву принести не хочет! Я пойду сейчас и приведу с того берега еще крестonosцев, кои жаждут блаженной смерти! Только не оставляй моста до той поры!

— Да и ты не вопи так, отец Янош! — зло оборвал его Хуняди. — Не видишь, что мы сражаемся? — И тотчас обратился к воинам: — Видели вы витязя Титуса Дуговича? Против язычников за отечество сражаясь, лучше его примеру следуйте, но не бегите!

И вдруг крикнул громко:

— Эй, вина сюда! Вина! Подать вина тем, кто упарился!

Не отличавшиеся в обращении с оружием горожане притащили из подвалов внутренней крепости вино в огромных деревянных ведрах, и бойцы, умаявшиеся в многочасовом сражении, набросились на него, как измученный жаждой скот на придорожную лужу. Горожане едва успевали черпать и таскать ведра, ибо пересохшие глотки поглощали вино, как сухой песок — дождь, но воздействие его вскоре сказалось. Воины расхрабрились от алкоголя и даже охмелели. Началось кровопролитное истребление турок, и вскоре они вынуждены были убраться с моста. Молитвы, призывающие Иисуса и Аллаха, пьяные выкрики, предсмертные мольбы, треск пищалей — все смешалось в адском шуме, заполняя ночь, и на ужасное это пиршество изливала свой мирный, чистый свет круглая луна.

Вскоре вернулся и Янош Капистрано. Он привел из-за реки крестonosцев, и бой разгорелся с новой силой. У защитников крепости кончились боевые припасы, и тогда они стали швырять в карабкавшихся на стены турок смоченные в сере или смоле пылающие вязанки хвороста. Запах паленого, заживо горящего мяса, жуткие вопли полыхающих пламенем, мечущихся беспорядочно живых факелов устрешили язычников и обратили

их в бегство. Они валились со стен и башен, будто опаленные огнем осенние мухи, увлекая вниз друг друга, те же, кто замешкался внутри крепости, пали жертвой гнева озверевших от вина крестоносцев. Рукоятка ковша Большой Медведицы еще только повернула на восток, извещая, что минула полночь, а во внешней крепости уже не осталось ни единого турка, за исключением мертвецов, затоптанных, с выпущенными кишками...

С крестоносцами, опьяненными победой, не было сладу. Ощувив запах и вкус вина, они теперь, торжествуя победу, почувствовали еще большую жажду. Все забыли об усталости после многочасовой битвы, забыли о павших на глазах знакомых, друзьях, даже родичах. Сойдясь на середине крепостного двора, они, неуклюже подпрыгивая, плясали вокруг трупов, горланили веселые песни, лихо выкрикивали что-то, вздымая к небу косы, потом без всякого перехода затягивали заунывные божественные псалмы, а иные, подняв к небу лица, — они видели, как это делал отец Янош, — оглашали ночь молитвами.

Кто-то поставил на ноги мертвого турка и пустился с ним в пляс, очень серьезно приговаривая:

— Не откидывай назад голову-то, я поцелую у тебя не украду... Да поверти-ка малость задом!..

Остальные, стоя вокруг, ржали над его словами и добавляли еще от себя. Кто-то крикнул, поглядев на луну:

— А ну, сойди, король Давид! Побренчи нам на цитре!

— Ты бы лучше Цецилию позвал, не пришлось бы с лысым турком плясать!

Затем стали требовать вина:

— Вина! Вина во славу победы!

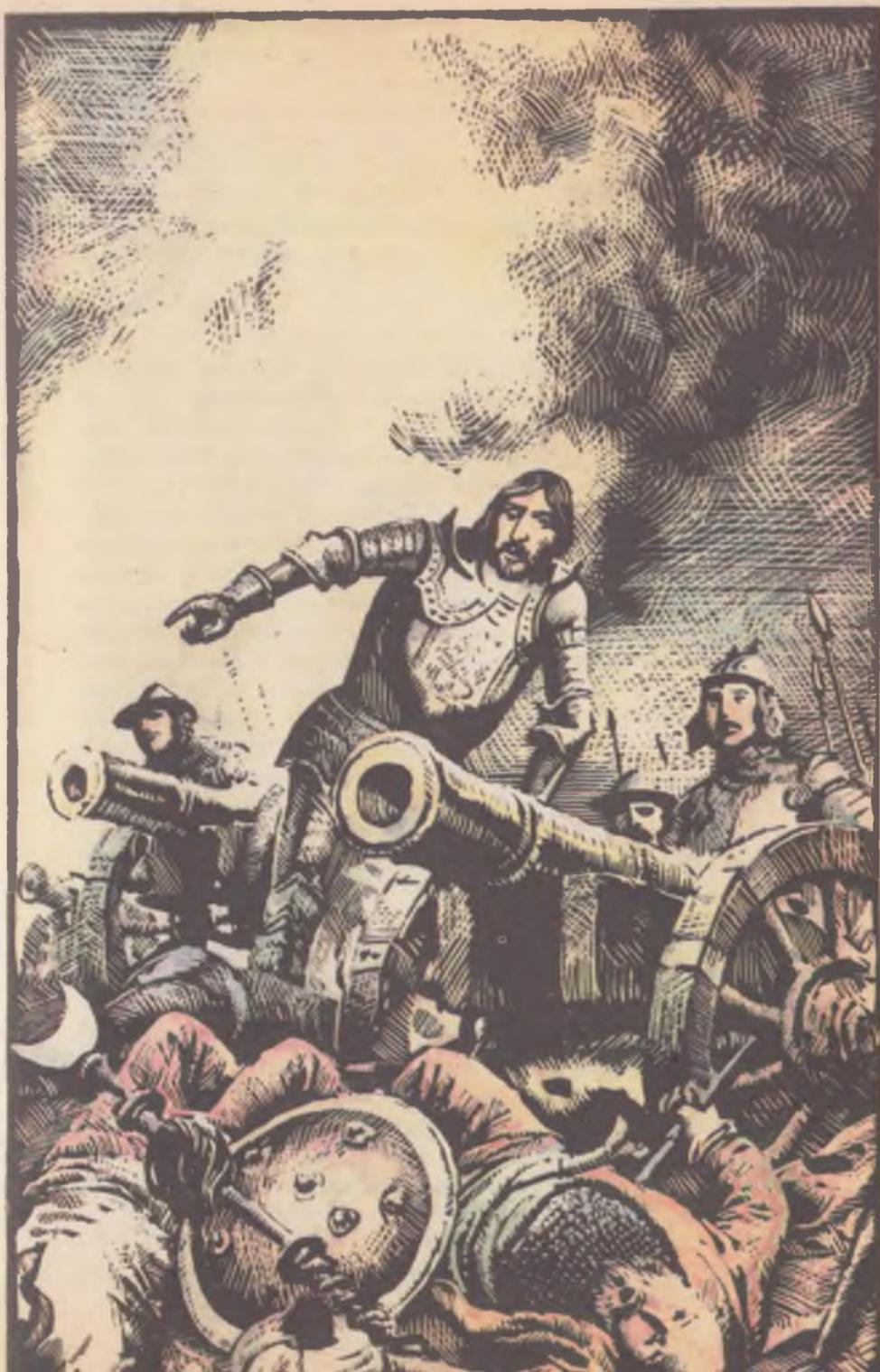
Отец Янош едва втолковал им, что радоваться еще рано, турки, быть может, и утра не станут дожидаться, а вернуться, поэтому лучше бы отдохнуть. Тогда крестоносцы набросились на мертвых язычников: содрав с них все, что привлекало глаз, — чалмы, пояса, шаровары, сандалии, они с благодарственными песнопениями удалились через задние ворота крепости в лагерь, расположенный на другом берегу реки.

Господа собрались вверху, в гостином зале внутренней крепости, чтобы, наскоро перекусив, тоже прилечь отдохнуть. Все устали так, что едва двигались, но радо-

сти и веселья было хоть отбавляй. Даже подшучивали над отцом Яношем, который совсем охрип от крика, так что крикнуть не мог как следует.

— Ты теперь только руками изъясняться сможешь, отец Янош, хоть и с небесными силами! Вроде глухонемого!

На другой день ничто не говорило о том, будто турки собираются атаковать снова. Однако защитники крепости, наученные вчерашней хитростью турок, усердно готовились к вечеру: чинили стены, башни, исправляли оружие, упражнялись, готовясь к бою. Капистрано привел своих крестоносцев и, расположив их во дворе внешней крепости, потчевал подходящими к случаю ободрительными речами. Но вдруг — это было уже после обеда — он заметил, что небольшой отряд крестоносцев незаметно выбрался из крепости и начал обстреливать из луков передовые посты турок. Отряд всадников спахии поспешил на помощь потревоженному сторожевому охранению, но крестоносцы отважно вступили с турками в бой и отогнали их. Тотчас появились новые отряды спахии, однако из крепости выбегало на помощь все больше воинов. Капистрано взобрался на стену и знаками — накануне он потерял голос от крика — звал их назад, но крестоносцы не возвращались. Тогда у него мелькнула смелая мысль: высоко подняв крест, он стал во главе находящихся в крепости крестоносцев и двинулся на турок. Крестоносцы атаковали левый фланг турецкой армии, который расположен был на склонах сбегających к Саве холмов, и чуть не в мгновение ока прогнали ошеломленных неожиданным нападением канониров от пушек первой линии. Опьяненные успехом, крестоносцы тотчас ринулись на пушки второй линии и захватили их. Но в лагере турок уже опомнились, особенно когда заметили, что крестоносцев очень мало, и сам султан Мехмед повел против них своих телохранителей; следом устремилось и все огромное войско. Казалось, мгновенье — и крестоносцы будут раздавлены, но тут из крепости выступил Хуняди со своей армией, он бросился к пушкам, отбитым крестоносцами, и его канониры открыли убийственный огонь по двинувшимся в атаку туркам из их же орудий. И опять началась, вернее, продолжилась грозная битва, первая глава которой разы-



гралась ночью в крепости. Турки вновь и вновь шли на приступ, чтобы отбить свои пушки, но христиане отражали все атаки. В одном штурме был тяжело ранен султан Мехмед, который храбро сражался в бою, и турецкая армия бросилась в паническое бегство. Когда опустился вечер, войска язычников, отступая, достигли уже подножия дальней гряды холмов. Однако Хуняди, опасаясь военной хитрости, не разрешил продолжать преследование, забил жерла вражеских пушек и вместе с войском вернулся в крепость.

Защитники крепости поначалу не хотели верить в победу. В самом деле, казалось невероятным, что гигантское, укrywшее собою землю и небо турецкое войско, большая часть которого и не приступала к военным действиям за время долгой осады, с позором убралось отсюда. Хуняди считал отступление хитрой военной уловкой и не разрешил войскам радоваться и веселиться прежде времени, а заставил усердно работать, исправлять стены и башни, поврежденные камнеметами и пушками. Он запретил выходить из крепости даже для преследования отступавших турок. Однако крестоносцы, опьяненные и воодушевленные успехом, проповедями отца Яноша, его громкими молитвами и посулами отпущения грехов, не желали повиноваться: они шумели и требовали выпустить их, чтобы преследовать турок.

— Веди нас, отец Янош!

— Пойдем бить турок!

— Умереть хотим за родную веру!

— Обещай нам прощение грехов и небесное блаженство!

— Борцам за веру уготовано славное местечко!

— Вкусившие блаженства братья наши ждут нас к себе!

И чтобы приумножить веселость свою и счастливую веру в спасение, они бросились в подвалы и налегли на винные бочки. Капитан крепости Силади тщетно метался среди них со своими помощниками, тщетно старался навести порядок. Когда же с великим трудом удалось отогнать воинство от бочек, крестоносцы осадили ворота крепости и потребовали опустить подъемный мост.

— Хотим идти за турками!

— Возлюбленный Иисус на правое дело зовет нас!

— Сила Иисуса вселилась в нас. Перед нами никакой враг не устоит!

Они поднимали косы, утяжеленные камнями мотыги и, казалось, готовы были броситься на стражу у ворот, чтобы освободить себе путь. Михай Силади, увидев, что не может с ними справиться, послал за отцом Яношем не отстававшего от него оруженосца, юного Короги.

Капистрано находился в верхних залах крепости у Яноша Хуняди, где они обсуждали дальнейшие действия. По зову оруженосца он тотчас поспешил во двор крепости. Когда крестоносцы увидали его, исступление, в которое обратилась их неистовая вера, еще усилилось. Многие истерически рыдали, вне себя от счастья, другие бросались наземь, целовали края его сутаны, землю, которой касались его босые ноги, падали ничком в пыль и умоляли его ступить на них, по их телам совершить ведущий к воротам путь.

— Да не коснется тело твое земли!

— Ты освободил нас от тяжести грехов, так отдай же нам земной груз свой!

Неповоротливая, потрепанная и неуклюжая крестьянская масса, босоногая сермяжная эта армия обратилась в единый, бестелесный, сверхчеловеческий восторг; усатые и беззубые рты коверкали слова молитв, из-под лохматых бровей лились потоки слез, были забыты все мучения, все убожество земной жизни: перед ними колыхалось достижимое и обещанное им небесное блаженство — многократно возвещенное сладкогласым отцом Яношем блаженство, ради которого, как казалось им, они свершили, быть может, еще недостаточно и потому хотели, жаждали новых жертв во имя этого блаженства, чтобы — не дай бог — в последний миг не погнали их от врат спасения прочь, назад, в мучительно колючие кусты прежних горестей...

— Веди нас, отец Янош!

— Предательством грешат стражи привратные против возлюбленного Иисуса нашего!

— Не пускают нас за турками!

— Сотвори чудо, и да опустится пред нами мост!

Однако кое-кто помнил и посулы отца Яноша относительно приумножения земных благ; и в них — наряду с жадной счастливого мученичества — пробудилось бо-

лее осязаемое желание поживы; их возгласы звучали иначе:

— Всю скотину турок с собой увел!

— И шкуры унес!

— Все припасы и иные сокровища!

— За ними идем, отобьем все!

Этого последнего требовали не меньше, чем небесного блаженства, и над толпой, сменяя друг друга, то вперемежку, то снова раздельно неслись выкрики:

— Жертва наша — Иисусу возлюбленному!

— Отобрать у язычников, что нам положено!

— Веди нас, отец Янош!

— Благословение господа с нами. Блаженная, иная жизнь!

— Все у язычников отобьем!

Шумная, готовая к боевым жертвоприношениям толпа все возрастала. Подходили крестьяне, находившиеся в других концах крепостного двора, где по приказу капитана крепости исправляли стены и башни. Заслышав вой и крики, накипавшие уже и в них самих, они побросали взятые в руки камни, схватили лежавшие рядом косы, мотыги, цепи, кривые сабли, подобранные после бегства турок, и неловко, грузно побежали к товарищам. Не успели они добраться до толпы, как сразу же, будто обуянные невидимой силой, превратились в одержимых: они продирались к отцу Яношу, чтобы коснуться края его одежды, и орали вместе со всеми:

— Умереть хотим за родную веру!

— Да простятся нам грехи наши, и да придет блаженство небесное!

Янош Капистрано стоял посреди судорожно извивавшейся, колыхавшейся шумной толпы, обротя лицо со счастливой улыбкой к небу, как бы оттуда ожидая указаний и повелений; при этом он, подняв высоко вверх, показывал людям простой деревянный крест, который всегда носил с собой.

— Возлюбленный народ мой, радость дающий и сердце мое смягчающий, самоотверженные крестonosцы, вечную боль Иисуса утешающие! — заговорил он наконец. — Сила господа и храбрость ваша, богом вам данная, одержали победу над язычниками. Вас избрал бог, дабы сломить опасность языческую. За это получите вы место избранное и на том свете. Ежели вы за турками идти желаете, то воля господа в вас говорит. Так

вперед на битву, возлюбленные мои венгры, добывайте бальзам целительный на раны страдавшего за нас Иисуса Христа!

Ликование, потрясшее стены и башни, было ответом на его слова, и исступление с еще большею, если это возможно, силой овладело людьми. Охранявшие мост воины почувствовали себя весьма неудобно, потому что распрямленные косы потянулись к ним, а сторожевая вышка, на которой они стояли, была невысока, и стоило крестonosцам приподняться на носки, как острое железо уже коснулось бы ног и зadoв стражей.

— Свершите и вы волю господа, — обратился к стражникам Янош Капистрано. — Опустите мост!

Но стражи не знали, что делать. Запрещение опустить мост и угрожающе тянувшиеся к ним острия кос вызывали в них одинаковый страх и желание повиноваться — а так как косы были ближе и казались более грозными, они явно послушались бы их приказа, — однако в этот миг Михай Силади закричал громко:

— Я приказал поднять мост. Выполняйте приказ, а не то всех посажу на кол!

Силади стоял в стороне от войска, одурманенного речами Капистрано, и с глубочайшим презрением наблюдал за всей сценой. Не раз его охватывал соблазн вмешаться, бешено заорать на них, но он сдерживал себя. Однако теперь, когда Капистрано захотел спустить мост, представился удобный случай выступить против него. Лицо священника, с которого сошло восторженное сияние веры, внезапно изменилось, стало жестким и ненавидящим. Он взглянул туда, где стоял Силади, и резким тоном спросил:

— Господин капитан крепости, ты не хочешь исполнить волю господа?

— Хочу, отец Янош. И всегда хотел этого. Но ныне я выполняю волю Яноша Хуняди. Ибо верую, что воля господа им движет, а не мужиками!

В голосе его звенела насмешка и едва скрываемое злорадство. Священник Янош вновь поднял лицо и крест к небесам, словно прося суда над злонамеренным капитаном крепости, и, будто пророчествуя, ответил:

— Воля господа в том, чтобы погубить язычников. Кто же сему препятствует, тот не господа воли носитель. И да свершится над ним суд божий!

— Турка погубить только по хорошему плану мож-

но, святой отец. А не беготней, как того мужицкий разум требует.

Крестonosцы уже готовы были броситься на Силеди — они шумели, ворчали, вновь и вновь поминая о предательстве, но Капистрано взмахом руки усмирил их:

— Ждите мирно! Я иду к господину Яношу за решением.

Хуняди он нашел в оружейном зале, там, где и оставил: Янош с тех пор, казалось, и не шевельнулся, сидел все на том же месте, у стола, на покрытом шкурой чурбаке, лишь как-то больше обмяк, поник весь. То ли задремал он, то ли задумался, но, услышав скрип двери, испуганно вздрогнул и вскинул голову. Его лицо и то, как он сидел, беспомощно опустив руки, выражали безмерную смертельную усталость, и это зрелище заставило притихнуть священника, ворвавшегося к Хуняди в порыве негодования.

— Может, тебя хворь какая мучит, господин Янош? — спросил он с участием и готовностью оказать помощь.

Хуняди медленно, с трудом улыбнулся.

— Хворь старости, отец Янош. Старые кости ноют, и только. Очень я утомился в сражениях. Не седло мне уж надобно, а покойный угол там, дома, в Хуняде.

— Не бойся, это у тебя впереди. Мы так погнали язычников, что у них надолго пропадет охота вернуться к нам, вот увидишь!

— Ежели только нынче не явятся. Под покровом темноты. Хитер турок, весьма хитер!

— Надобно так сделать, чтоб неповадно ему было! Затем и пришел — хотим с крестonosцами за турком следом идти.

Хуняди оживился, сразу словно забыл о годах своих и усталости, но сказал твердо:

— Не могу, отец Янош, допустить твоей и войска гибели. Здесь мы в большей безопасности встретим их, нежели в открытом поле. Турки назад повернут — и вас разобьют, и крепость погибнет.

— Но, господин Янош! — воскликнул Капистрано. — Да неужто ты все еще в победу не веруешь? Господь сотворил чудо руками нашими, и ничто радость нашу теперь не затмит. Оставь же наконец неверие свое и тревоги!

— Я так часто обманывался, отец Янош, — сказал Хуняди с грустной и усталой улыбкой.

— Говорю тебе, оставь тревоги свои! Веселись, смейся, сердцем вознесись к господу с благодарностью. Не сиди здесь один, не томись!

— Сердцем я вознесся к господу. Больше-то мне и не к кому...

Капистрано беспомощно стоял перед измученным и опечаленным воеводой, хотя пылкие возражения так и рвались с его губ. В зале стыла тишина, и, казалось, слышен был усталый стук сердец; но вдруг со двора крепости донесся странный и беспокойный рев: одушевление человеческой массы и беспокойство животных звучало в нем в равной мере. Хуняди поднял голову, словно уловил дурной знак.

— Крестоносцы, — сказал Капистрано. — Хотят идти вслед за турком...

Проникший в зал ожесточенный шум снова напомнил ему о цели его прихода, и он, торопясь, принялся лихорадочно убеждать измученного, усталого Хуняди, надеясь взбодрить, воспламенить его:

— Ты слышишь, господин главный военачальник? Крестоносцы хотят идти за турком. Так воодушевлены они на жертвы ради веры, что, будь у них по две жизни, отдали бы обе не задумываясь.

— Воодушевление и вера еще не все. К ним еще разум приставить надобно...

— Вера все, господин Янош! Бери пример с крепостных, что крест — знак веры носят. Чем иным владеют они, как не верою, господин Янош? Они верят во спасение на том свете. Верят, что вместо этой горестной жизни иная, лучшая жизнь им суждена. Верят в отпущение всех грехов своих. Верят в грядущую встречу с возлюбленным Иисусом. Верят, что они избранные сыны господа. И ничто не может устоять против этой веры. Нет в них сомнений, есть только вера, и с радостью принесут они любые жертвы, пойдут на смерть, которой еще так недавно страшились. Слышишь? Вот они шумят, требуют позволения принести себя в жертву. Их жизнь, что была убога и исполнена греха, сейчас не что иное, как теплое гнездо счастья, в котором живет надежда. Господин Янош! Отбрось сомнения разума, иначе ты никогда не сможешь быть истинно счастливым.

Изумленными потеплевшими глазами Хуняди смо-

трел на сухое, старческое лицо монаха, его фанатически горящие глаза, увядшее, иссохшее тело, на котором широкая сутана болталась, будто повешенное на кол тряпье птичьего пугала, слушал раскаленные его речи и медленно, очень медленно произнес:

— Может, ты и прав, отец Янош, но я всегда жил сомненьями разума. И коль уж приказал я поднять мосты, значит, так тому и быть!

Прошло несколько дней, а турки все не возвращались. Посланные вслед лазутчики донесли, что они лавиной откатываются на восток, к Смедереву, подгоняя и топча друг друга, будто чуют грозящую им опасность. Отец Янош оказался прав: победа была полной. Теперь следовало немедленно устранить следы сражений, ибо во рвах крепости и вне ее, на склонах холмов, — всюду, где проходила битва, трупы устилали землю. На них пировали легионы хищных птиц, жадно набросившихся на падаль; этих вестников смерти с дурными голосами было такое множество, что, когда их спугивали стрелой либо пулей, небо становилось от них черным. Но теперь их не очень-то отпугивали, они были даже помощниками, так как отряженные на эту работу солдаты не успевали предавать земле великое множество мертвецов. А убрать их нужно было без промедления, потому что от летнего зноя мертвые тела разлагались буквально в течение нескольких часов; порою ветер приносил в крепость столь ужасную вонь, что от нее одной можно было захворать. Захоронения шли днем и ночью, и все же люди не справлялись — приходилось заливать трупы смолой и сжигать. Запах горящего мяса и вонь разлагавшихся трупов заражали воздух. Обитатели крепости и не заметили, как на них навалился самый зловеший спутник военных походов — чума. Еще не кончили хоронить погибших в сражениях, а число мертвецов вновь стало увеличиваться. Краткое торжество победы сменил безумный ужас. Солдаты и крестоносцы, которые нисколько не боялись, воюя с турками, теперь в животном страхе бродили по извилистым лабиринтам крепостных строений в поисках какого-нибудь убежища, где их, быть может, не настигнет грозная болезнь. Захворавшими никто не занимался, к ним не смели прикоснуться, и они умирали в жестоких мучениях там, где их заставал

недуг. Самое большое — выносили в поле, чтоб не заражали в крепости воздух, а уж там черное воронье, каркая и дерясь меж собой, дожидалось, когда можно будет приступить к пиршеству... Отец Янош, правда, пытался помочь несчастным: вместе с пришедшими в его свите монахами он неустанно расхаживал среди больных, давал пить, чтобы смягчить мученья, утешал и соборовал, когда наступал их последний час; но несколько дней спустя больных стало так много, что он не успевал заботиться о них. А помощи не было: крестоносцы, которые, расхрабрившись от его слов, опьянев от обещанного им спасения, могли мчаться хоть до Смедерева вслед за турками и приняли бы смерть как дар божий, теперь под страшной сенью черной хвори превратились в робкое овечьё стадо, мятущееся от страха...

А на четвертый день заболел Хуняди.

Сначала он не отнесся к этому серьезно.

— Слишком большая усталость во мне накопилась, — сказал он господам, со встревоженными лицами столпившимся вокруг его ложа, когда испуганный оруженосец бежал крепость с вестью, что господин Янош не может подняться. — Не тревожьтесь, ваши милости, это меня усталость борет. Вот и ночью видел я нынче сон, будто иду по длинной дороге пешком и хочу прилечь в тени деревьев, ибо ноги меня не держат... Очень устал я в этом сне, еще и сейчас ноги дрожат... А ведь нынче плясать надо на радостях — победа же! — добавил он, пытаясь рассмеяться. — Вот как встану, покружу тебя, отец Янош, и ты ведь юбку носишь!

Вельможи тоже посмеялись его шутке, но тихо и принужденно, чтобы не опечалить своей грустью больного. С молчаливой тревогой глядели они на высохшее, дубленное солнцем лицо его, горевшие неутолимым огнем глаза, потный от жара лоб и с деланной веселостью приносили подходящие к случаю утешения:

— Ты еще спляшешь в честь победы!

— Только отдохни хоть несколько дней!

— Ты еще не раз побьешь язычников!

— И мы едва на ногах держимся от усталости.

— После сражения отдохнуть положено.

Он обещал им спокойно отдохнуть, но вместе с лихорадкой охватила его могучая жажда действия и ни минуты не оставляла в покое. Священник Золтан должен был неотлучно сидеть возле его постели и одно за

другим писать под его диктовку письма. Папе, королю и домой, в Хуняд, он отослал сообщения о победе еще до болезни, но теперь вновь писал им всем. Еще раз известил о том же папу, еще раз — короля, Эржебет, затем Гараи, Уйлаки, даже Цилли. «Победа, победа!» — кричал он в каждом письме, в каждой строчке, но не с высокомерным торжеством победителя, а с упрямой, почти отчаянной настойчивостью. Один за другим скакали из крепости гонцы с гербом Хуняди, но не успевали сделать и половины дневного перехода, как следом отправляли новых гонцов с новыми письмами, в которых повторялись все те же слова: «Победа, победа!» Потом он перестал довольствоваться заверениями, заключавшимися в мертвых словах, он хотел слышать их высказанными громко. Одного за другим он призывал к себе вельмож и запекшимися от лихорадки губами твердил им с упрямой, неотступной надеждой:

— Милостивый господин Канижаи, здесь, у Нандорфехервара, мы совершили чудо! Победу эту не сможет отрицать даже самый заклятый наш враг, — знаю, нас ждет признание. Только бы ты всегда был мне верным товарищем, тогда мы еще увидим рассвет над головой!

— Милостивый господин Розгони! Господь показал, что воля его с нами. Он избрал нас для свершения дел великих. Мы не погибнем, ежели все обратят к нам сердца свои и волю! Ныне каждому видна правота моя, видно, чего ради я усердствовал. Неужто нельзя язычника победить, ежели в нас храбрость жива? А если б еще единоклассники были...

— Милостивый господин Короги, много обид выпало на долю нашу, во многом нас обходили, но после этой победы может ли кто против нас зло таить? Так пусть же ваши милости все, как один, вместе с сословиями страны нашей провозгласят: «Виват Янко Хуняди!»

— Милостивый Михай Силади, милостивый господин шурина! Сестра твоя в Хуняде слезы радости в передник проливает. Как услышит о моей болезни, тотчас в повозку сядет, поспешит сюда с сыновьями вместе...

— Отец Янош, не забыл я, что говорил ты о вере. Нет во мне более тревоги, только вера истинная в лучшую жизнь!

Так говорил он упорно, почти вызывающе и не же-

дал слышать никаких возражений. Проходили часы и дни, болезнь все больше овладевала им, и все исступленнее становились его речи. О недуге своем он не обронил ни слова и об усталости больше не поминал, все только строил планы на грядущие дни и годы и диктовал, диктовал, диктовал. А когда утомлялся, начинал ожидать ответов. Напрасно говорили ему, что гонцы еще не добрались до места, он словно не слышал — и все ждал, все требовал ответных посланий. От папы, от короля, от Эржебет...

Нервы его были напряжены до крайности, он прислушивался к шумам, доносившимся со двора крепости, и, заслышав скрип цепей, когда опускали подъемный мост, чтобы вынести в поле умирающих, тотчас посылал своего оруженосца, юного Секеи, узнать, чей гонец прибыл — от папы ли, от короля или Эржебет... Он уже не делал меж ними различия и даже сам не знал, от кого нетерпеливее ждет отклика, ибо ответ каждого из них означал одно и то же — даровал смысл жизни, волю к ней...

Пучок молочно-бледных лучей слепополуденного летнего солнца, проникавший сквозь узкую щель окна, едва тревожил тихий полумрак спальни. В угол, где на разостланных шкурах лежал Хуняди, свет почти совсем не проникал, и мирная сумеречная тишина витала над больным. Лишь уныло жужжали мухи, да слышалось быстрое, страдальческое дыхание больного. Юный Секеи, как верный пес, подремывал, скорчившись у края ложа, но ни на мгновение не забывал о долге своем, и стоило совокуплявшимся мухам зажужжать чуть громче или дыханию больного усилиться, как он пробуждался от тихой дремоты, и красные после бессонных ночей глаза тотчас впивались в измученное лицо господина. Он глядел на жалко повисшие усы, закрытые, почти черно-синие веки, кожу, просвечивавшую даже в полумраке, — и губы его неожиданно кривились в неслышном плаче... так, с повисшей на реснице слезой, он вновь погружался в чуткий сон.

Хуняди не спал, а перемогался на грани бодрствования и горячечного беспамятства. Все его чувства действовали безотказно, он слышал — ему даже казалось, что это происходит громче, чем было на самом де-

ле, — возню мух, замечал беззвучный плач своего оруженосца, юного Секеи, но у него не было сил на что-либо большее, чем простое восприятие. Его била лихорадка, разрывала боль.

— Пить, — выдохнул он, и оруженосец, тут же проснувшись, поднес к его рту кубок, наполненный водой с вином. Хуняди пил долго и жадно, а потом, словно питье вселило в него некую чудотворную силу и огромное снедающее изнутри беспокойство, быстро сел и заторопил окаменевшего от испуга мальчика:

— Позови господина Короги!

От неожиданности и ужаса, еще усиленного этим приказанием, Секеи вовсе онемел и, лишь собравшись с духом, выговорил растерянно:

— Он вчера простился с твоей милостью. И уже ускакал со своим войском.

— Зови господина Розгони!..

И, получив в ответ еще более испуганный взгляд, почти выкрикнул приказание:

— Господина Канижай!

— Все уехали. Вчера они простились с твоей милостью.

— Стало быть, уехали! — тихо, с трудом произнес Хуняди и, словно известие это ударило его в грудь, повалился назад на шкуры. Но что-то не давало ему покоя, ибо вскоре он снова сел и с возрастающим нетерпением воскликнул:

— Отца Яноша призови!

Паренек, словно радуясь освобождению, вскочил и выбежал, но вскоре вернулся.

— Отец Янош напутствует крестоносцев.

И, будто в подтверждение его слов, через открытое окно донесся со двора крепости странный, все усиливающийся шум: сначала шум этот напоминал лишь беспокойное гуденье пробуждающегося ветра, но он все возрастал, порой затихая и тотчас налетая с новой силой, и вот уже внизу неистовствовала буря, сквозь вой которой можно было разобрать отдельные выкрики:

— Отец Янош, возблагодари за нас господа!

— Благослови нас, благослови!

— Благослови и наперед, чтобы до дому дойти!

— Женам и сыновьям нашим благословение дай!

Тогда Хуняди поднялся со шкур, чего уже давно не делал, и неверными шагами, опираясь на плечо оруже-

носца, подошел к окну. Грудью, всем отяжелевшим телом упав на подоконник, чуть не вывалившись на мощный двор, он лихорадочно вглядывался в роившуюся внизу толпу. Огромная площадь между северными башнями и вышками подъемного моста была заполнена крестьянами. Они стояли не в красивом военном строю, как обученные наемные солдаты, а нескладной, беспорядочной толпой; одежда же и оружие их довершали картину хаоса и пестроты. Большинство было босиком, и даже отсюда, со второго этажа, можно было разглядеть их расплуснутые, кривые, косолапые, корявые ноги; однако теплые сермяги и бараньи шапки они не снимали даже в знойной жаре, будто храня в них прохладу. Лишь некоторые молодые шутники наvertsели на головы захваченные у турок тюрбаны, которые предназначались в подарок женам и возлюбленным, или повязали их так, как это делают женщины. Головы в цветистых, ярких чалмах, колыхающиеся, раскачивающиеся над серым морем сермяг из небеленой конопли, выглядели забавно. Но сверху видна была еще иная пестрота: каждый крепостной, обвешанный и нагруженный всевозможными вещами — от турецких сабель и ружей, конских хвостов, сорванных со знамен с полумесяцем, до пестрых платков, — представлял собой поистине восточный базар. Кривые сабли висели, подвязанные к поясу одной конопляной веревочкой, и так раскачивались при каждом шаге, что просто непонятно было, как мужики не изранили себе ноги. Однако поверх награбленного оружия возвышались, будто символы, застывшие на плечах, устремленные острием к небу распрямленные косы, — с ними крепостной люд не расстался бы ни за что на свете.

Шумная, гудящая и толкающаяся в пестром беспорядке толпа сгрудилась вокруг Капистрано, который забрался на кучу камней, припасенных для ремонта башен и стен, чтобы видеть все войско и чтобы каждый видел его.

Он стоял неподвижно, подняв к небу голову и крест, а крестьяне в сермягах и косматых епанчах, будто неповоротливые, неуклюжие медведжата, толпились у его ног: они бормотали святые молитвы, бия себя в грудь и вскрикивая как пьяные; по краю же толпы шел обмен — люди менялись мелочами, ставшими их добычей, некоторые ссорились при этом, затевали стычки и, как

игривые животные, дергали друг друга, боролись, потом внезапно расходились, замешиваясь в толпу, и сами начинали бормотать молитвы; подхватив конец какого-либо слова, тут же били себя в грудь и вопили вместе со всеми. Сверху это скопище снующих взад и вперед людей напоминало подходящую к концу сельскую ярмарку.

Тощий, неподвижный как статуя священник вдруг прервал молитву и громко воззвал к толпе:

— Бедные братья мои, крестоносцы! Венгры, возлюбленные дети мои, вы, многие грехи христианства исправившие, восстав против врага поганого! Все вы исповедовались, а ежели найдется среди вас один, кто еще без святой исповеди остался, да раскается он чистосердечно, какой бы грех ни свершил в прошлой жизни своей, и спокойно готовится к счастливой смерти, ибо за деяния его против язычников даруется ему прощение грехов. Отпущение грехов и небесное блаженство! Примите мое благословение и возвращайтесь в села свои, в дома свои, продолжайте верно служить господу. И отныне только суетные радости ждут вас, ибо место в царствии небесном уже вам уготовано!..

Он говорил, а голос его взлетал все выше, звучал все звонче — то была не обычная проповедь священника, а страстный призыв, который будоражит и обращает души, с первых же слов захватывает слушателей. Многие плакали, проливая обильные, радостные, счастливые слезы, иные смеялись и, неуклюже, неповоротливо раскачиваясь, плясали; но две эти крайности охватившего толпу чувства существовали сейчас в такой естественной гармонии друг с другом, словно аромат цветов и чистый весенний рассвет. Да и общий дух всей этой сумятицы во многом напоминал терпкость свежего весеннего утра: на широком крепостном дворе справляли шумный пир плача и смеха, тихого бормотанья и громких воплей измученные, замаившиеся люди в грязной, поношенной, оборванной одежке, среди которых были и калеки, и паралитики, и нищие; но в самом единении многоцветных красок их человеческого облика — диких, подвластных всем инстинктам, струящихся подчас с животной простотой, — было нечто возвышенное и успокаивающее, чистое, человеческое.

— Благословения, дай нам благословения! — неистово кричали они, и Хуняди чувствовал, как чисто и свято веруют они в силу благословения.

— Жизнь отдадим за возлюбленного Иисуса! — кричали они, и Хуняди ощущал, что они в самом деле готовы с радостью принять смерть.

— Небесное блаженство нам даровано! — кричали они, и Хуняди понимал, что даже малая кроха благ земных способна пробудить в них гигантские силы.

Лежавшие в руинах башни и стены сейчас вновь как бы выросли позади них, словно непоколебимая твердыня, а восторженные их клики заглушили вопли несчастных, умирающих от чумы за стенами и в скрытых закоулках крепости.

Опершись на оконный карниз, Хуняди лихорадочно, расширенными глазами глядел на этот разлив, слушал звонкие слова, голова у него кружилась... и вдруг из широкой груди его, из глубины души вырвался крик:

— Вы и есть родная страна! Вы, народ! Вы истинные защитники веры! Да пребудет с вами милость божия и благословение!

Юный Секеи в испуге смотрел на него: может, ум у него повредился либо к смерти готовится и бредит в горячечном беспамятстве? Сердце оруженосца зашлось от страха, рот искривился в плаче, ноги готовы бежать, онемели, и он, не в силах шевельнуться, молча глядел на своего повелителя. А Хуняди — словно выкрикнув эти слова, освободился от неведомого тяжелого груза, — повернулся и медленным, но ровным шагом, без всякой помощи вернулся к своему ложу и лег.

Со двора все еще доносился шум прощания крестоносцев, порой он утихал, и казалось, вот-вот прекратится, затем снова усиливался. Прислушиваясь к ритмичному чередованию затишья с буйным шумом, они и не заметили, как дверь опочивальни отворилась и вошел какой-то священник, должно быть Янош Капистрано. Но когда священник приблизился, стало ясно, что это не Капистрано, — вошедший был повыше, шире в плечах, и борода не закрывала его щек. Он прошел прямо в угол, где лежал Хуняди, и остановился перед ним со склоненной головой, словно молился.

— Узнал ли ты меня, господин главный военачальник? — тихо спросил он после недолгой паузы.

Хуняди с трудом, напрягая силы, приподнялся, видимо стараясь проникнуть лихорадочным взглядом сквозь мрак. Он смотрел на знакомое лицо, но тщетно

рылся в смутных воспоминаниях, пытаюсь отыскать за ним имя.

— Твоя милость еще помнит ли священника Балажа?

— Отец Балаж! — со вздохом, тихо произнес Хуняди, будто очнувшись.

Наступила короткая тишина, потом снова заговорил священник:

— Я возвращаюсь домой с крестоносцами, которых привел сюда... Хотел проститься с твоей милостью и еще — испросить прощения за прежние свои речи.

Хуняди, словно не слыша, долго смотрел на позабытое лицо, потом медленно проронил:

— Отец Балаж... все же довелось нам встретиться...

Затем, будто осененный внезапной мыслью, торпливо сказал:

— Речей твоих, за которые прощенья просить хочешь, не помню. И не поминай мне о том. Наклонись-ка лучше ко мне, хочу тебе исповедоваться!

Пораженный и изумленный, священник смотрел на него.

— Ежели я повторю те прежние, тобой забытые речи, ты не станешь мне исповедоваться. Мы с тобой разное за истину почитаем...

— Разное? Да ведь ты пришел помочь моей вере. Родной стране помочь. Мне на помощь явился. Сперва ушел, но потом вернулся ко мне...

— Я ушел, господин Янош, но ушел один. Я вернулся, но вернулся с крепостными. И ныне с ними же пойду дальше...

Хуняди помолчал немного, потом тихо, очень тихо сказал:

— Иди с ними, отец Балаж, и всегда будь с ними. Но сперва прими мою исповедь...

Священник рухнул перед ним на колени и низко склонил голову. Может быть, он молился, а может быть, плакал.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 6. *Талер* — немецкая серебряная монета.

...*день святого Винцентия*... — Церковный праздник святого Винцентия отмечался 22 января. К этому времени приурочивалось обычно взимание податей.

Подымная подать — феодальная повинность, которая взималась с каждого дома (очага).

Стр. 8. ...*день святого Михаила*... — Церковный праздник святого Михаила Архангела отмечался 20 сентября.

Стр. 9. *Войк Бути* — отец Яноша Хуняди. Незнатный валашский дворянин. В 1409 году за верную службу король Сигизмунд пожаловал ему крепость Хуняд в Трансильвании.

Стр. 13. *Сигизмунд I Люксембургский* (1361—1437) — сын императора Карла IV Люксембургского. В результате брака с дочерью венгерского короля Лайоша I Великого в 1387 году стал венгерским королем. В 1396 году возглавил крестовый поход западноевропейских феодалов против турок. Был разбит султаном Баязидом I под Никоподем. В 1411 году был избран германским королем и императором Священной Римской империи, в 1419 — королем Чехии. Дал согласие на казнь Яна Гуса, вопреки выданной ему ранее охранной грамоте. В союзе с папством и реакционными чешскими магнатами вел борьбу против гуситов. Организовал крестовые походы европейских феодалов против гуситской Чехии. Политический авантюрист и неудачливый полководец, Сигизмунд постоянно испытывал денежные затруднения.

Иное-то и на ум нейдет, как из Уйлака прибыл... — В юности Янош Хуняди состоял на службе у одного из крупнейших магнатов, князя Ласло Уйлаки, принадлежавшего к старинному аристократическому роду. Представители дома Уйлаки занимали высшие государственные должности при королях из династии Арпадов, Анжуйской династии, при короле Сигизмунде.

Стр. 17. *В Смедерево поедет, ко двору деспота*. — После возвращения из Уйлака Янош Хуняди несколько лет находился на службе у одного из самых могущественных феодалов Северной и Центральной Сербии Стефана Лазаревича (ок. 1370 — 1427). Стефан Лазаревич носил высокий титул деспота, полученный от византийского императора.

Стр. 37. *Миклош Уйлаки* (? — 1471) — сын Ласло Уйлаки. Был

баном (см. примеч. к стр. 44) Мачвы, Боснии, совместно с Хуняди — воеводой Трансильвании и баном Темешским. Первоначально и длительное время — противник Яноша Хуняди, после гибели короля Уласло объединился с Хуняди в борьбе против Ульриха Цилли.

Пфальцграфство — княжество Пфальц расположено было в юго-западной Германии; князья его уже в XII веке закрепили за собой титул и права пфальцграфов (королевское должностное лицо) и именовались пфальцграфами Рейнскими. В 1356 году они получили также права курфюрстов, и княжество Пфальц стало курфюршеством.

Стр. 38. ...с самого начала ноября в Констанце шел Вселенский собор... — Вселенский собор католической церкви, заседавший в г. Констанце с ноября 1414 по апрель 1418 года, был созван папой Иоанном XXIII (1410 — 1415) под давлением светских властей, высших церковных кругов и авторитетных богословов для проведения реформы церкви «во главе и членах» и для борьбы с гуситским движением в Чехии. В Констанцском соборе приняли участие светские феодалы и император Сигизмунд.

...в Аахене, куда съехались на коронацию... — Хотя Сигизмунд I был избран германским королем и императором Священной Римской империи в 1411 году, торжественная коронация его германской короной состоялась лишь в ноябре 1414 года, а императорской — в 1433 году в Риме.

Фейерварское соглашение. — В 1403 году перед лицом турецкой опасности сербский деспот Стефан Лазаревич признал себя вассалом венгерского короля Сигизмунда и получил в пожизненное владение Белград, Мачву и сверх того рудники в Венгрии.

Стр. 39. *Фридрих Цилли* — штирийский граф, влиятельный магнат, родственник императора Сигизмунда (женатого вторым браком на сестре Фридриха Цилли — Барбаре). Его обширные владения находились в Штирии, Каринтии, Крайне, Славонии, Хорватии, Далмации.

...пфальцский граф Людвиг... — Людвиг III, сын императора Рупрехта, курфюрст Пфальца (1410 — 1436).

Кардинал Пьер д'Альи (1350—1420) — знаменитый французский богослов, один из наиболее влиятельных деятелей Констанцкого собора, поддерживал идею верховенства собора над папской властью. Был сторонником реформы папства.

Стр. 44. *Бан* — наместник короля; в некоторых южнославянских странах, например в Боснии, банами называли также правителей страны.

Янко (Янош) *Мароти* (ок. 1366 — 1444) — крупный военачальник, магнат.

Сперва вот чешского попа Яна Гуса пред судом поставят... — Ян Гус (1371 — 1415) — выдающийся мыслитель, национальный герой чешского народа. Проповеди Яна Гуса были направлены против папской власти и богатств церкви, против немецкого засилья в чешских землях. Ян Гус был отлучен от церкви, а в 1414 году был вызван на церковный собор в Констанце. В октябре 1414 года, вскоре после приезда, Ян Гус, несмотря на охранную грамоту, выданную ему импера-

тором Сигизмундом, был брошен в темницу, где находился более семи месяцев. Собор не стал рассматривать взгляды Яна Гуса по существу и потребовал безусловного от них отречения. Отречься Гус отказался и 6 июля 1415 года был заживо сожжен на костре. Пепел его был брошен в Рейн.

...три Христовых наместника вдруг объявились да еще проклинают один другого... — Одной из задач, которую должен был разрешить собор в Констанце, являлась ликвидация так называемого «Великого раскола» католической церкви, существовавшего с 1387 года и выражавшегося в разделении католического клира сначала на две, затем на три курии во главе с соперничавшими папами. Ко времени открытия собора имелось три папы: Иоанн XXIII, Григорий XII (с 1406 г.), Бенедикт XIII (с 1394 г.). Констанцкий собор (1414 — 1418) ликвидировал «Великий раскол», низложил папу Иоанна XXIII, принудил к отречению Григория XII, отлучил Бенедикта XIII и избрал нового папу — Мартина V (1417 — 1431).

Стр. 46. *Штефан Палеч и Михаил де Каусис* — Михаил Штефан Палеч, теолог, декан теологического факультета Пражского университета. До выступления Яна Гуса в 1412 году против продажи индульгенций был его сторонником и другом. Михаил из Немецкого Брода, по прозвищу «де Каусис», был проповедником (1400—1408) в церкви св. Войтеха в Праге. Затем переехал в Рим, был назначен папой Иоанном XXIII прокурором по делам веры (*de causis fidel*, отсюда его прозвище). Так же как Палеч, выступал обвинителем Яна Гуса на Констанцском соборе.

Стр. 48. *Ян из Хлума, Индржих из Хлума и Вацлав из Дубы* — знатные чешские паны, которых король Чехии Вацлав выделил для сопровождения и охраны Яна Гуса во время поездки его в Констанц и на соборе.

Стр. 51. *Я хотел вернуть церкви дух и суть христианства...* — Ян Гус проповедовал необходимость восстановления строя раннехристианской церкви с ее принципами равенства и бедности, требовал отказа церкви от десятины и всех ее богатств, упразднения духовенства, как особого сословия.

Стр. 54. *Ульрих Цилли* (1406—1456) — штирийский граф, сын Фридриха Цилли. В 1420 году стал наместником императора Сигизмунда в Чехии. Был серьезным противником Яноша Хуняди, стремившегося к централизации Венгерского королевства. Борясь за ведущую роль в политической жизни страны, Ульрих Цилли ориентировался на Габсбургов. Различия в целях и политической ориентации неоднократно (в 1443, 1446, 1451, 1453 годах) приводили Ульриха Цилли и Яноша Хуняди к военным конфликтам. После смерти Яноша Хуняди Ульрих Цилли был назначен главным военачальником, но вскоре был убит сыном Яноша Хуняди Ласло.

Стр. 58. *...папа бежал под покровом ночи из Констанца...* — Папа Иоанн XXIII, встретив на соборе сильную французскую оппозицию, дал обещание отречься от понтификата, но бежал из Констанца тайно, рассчитывая продолжить борьбу. Однако собор принял решение,

что соборы выше папской власти, потребовал Иоанна XXIII к суду и объявил его низложенным.

Стр. 68. *А верно, будто все у вас общее?* — Представители левого крыла гуситов — табориты (название происходит от крепости Табор, где располагался их центр) пытались осуществить на практике идеалы всеобщего равенства и ввели в своих общинах обобществление имущества.

Виклифиты — последователи учения английского мыслителя и реформатора церкви Джона Уиклифа (1320 — 1382). Уиклиф выдвигал революционное для того времени требование отказа церкви от земельной собственности. Учение Уиклифа было широко распространено в чешских землях. Учение Уиклифа оказало влияние на формирование реформационных взглядов Яна Гуса. Как еретическое, было осуждено Констанцским собором.

Стр. 70. *Янош Витез* (1400—1471) — один из первых венгерских гуманистов. Происходил из мелкой дворянской хорватской семьи. Получил образование в Италии, в Падуанском университете. Личный друг Яноша Хуняди, которому во многом обязан последующей блестящей карьерой: протонотарий королевской канцелярии при короле Альбрехте II (1437 — 1439), епископ, затем архиепископ, примас Венгрии и канцлер королевства при короле Матяше Корвине. Дворец Яноша Витеза (сначала в Вараде, потом в Эстергоме) был центром венгеро-хорватского гуманизма. Витез был поборником объединения сил европейских народов для борьбы с Османской империей, убежденным в необходимости укрепления Венгерского королевства как главного форпоста в этой борьбе.

Стр. 71. *Жижка Ян, из Троцнова* (ок. 1360 — 1424) — гуситский полководец, первый гетман таборитов. Под руководством Яна Жижки были разбиты три крестовых похода (из пяти), организованных императором Сигизмундом и папой Мартином V против гуситской Чехии. Янош Хуняди, служивший при дворе императора, участвовал в этих походах.

Стр. 73. *Якоб из Маркии* (Джакомо де Марка; 1391—1476) — уроженец Монтепрандоне Анконской марки папской области, монах-францисканец. Активный проповедник борьбы против еретиков и турок. Преемник Иоанна Капистрано. В 1453 году был призван императором Сигизмундом для искоренения «еретических заблуждений» в венгерских и австрийских землях. Канонизирован католической церковью.

Стр. 74. *Пожонь* — венгерское название г. Братиславы.

Альбрехт Австрийский V (II) (1397—1439) — австрийский герцог (с 1404 г.), затем король Венгрии и Чехии (с 1437 г.) и германский король (с 1438 г.).

Стр. 76. *Пипо Озораи* (ум. в 1426 г.) — флорентинец Филиппо Сколари, известен под именами Пипо д'Озора, Пипо Спано. С 1387 года на службе у архиепископа эстергомского, затем императора Сигизмунда. Получил от Сигизмунда должность ишпана (см. примеч. к стр. 129) области Темеш.

Стр. 77. *...гуситы были притиснуты к горе...* — В декабре 1421 го-

да крестоносцы окружили войско Жижки в окрестностях города Кутна Гора. Умелым маневром Жижка вырвался из окружения.

Стр. 78. *...и последний глаза лишился уже в победоносной июньской битве при Тренчене...* — В молодости в военной схватке Жижка лишился одного глаза. Летом 1421 года в одном из сражений в Словакии он был ранен в единственный оставшийся глаз и ослеп.

Стр. 82. *...Жижка еще вернется...* — Вырвавшийся из окружения Жижка в начале января 1422 года нанес поражение крестоносному войску императора Сигизмунда у Немецкого Брода.

Стр. 83. *Георгий Бранкович (1367—1456)* — племянник и наследник деспота Стефана Лазаревича. Правил с 1427 по 1456 год. Находился в дружественных отношениях с венгерским королевским двором, но в то же время старался поддерживать дипломатические отношения с султаном Мурадом II, чтобы предотвратить турецкие набеги на Сербию.

Стр. 84. *...по жене, Барбаре Цилли, он был с Бранковичем в родстве...* — Ульрих Цилли, племянник королевы Барбары, был женат на дочери сербского деспота Георгия Бранковича Катерине.

Стр. 85. *...вифлеемские волхвы...* — Согласно христианскому преданию, три волхва (иногда их называли также королями) явились в Вифлеем, чтобы поклониться рожденному младенцу Христу и предсказать его судьбу.

Стр. 86. *Эржи (Эржебет) Силади (? — 1483)* — жена Яноша Хуняди. Из аристократического, политически влиятельного рода Силади, владевшего обширными родовыми землями в Южном крае (Делвидеке). Образованная и энергичная Эржебет управляла поместьями Хуняди, поддерживала его политику.

...сам велю жену, избранницу свою, в ссылку отправить... — В 1419 году император Сигизмунд за нарушение супружеской верности отправил королеву Барбару в изгнание, откуда она вернулась лишь после смерти наследовавшего Сигизмунду короля Альбрехта II.

Стр. 96. *Воины попа Якоба...* — Облеченный инквизиторскими полномочиями, Якоб де Марка разъезжал повсюду в сопровождении отряда наемных солдат.

Предатель Иуда — даром, что зовут его Мате... — Имеется в виду евангелист Матфей (Мате), который был верным апостолом Иисуса Христа, в отличие от Иуды.

Стр. 99. *Бочкоры* — крестьянская обувь.

Стр. 100. *...и его солдаты были у Колошмоноштора, когда там загубили волю крестьянскую и убили вождя крепостных Антала Надя.* — В 1437—1438 годах в районах Северной Венгрии и Трансильвании произошло крестьянское восстание. Основные силы восставших были разбиты уже в конце 1437 года у монастыря Колошмоноштор (или Клуж-Мэнэштур), предводители восстания, в том числе и Антал Надь, были схвачены и после пыток казнены. Янош Хуняди, в то время воевода Трансильвании, участвовал в подавлении крестьянского восстания.

Стр. 102. *Затем, как обычно, стали молиться.* — На последующих

страницах описано богослужение гуситов-таборитов, которое могло совершаться в любом месте.

Стр. 105. *...чтобы, если поймут его, не сочли это символом еретичества.* — Проповедник Балаж причащал мирян, согласно гуситскому учению, как хлебом, так и вином; в католической же церкви причащение вином являлось привилегией духовенства.

Стр. 107. *А поп-то Якоб... на костер послал трех гуситов в Петерзейе...* — Церковные власти южных областей Венгрии и Трансильвании, где развертывалась деятельность Якоба де Марка, предоставили ему всю полноту власти. По свидетельству хрониста Балажа из Залки, инквизитор боролся с ересью не столько проповедями, сколько насильем — сжигая еретиков на кострах. Якоб де Марка смещал священников, заподозренных им в распространении гуситского учения, и назначал новых.

Стр. 113. *Евгений IV* — папа римский (1431—1447).

Стр. 126. *Мы их прогнали!* — *проревел портной.* — О сходных событиях рассказывают венгерские хроники. В августе 1438 года в г. Каменице (Камонце) произошло выступление венгерских гуситов. Во главе его стоял сапожник Валентин. Восставшие выломали двери тюрьмы, где содержался приходской священник, избочленный Якобом де Марка в ереси, и освободили его. Сапожник был схвачен инквизитором и приговорен к изгнанию. Позже, в сентябре 1439 года, Королевский совет утвердил этот приговор. В связи с этими событиями венгерская хроника сообщает о двух «грамотеях» — Фоме из Печа и Валентине из Уйлака, обучавшихся в Праге, а затем распространявших «еретические учения» на юге Венгрии. Они перевели на венгерский язык Священное писание. Спасаясь от преследований инквизиции, оба бежали в Молдавию.

Стр. 128. *Сбежал в Молдавию. Там ныне для всех паршивых овец привольное пастбище...* — Уход венгерских гуситов, спасавшихся от преследований инквизиции, в Молдавское княжество был распространенным явлением в то время.

Стр. 129. *Ишпан* — королевское должностное лицо, располагавшее значительной военной, административной и судебной властью.

Стр. 130. *... прибыл посланец деспота с известием, что возле Триполья турки разбили его войско...* — В 1438 году турецкие войска напали на Сербию и разбили ее. В следующем году, несмотря на упорное сопротивление армии Георгия Бранковича, было взято Смедерево, и Сербия оказалась под турецкой властью. Бранкович бежал в Венгрию.

Стр. 135. *Когда я был в Италии с королем нашим Сигизмундом...* — Янош Хуняди сопровождал императора Сигизмунда на коронацию в Рим в 1433 году. В Италии он провел около двух лет при дворе Филиппа Мария Висконти в Милане, где обучался военному искусству.

Стр. 136. *Фридрих (III)* (1415—1493) — австрийский герцог, сын Леопольда III Габсбурга, представитель штирийской ветви дома Габсбургов. Брат короля Альбрехта II, правившего Венгерским королевством после смерти Сигизмунда I. В феврале 1440 года был избран

германским королем и императором Священной Римской империи. Как опекун своего малолетнего племянника Ласло (сына Альбрехта II), управлял в 1439 — 1452 годах Австрийским герцогством. Опираясь на поддержку графов Цилли, стремился утвердиться на венгерском королевском престоле.

Стр. 137. *Искра* — Ян Искра из Брандиса (ум. ок. 1468), крупный словацкий феодал. Был одним из военачальников таборитов во время гуситских войн в Чехии. Состоял на службе у короля Сигизмунда. В 1469 году получил от королевы Елизаветы, вдовы короля Альбрехта, титул верховного капитана Северной Венгрии с условием защищать права Ласло против польского короля Владислава III. Являлся фактическим правителем Словакии. В политических и военных конфликтах между Цилли и Яношем Хуняди принимал сторону Цилли.

Стр. 140. *...о Лацко да Матяше...* — Речь идет о сыновьях Яноша Хуняди. Позднее Ласло (1432 — 1457) был казнен по распоряжению короля Ласло V, сына Альбрехта II, видевшего в нем опасного соперника. Матяш (1443 — 1493) в 1458 году под давлением мелкого дворянства и городов был избран сословиями королем Венгрии (Матяш Корвин).

Стр. 151. *Вот твои любимые птицы.* — На гербе Хуняди изображен ворон, держащий в клюве кольцо.

Стр. 152. *...мы в Гуннии...* — часто употреблявшееся современниками Яноша Хуняди название Венгрии по имени кочевого народа — гуннов, которые вместе с другими кочевыми народами, вторгшимися в IV веке в Европу из Азии, населяли территорию современной Венгрии. Являлось синонимом варварства и дикости.

Стр. 155. *Очень уж много благородных дворян собралось сейчас на совет страны...* — Уже со второй половины XIV века представители мелкого и среднего дворянства, наряду с высшим духовенством и светскими магнатами, регулярно участвовали в Государственных собраниях.

Стр. 157. *...когда доведенные до отчаяния будайские венгры несколько лет тому назад поднялись против немцев.* — 23 мая 1439 года в Буде вспыхнуло восстание горожан, проходившее под лозунгом уничтожения немецкого засилья.

Стр. 164. *Поляк Владислав.* — Имеется в виду польский король Владислав III (1424 — 1444), сын Владислава II Ягелло (Ягайло). После смерти короля Альбрехта II венгерское дворянство во главе с Яношем Хуняди предложило ему венгерскую корону, намереваясь таким образом соединить военные силы Польского и Венгерского государств для борьбы с Османской империей. В 1440 году Владислав III (Уласло) был провозглашен венгерским королем. Он встретил сильное противодействие крупных венгерских магнатов, во главе которых стояли графы Цилли, провозгласивших венгерским королем трехмесячного Ласло, сына Альбрехта II. В 1444 году король Уласло погиб в битве с турками под Варной.

Стр. 183. *...не Ласло ли истинный король наш...* — Ласло V (1439 — 1457) — сын Альбрехта II, родившийся после смерти отца (отсюда его прозвище Постум — «после погребения отца рожден-

ный»). Провозглашенный крупными венгерскими магнатами в 1440 году королем Венгрии и в 1446 году призванный также сословиями, Ласло V до 1452 года оставался под опекой императора Фридриха III, не желавшего выпустить его из рук. Лишь в 1452 году, под угрозой войны со стороны коалиции венгерского и чешского дворянства и противников императора в Австрии, Фридрих III отпустил тринадцатилетнего племянника-заложника. Самостоятельной политической роли Ласло V не играл, фактическим руководителем его политики в Венгрии был Ульрих Цилли.

Уж не по доброй ли воле сословий выкрала служанка Елена королевскую корону из Вышеграда? — Елена Коттанер, придворная дама королевы Елизаветы, вдовы Альбрехта II, тайно передала на хранение Фридриху III, опекуну малолетнего Ласло, венгерскую корону, хранившуюся в престольном городе Вышеграде.

Стр. 185. *Может, поляк Уласло христианином был?..* — намек на отца Уласло, Владислава II (1348—1434) — великого князя Литовского и короля Польского, о котором говорили, что будто бы он оставался язычником вплоть до принятия католицизма в 1386 году.

Стр. 197. *Хуняди... ставился воеводой эрдейского края!..* — Эрдей (Эрдейский край) — венгерское название Трансильвании; одновременно Янош Хуняди был назначен также ишпаном комитата Темеш и главным капитаном (военачальником) пограничной крепости Нандорфхервар (Белград).

Стр. 198. *Влад Дракул (Дракон)* — господарь, правивший в Валахии в 1436 — 1442 и 1443 — 1446 годах. Участвовал в походе Хуняди против турок в 1444 — 1445 годах, после чего заключил мир с турками, что привело к конфликту с Хуняди. Погиб в битве.

Мурад II (1421 — 1451) — турецкий султан. В период правления Мурада II Османская империя, окрепнув после ослабивших ее внутренних усобиц и ряда внешнеполитических неудач, возобновила завоевания на Балканском полуострове.

Стр. 199. *Твртко II* (1404—1443) — король Боснии, правивший с 1421 года.

Теперь они пировали перед военным походом. — Имеется в виду поход 1442 года, когда Янош Хуняди наголову разбил войска турецкого военачальника Мезид-бея, вторгшиеся в долину реки Марош (Муреш).

Стр. 228. *...Уласло жив, он не погиб в закончившейся поражением битве под Варной...* — 10 ноября 1444 года у Варны произошло сражение между войском султана Мурада II и объединенной армией коалиции европейских государств и народов Балканского полуострова во главе с королем Уласло и Яношем Хуняди. Мурад II нанес поражение объединенной армии. Хуняди с военным отрядом удалось спастись, король Уласло погиб.

Стр. 230. *Мехмед II* (1431—1481) — сын султана Мурада II, прозванный «Фатих» (завоеватель).

Стр. 231. *...правителем теперь уже наверняка станет главный военачальник Янош Хуняди!* — В 1446 году при поддержке среднего дво-

рянства и городов Хуняди был избран правителем Венгерского королевства до совершеннолетия Ласло V Постума.

Стр. 238. *Поджио Браччолини* — Поджио Флорентийский (1380 — 1459), итальянский гуманист. В 1453 — 1458 годах был канцлером Флорентийской республики. В своих сочинениях Браччолини возвеличивал человеческую личность, утверждал, что благородство человека не в происхождении, а в личных доблестях, признавал за сильной личностью неограниченные права.

Стр. 239. *Когда Лацко прибыл к Бранковичу заложником...* — В 1448 году Янош Хуняди совместно с албанским полководцем Скандербегом предпринял поход против турок. Из-за предательства валашского господаря Дана и сербского деспота Георгия Бранковича армия союзников была разбита в двухдневной битве на Косовом поле (Ригomezе), Хуняди попал в плен к Бранковичу. Бранкович отпустил Хуняди за выкуп и потребовал в залог его старшего сына Ласло.

Стр. 240. *Верно, науками занят с господином Миколаем Лясоцким.* — Миколай Лясоцкий (ум. в 1450 г.) — дипломат и гуманист, секретарь короля Владислава III. После гибели короля под Варной отправился в Венгрию к Яношу Хуняди. Был воспитателем его младшего сына Матяша.

Стр. 241. *...писание Аммиана Марцеллина, одна глава коего историю гуннов излагает.* — Аммиан Марцеллин (IV в.) — римский историк. В обширном историческом труде сообщает подробные сведения о быте и обычаях народов, в том числе и гуннов, в семидесятых годах IV века вторгавшихся из Азии в Юго-Восточную и Центральную Европу.

Стр. 242. *Козимо Медичи Старший (1389—1464)* — первый из рода Медичи правитель Флоренции. Покровительствовал художникам и ученым. Способствовал развитию культуры Возрождения во Флоренции.

Стр. 247. *...новый султан Мехмед угрожает вторгнуться в Венгрию.* — Султан Мехмед II, наследовавший в 1451 году Мураду II, после захвата в мае 1453 года столицы Византийской империи Константинополя развернул подготовку нового наступления к границам Венгерского королевства.

Стр. 251. *...как забрать из твоих рук управление казной.* — В 1453 году король Ласло V Постум прибыл наконец из Вены в Венгрию, Янош Хуняди сложил с себя обязанности правителя королевства.

Стр. 253. *Янош Капистрано* — Иоанн (Джованни) Капистрано (1385/6 — 1456) — проповедник крестового похода против еретиков и турок. Францисканец, родом из Капистрано в Аbruццо, получил известность жестокими преследованиями еретиков в Северной Италии. В 1451 году был послан папой Николаем V с миссией склонить германских князей к крестовому походу против турок. В 1455—1456 годах Янош Капистрано самостоятельно собрал войско, преимущественно из крестьян. Принял участие в походе Яноша Хуняди и успешно действовал в битве под Нандорфехерваром в 1456 году. Канонизирован католической церковью.

Стр. 256. *Каликст III* — папа римский (1455—1458); ратовал за организацию крестового похода против турок.

Стр. 257. *...господин главный военачальник...* — В 1453 году устранившемуся было от дел Яношу Хуняди была поручена организация похода против турок, в связи с чем он был назначен главным военачальником (или главным капитаном) королевства.

Стр. 259. *...день святого Георгия...* — Церковный праздник святого Георгия отмечался 23 апреля.

Стр. 267. *Но путь в крепость был свободен...* — События, описанные здесь, вошли в историю под названием Белградской битвы. Подкрепления под командованием Яноша Хуняди пробились в крепость 14 июля; в их составе было и крестьянское ополчение — крестоносцы Капистрано; 21 июля общий штурм турок был отбит, а 22 июля, уничтожив во время вылазки турецкую флотилию, осадную артиллерию и разгромив турецкий лагерь, Хуняди вынудил турок к беспорядочному отступлению. Победа Хуняди под Белградом задержала продвижение турок в Венгрию до 1521 года.

Стр. 273. *Дугович Титус (? — 1456)* — воин Яноша Хуняди, национальный герой Венгрии, воспетый во многих литературных произведениях, а также в фольклоре.

Стр. 276. *...отряд всадников спахии.* — Спахии (сипахи) — в Османской империи воины, получавшие за свою службу земельные наделы типа западноевропейских ленов.

СОДЕРЖАНИЕ

Победитель турок. <i>Перевод Е. Тумаркиной</i>	3
Примечания	293

Дарваш Й.

Д20 Победитель турок: Исторический роман/Пер. с венг. Е. Тумаркиной; Ил. худож. А. Дудина. — М.: Худож. лит., 1991. — 303 с., ил.

ISBN 5-280-01315-3

Исторический роман известного венгерского писателя Йожефа Дарваша (1912—1973) «Победитель турок» — увлекательное повествование о борьбе венгерского народа против турецкого засилия в XV веке, в центре которого яркий герой, «победитель турок» король Янош Хуняди.

ЙОЖЕФ ДАРВАШ

Победитель турок

Редактор *Т. Гармаш*

Художественный редактор

Е. Ененко

Технический редактор

Г. Морозова

Корректор

Л. Гусева,

ИБ № 6022

Сдано в набор 04.12.89 г. Подписано в печать 23.06.90 г. Формат 84x100¹/₃₂. Бумага офс. № 1. Гарнитура „Тип таймс“. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр-отт 61,74. Уч.-изд. л. 17,35. Тираж 50000. Цена 5 р. 20 к.

Набрано на ПЭВМ в ордена Трудового Красного Знамени издательстве „Художественная литература“. 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диaposитивы изготовлены в МФЦ издательства «Юридическая литература». 121069, Москва, Качалова, 14.

Минская фабрика цветной печати. г. Минск, ул. Корженевского, д. 20. Государственный комитет БССР по печати.

